

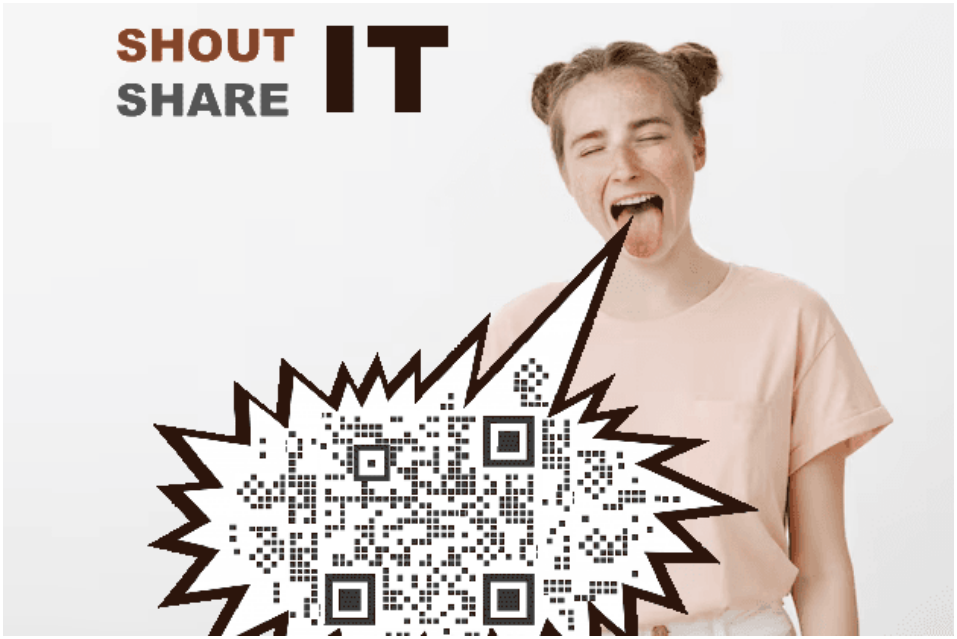
ЛЮДМИЛА ГОЛУБКИНА

Я медленно открыла эту дверь

CORPUS

Милка, девочка моя,
Скоро жизнь тебя научит
Не давать себе житья
И других напрасно мучить.
Эта глупость от отца
Умной дочери досталась —
Сердце тратить без конца,
Лишь бы сердце оставалось.

В. ЛУГОВСКОЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Людмила Владимировна Голубкина (1933–2018) – важная фигура в отечественном кино шестидесятых-восьмидесятых годов, кинoредактор, принимавшая участие в работе над многими фильмами, снятыми на «Мосфильме» и киностудии имени Горького, а позже – первый в новые времена директор Высших сценарных и режиссерских курсов, педагог, воспитавшая множество работающих сегодня кинематографистов. В книге воспоминаний она рассказывает о жизни в предвоенной Москве, о родителях (ее отец – поэт В. Луговской) и предках, о годах, проведенных в Средней Азии, о расцвете кинематографа в период «оттепели», о поражениях и победах времен застоя, о друзьях и коллегах – знаменитых деятелях кино и литературы, о трудной и деликатной работе редактора. В сборник также включена повесть, давшая ему название, и воспоминания о Л. Голубкиной, написанные коллегами, родными, друзьями и учениками.

- Людмила Голубкина
  - ○
  - ○ Предисловие
  - ○ Я медленно открыла эту дверь
    - ■ Людмила Голубкина
    - ■ Людмила Голубкина
  - ○ О Людмиле Голубкиной
    - ■ Татьяна Голубкина
    - ■ Ирина Врубель-Голубкина
    - ■ Павел Финн
    - ■ Наталья Рязанцева
    - ■ Андрей Хржановский и Мария Нейман
    - ■ Наталья Громова
    - ■ Елена Ганевская
    - ■ Елена Чухрай
    - ■ Лидия Боброва
    - ■ Геннадий Островский
    - ■ Наталья Репина
    - ■ Илья Хржановский
    - ■ Достаточно любви
    - ■ Владимир Громов
  - ○ Фотографии
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2

○ 3

Людмила Голубкина
Я медленно открыла эту дверь

Составитель Олег Дорман

© Л. Голубкина, наследники, 2019
© О. Дорман, составление, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Издательство CORPUS ®

* * *

Предисловие

Десять лет назад по случаю юбилея Института кинематографии у входа поставили памятник трем знаменитым выпускникам: Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому, Василию Шукшину. Оказываясь там, я всякий раз думаю: если институт гордится причастностью к славе этих трех, к их дару, воле и удаче, сознает ли так же причастность к их трагедии? Ненужный вопрос, конечно. Просто место для памятника не самое удачное. А может, наоборот. Теперь новые поколения киношников встречают у входа самоубийца, изгнанник-эмигрант, умерший от тоски по родине, и жертва вечной русской болезни, которая унесла столько известных и никому не известных людей.

Людмила Владимировна Голубкина окончила ВГИК в 1957 году. Она хотела быть сценаристкой, но по разным причинам занялась в кино другим делом. Стала редактором. Сама она любила цитировать определение Маршака: «Редактор – это человек, который надувает ветром чужие паруса». Но есть важное обстоятельство: просил ли автор дуть в его паруса? Нуждается ли он в совете – или вынужден выполнять данные в форме совета требования, чтобы его произведение увидело свет?

И в этом было всё дело. Всегда между автором и, так сказать, заказчиками фильма был человек, который должен был служить обеим сторонам. И каждую минуту решать, кому служить. Не то чтобы авторы были сплошь Шекспир, Чехов или Стоппард. Но по другую сторону всегда, без вариантов, была сила, уничтожавшая то, ради чего люди занимаются искусством. Сила даже не политическая – хотя, разумеется, власть ее держалась на штыках и крови, – но, в первую очередь, именно духовная: сила культурного плебса, презирающего всё сложное, человечное, свободное.

Возможно, когда-нибудь с высоты веков семьдесят лет торжества этой силы в России будут рассматриваться как вариант исторической нормы; может, сольются в представлении потомков с разбоем Ивана Грозного, татаро-монгольским игом и сказками про Змея Горыныча. Страшно подумать, если так случится. Но даже если случится, сегодня я не могу воспользоваться всепримиряющей оптикой будущего, и что важнее – не хочу. Я знаю на собственном опыте и опыте близких, что семьдесят лет так называемой советской власти были исключительной антропологической трагедией, и не ее надо сравнивать с европейскими «темными» веками или китайской культурной революцией, а наоборот, по ней теперь будет равняться

человечество, соотнося свои беды с этой русской катастрофой. Если оно хочет быть.

А внутри катастрофы была жизнь. Жизнь была в каждом бараке, каземате, на пепелище и пустыре. Жизнь отказывается не быть. Пробивается травинкой, просветом в тучах, улыбкой ребенка, старой колыбельной, дружески протянутой рукой, вкусом снега, внезапным чувством тайны внутри самого простого и обычного человека, постыдной усталостью в сердце палача. Никогда человек гордый не признает над собой власти истории, эпохи, общества, государства. Все они только лишь обстоятельства образа действия, материал для его работы, вызов. Значение имеет то, как человек на этот вызов отвечает.

Людмила Владимировна Голубкина была одним из хранителей катакомбного добра – в жизни вообще и в области, где сохранять его было почти невозможно. Роль таких людей исключительна, как роль каких-нибудь клеток крови, несущих кислород, и столь же невидима свысока. Сама их сравнительная безвестность – следствие и условие решимости не участвовать в зле или прикасаться к нему минимально; сколько хватает сил в нем не участвовать. Отовсюду виден академик Сахаров, или семеро, вышедших на площадь, или Тарковский, Шпаликов и Шукшин; но больничная нянечка, под страхом увольнения добывшая страдальцу обезболивающее, но безвестная соседка, устроившая клумбу в убогом дворе, но учитель литературы, поставивший тройку юному карьеристу, написавшему о Ленине, – кто мог бы перечислить всех этих тайных хранителей добра? Кто – кроме нас всех, отлично знавших, что наша жизнь только потому выносима, только потому возможна, что есть эти люди, и на них только и всегда вся надежда.

Репутация, известность, влиятельность Людмилы Владимировны в узком кругу были исключительны. Ее мнение было тем более значительно, что всякий знал, чем оно оплачено.

Я учился у нее во ВГИКе, на курсе, который она вела с Семеном Львовичем Лунгиным. Она была строга, и каждый, кто хотел, понимал, что строгость эта относится не к студентам, но к нравственной опасности и той ответственности, которую берет на себя человек, беспечно решивший заняться кинематографом в Советском Союзе.

Она была смешлива, чувствительна и высоко ценила игру ума, легкость, поэзию, а выше всего – чужой талант. В нас, студентах, – даже тень таланта, даже скромный росток. Она была великим читателем, лучшим зрителем. Ее присутствие многое определяло в фильмах, на которых она даже и не была редактором. И многое – в жизни тех, кому посчастливилось ее

знать.

Более всего Людмила Владимировна была строга к себе. Она как мало кто ценила жизнь и умела наслаждаться ею, но никогда не соглашалась просто жить. Каждой ее минутой руководили высокие идеалы, понимание собственного несовершенства, знание, что жизнь не заканчивается жизнью, стремление сделать что-то существенное, значительное, кому-то помочь, как-то уменьшить влиятельность зла.

Она была человеком исключительной породы и сознательной наследницей ценностей, которые невозможно получить в наследство: они требуют самостоятельного, самоотверженного труда, так что в конце концов человек сам определяет свою породу.

В самом конце пути Людмила Владимировна стала писать воспоминания. Я говорил ей: как-то маловато драматических и, прямо скажем, темных сцен, которыми была полна жизнь кинематографистов советской поры. Она отвечала: мне всё это стало совершенно неинтересно. Не хочу давать этому жизнь. Даже не хочу хранить в памяти. Не хочу никого судить.

Милость – при всей гордости, а может, как следствие гордости – была одним из главных свойств ее натуры. Твердо стремясь различать добро и зло, она была так же тверда в решимости не осуждать людей.

Сейчас вы прочтете воспоминания Людмилы Владимировны Голубкиной и повесть, которую долгие годы знали только друзья, и задумаетесь, почему автор, обладавший таким талантом, вкусом и умом, не работал как автор. А потом прочтете воспоминания друзей, коллег, учеников, детей и внуков и, может быть, подумаете, как думаю я сам сквозь горе разлуки с ней: какая в высшей степени состоявшаяся жизнь.

Олег Дорман

Я медленно открыла эту дверь

Людмила Голубкина
Воспоминания

1

Каждый, кто начинает писать воспоминания, наверное, задается одним и тем же вопросом – зачем? Всё прожито и осталось во времени, которому нет возврата. Ты был другим, жил и чувствовал не так, как сейчас. Когда я вспоминаю какой-нибудь эпизод, у меня нет уверенности, что это происходило именно так, как мне сейчас кажется. Как не поддаться желанию что-то подправить с точки зрения сегодняшнего знания? Зачем ворошить прошлое, к чему искать слова?

Есть причина. Она заставляет меня преодолеть сомнения и попытаться воскресить далекое. Это долг перед ушедшими, которые могут исчезнуть бесследно с моим уходом. Пока я жива, живы и они. Но дни мои клонятся к закату, и мне кажется, я должна запечатлеть их образы. Я не могу смириться с их исчезновением.

Прочтет ли однажды кто-нибудь эти строки, нужны ли они будут кому-нибудь, в конце концов, неважно. Но я их напишу, и они останутся, как остается всё, что делал на земле человек.

2

Я начинаю эти воспоминания в кабинете, который совсем недавно стал моим, а прежде принадлежал дорогому для меня человеку – Сергею Александровичу Ермолинскому, мужу моей тети, Татьяны Александровны Луговской.

Я сижу в его кресле. Передо мной на столе чернильный прибор с амуром, держащим над головой бронзовый венок, два подсвечника с бегущими амурами, колокольчик, увенчанный лирой. Когда берешься за нее, колокольчик откликается высоким чистым звуком. Кого подзывали им когда-то? Чьи отпечатки хранит эта бронза? Мне уже никогда не узнать и не у кого спросить. Может, это прибор моей бабки, а может, куплен в комиссионном магазине, когда обставляли кабинет, как я сама купила и принесла в подарок Сергею Александровичу подставку для писем и бумаг, и он обрадованно сказал, что она идеально подходит ко всему остальному. Теперь эта подставка слева от

меня; на ней среди прочего фотография молодой женщины в старинном закрытом платье с буфами и высоким воротником. Это мать Сергея Александровича, которую он очень любил, хотя она не жила с ними – ушла от мужа к другому человеку, поляку, и дети встречались с ней только раз в год на летних каникулах.

Всё здесь носит отпечаток вкусов Сергея Александровича, его жизни. Почти ничего – моей.

Как часто, приходя к ним в гости, я видела его работающим за этим столом. Иногда он даже не замечал моего прихода, настолько был погружен в свой мир. Он любил и умел работать.

Может, именно поэтому я принимаюсь за свои записки здесь, хотя в доме есть и мой собственный, более привычный и уютный письменный стол. Мне бы хотелось, чтобы в моих трудах меня благословил светлый образ Сергея Александровича и его высокое трудолюбие. Какое хорошее слово – трудолюбие. Любить труд. Остальное приложится.

3

Я родилась 13 декабря 1933 года в деревне Амос, что на Алтае. Моя мама, Ирина Соломоновна Голубкина, приехала туда работать на туристской базе. Предполагалось, что, когда придет пора рожать, она доберется до города Айрт-Тура (теперь он называется Горно-Алтайск) или уедет в Свердловск, где жила ее подруга. Но что-то произошло – то ли слишком долго не устанавливался лед на реке, то ли не приехали маму сменить, и выбраться в город не удалось. Мама рожала меня в избе, под завывание метели. Рядом была только деревенская повивальная бабка, которая ничем не могла помочь. Просто гладила ее руку и твердила: «Терпи, Иринушка, терпи, Бог поможет». Рожала мама тяжело, трое суток, потому, вероятно, что была уже не молода – тридцать один год, для первых родов поздновато.

Она рассказывала мне об этом мельком, не придавая трудностям никакого значения, а я, рожавшая своих детей в столичном роддоме, в окружении врачей и медсестер, часто думаю, каким мужеством, какой силой нужно было обладать, чтобы совсем одной, среди чужих людей совершить такой подвиг. Я не расспрашивала маму о подробностях и помню из ее рассказов только, что однажды она вышла со мной на улицу, села на завалинку под лучами негреющего алтайского солнца и, глядя на весело играющих бесштанных деревенских ребят, подумала: все дети здоровые, румяные, а моя болеет, плачет – за что мне это?

Потом я, надо сказать, всю жизнь отличалась отменным здоровьем. И поэтому теперь, в старости, когда пошли болезни, так трудно приспосабливаюсь к новому своему состоянию.

Мама выбралась из деревни в начале лета. Когда она одна, без провожатых, доехала до Свердловска, мне было полгода.

В Свердловске жила Лида Шахова, ее ближайшая подруга, которую я всю жизнь звала тетя Лида. Жили они с мужем в крошечной комнатке в коммуналке. Туда к ним мама и приехала.

Лида была единственным человеком на свете, знавшим, что мама ждет ребенка. Мама уехала из Москвы на Алтай по собственной воле, не желая осложнять жизнь моего отца. Он узнал о рождении ребенка, только когда мне было года полтора. Кроме того, мама не хотела доставлять неприятностей своим родителям, патриархальным евреям, которые так и не смогли привыкнуть к свободным нравам послереволюционной эпохи. Мама и папа мои происходили из таких разных родов, которые никогда бы не встретились и не породнились через меня, если бы не взбаламученная революцией жизнь.

4

Мой отец, Владимир Александрович Луговской, родился в Москве в 1901 году, в семье преподавателя и инспектора Первой Московской гимназии.

Род Луговских корнями связан с русским Севером – считается, что их предки вышли из Олонецкой губернии. У Луговского в стихах много говорится об этом: «Кондо-озеро», «Молодецкая-струговая». В Карелии и сейчас живут Луговские – потомки брата моего деда.

Но вообще с родословной Луговских не всё ясно. Отец мне показывал в какой-то исторической книге строки про Томилу Луговского, который принимал участие в «московском сидении», то есть осаде Москвы войсками Речи Посполитой в 1618 году, а потом был бит кнутом и сослан на Север. Отец говорил, что после этого род захирел. Последним из людей известных, о ком говорили в семье, был какой-то Луговской, служивший секретарем у поэта Гаврилы Романовича Державина. От него якобы досталась деду, а потом и папе старинная чернильница, которая по сей день стоит на письменном столе в квартире отца в Лаврушинском переулке и так и именуется – «чернильница Державина».

Но, с другой стороны, доподлинно известно, что дед мой, Александр Федорович, получил личное дворянство, а это значит,

что отец его дворянином не был. Более того, кто-то из родственников видел в Риге на кладбище могилу моего прадеда; на надгробии было написано: «Священник отец Федор Луговской». А священники в России, в отличие, скажем, от Англии, дворянами не были.

Так что концы с концами не сходятся. Скорее всего, род тех Луговских исчез во тьме веков, а отцу просто нравилось причислять себя к Рюриковичам. Он вообще был не прочь прихвастнуть и присочинить, хотя, как утверждала его мама, Ольга Михайловна (по словам моей тети Татьяны Александровны), «Володя никогда не врал. Он фантазировал».

Странно, но деда своего, Александра Федоровича, которого я никогда не видела – он умер в 1925 году, до моего рождения, – я тем не менее ощущаю как кровно связанного со мной человека, а бабушку, Ольгу Михайловну, к которой один раз перед войной меня возили, нет. Смутно помню величественную полную женщину в каких-то шуршащих шелках. Вероятно, она меня чем-то подавляла, а может, я почувствовала фальшь ситуации, этих смотрин чужой ей, в сущности, девочки. Во всяком случае, родственности я тогда не ощутила.

Ее девичья фамилия была Успенская. Татьяна Александровна всегда произносила с ударением на первой букве. Наверное, чтобы не подумали, что они из священников. Впрочем, было известно, что прадед служил при Синоде. Протоиерей Михаил Дмитриевич Успенский. Но для Татьяны Александровны очевидного не существовало. Свой мир она творила самостоятельно. Даже в семейном альбоме, который тщательно выклеивала последние годы, прадед фигурирует только в партикулярном платье или в виде отрезанной головы – чтобы не было видно рясы.

Так что, судя по всему, и дед, и бабушка – дети священников.

У деда было четверо братьев и две сестры. Один брат, по имени, кажется, Николай, погиб в 1905 году, во время той революции. Как уж его туда занесло, не знаю.

Евгений был земским врачом, служил в Петрозаводске. Недавно мне прислали вырезку из тамошней газеты. Заметка озаглавлена «Тысяча пульсов». Судя по ней, он был из типичнейших, благороднейших русских провинциальных врачей, из тех, которым редкую ночь удавалось поспать спокойно. Под окнами уже стояла запряженная лошадь, и он ехал сквозь темень по плохим дорогам к очередному больному. В Петрозаводске его помнят до сих пор.

Куда делись остальные братья, не знаю. В семейном альбоме есть фотография, где они все четверо, веселые, молодые, в

светлых рубашках, сняты где-то возле ручья.

Одна сестра вышла замуж за поляка и уехала в Польшу. После революции, как гласит семейное предание, двое ее старших сыновей пытались перейти границу, чтобы попасть в Россию, но погибли. Младший до недавнего времени был жив, писал Татьяне Александровне. Он, кажется, стал в Польше известным ученым-геологом.

Вторая сестра жила с мужем в Эстонии. Их сын Федор – по фамилии Блие – учился в Москве и некоторое время жил в семье Александра Федоровича. Потом уехал на родину и сделался священником. Его расстреляли большевики. Могилу его до сих пор чтят в Эстонии.

Александр Федорович, мой дед, был старшим из детей. Отец его, как гласит предание, умер во время помолвки Александра Федоровича и бабушки. Встал, произнес тост за молодых, упал и умер. Свадьбу пришлось отложить на год.

Дед в то время был студентом. Он окончил Московский университет, сразу два отделения – богословское и историко-филологическое. Был очень образованным человеком, знал шесть языков, в том числе древнееврейский. Сразу после университета стал преподавать в гимназии словесность. Поначалу получил место где-то в провинции. Там они с бабушкой прожили года два, у них родился ребенок, который вскоре умер. Потом вернулись в Москву. И следующий сын – мой отец – увидел свет в доме своего деда, Михаила Дмитриевича, на Поварской улице. Сохранилось несколько снимков этого дома, своего рода семейного гнезда. Самого дома давно уже нет. Потом семья Александра Федоровича переехала на казенную квартиру при гимназии. Этот дом и сейчас стоит в глубине двора, неподалёку от Музея изобразительных искусств.

Успенские тоже были большая семья – три дочери и сын Алексей, будущий адвокат. Татьяна Александровна рассказывала, что бабушка всё боялась, что Володя, мой отец, будет похож на Алешу, который в семье считался легкомысленным. И он таки был на него похож и лицом, и характером[1].

Странно и грустно, что от таких больших семей почти никого не осталось. От Успенских точно никого. Впрочем, чему тут удивляться. Какой век выпал на их долю!

5

Рассказать о маминых корнях куда сложнее. По-моему, даже она сама не знала, кто был ее дед, мой прадед. Откуда взялась в

еврейской семье такая русская фамилия – Голубкины? Вроде бы предки деда проживали в знаменитом местечке Любавичи в Белоруссии. Сам дед, мамин отец Залмон Мордухович Голубкин, перебрался в город Белый Смоленской губернии из Вильно. Там еще долго оставалась близкая родня.

Город Белый не входил в черту оседлости. Вероятно, деду разрешили там жить благодаря его востребованной ремесленной профессии: он был часовщиком и ювелиром.

Я его не помню. Он умер в Москве в 1936 году. Судя по фотографиям, на одной из которых дедушка красуется за работой в окружении будильников и с лупой в глазу, он был своеобразно красив. В облике что-то библейское – высокий, открытый лоб, тонкие черты лица. Взгляд пристальный и спокойный. Пожалуй, он больше похож на интеллигента, чем на ремесленника. Говорили, что он был личным часовщиком графа Рачинского, известного педагога и мецената. Кажется, именно граф Рачинский изображен на картинах художника Богданова-Бельского, посвященных сельской школе.

А бабушка, Муся Мовшевна, была маленькая, некрасивая, какая-то суетливая – это чувствуется даже по фотографиям; к тому же одноглазая. Кажется, она лишилась глаза в молодости, упав с лестницы в погребе.

Что соединило этих двух столь непохожих людей? Любовь? Расчет? Воля родителей? Жалость?

Бабушка была неграмотная, а дед любил читать, писал и по-русски, хотя с ошибками, и на идише. Он был старостой синагоги, уважаемым в городе человеком. Странная дружба связывала его с отцом Дмитрием, настоятелем православного храма. Дети их учились в одной гимназии, видимо, приятельствовали. Старики иногда захаживали друг к другу в гости. Отец Дмитрий прятал нашу семью во время погрома. Но когда после революции моя тетя Эмма, редкая красавица, и сын отца Дмитрия Сергей Селезнев поженились, оба старика были недовольны. Не принято это было в те времена. Впрочем, потом всё сгладилось, и тетя Эмма очень дружила со всеми Селезневыми, даже после смерти дяди Сергея.

Семья у дедушки была большая – восемь детей: четверо сыновей и четыре дочери. Почти всем дочерям удалось получить высшее образование, а вот из сыновей – только одному, младшему, который учился уже после революции.

Чтобы прокормить такую семью, дедушка весной покупал лошадь и телегу и летом отправлялся на заработки – ездил по деревням, чинил часы. Это был более доходный промысел, чем ювелирное дело, хотя зачастую с ним расплачивались не

деньгами, а продуктами.

Когда произошла революция, многие дедушкины заказчики подались в дальние края, не успев забрать свои вещи. В семье долго хранились – «на черный день» – какие-то кольца, небогатые, как я теперь понимаю, золотая цепочка и главное – большие напольные часы. Что-то всё же пришлось продать: черных дней было немало, одно кольцо я потеряла, еще одно дала поносить знакомому, известному кинодраматургу, а он забыл вернуть. Цепочку ухитрилась спустить под пол моя маленькая дочь и рассказала об этом, лишь когда мы переехали на другую квартиру. Только напольные часы по сей день величественно стоят у меня в кабинете, но не ходят. Всего-то наследства осталось от дедушки с бабушкой – эти часы да ритуальный серебряный стаканчик, из которого пили вино на Пасху.

Я очень мало знаю о предках. Большую часть жизни проживаешь, не думая, что твоя жизнь конечна. Продираешься через ее трудности, судорожно выстраивая какую ни на есть свою линию и свое благополучие – или попросту ни о чем не думая. И вдруг однажды обнаруживаешь, что между тобой и тем светом никого не осталось, ты сделался старшим в семье, а то и в роду.

И тогда возникает беспокойство: что, если с тобой уйдут пусть небольшие, обрывочные знания, которые тебе достались? Что, если эта цепочка прервется и твои внуки не будут знать, какого они роду-племени, чья кровь течет в их жилах, чьи черты просвечивают в их облике? Если этого не знать, если не понимать, что на земле, на которой ты живешь, до тебя жили, страдали, любили, надеялись на лучшее уже много людей и среди них – твои прямые предки, наступает ощущение вседозволенности. «Мы молодые хозяева земли» – пели в дни моей молодости. Вот – дохозяйничались.

Когда приходит это чувство конечности, начинаешь жалеть, что мало расспрашивала, что потеряла при переездах какие-то казавшиеся неважными документы и записи. Но поздно.

6

Мама моя, Ирина Соломоновна, по метрике Рися Залмоновна, была из младших детей в семье. Она родилась в 1902 году. Училась в гимназии, а окончила уже «школу второй ступени». И подалась в Москву, следом за старшими сестрами.

Насколько я знаю, сначала в Москве обосновалась самая старшая из них – тетя Роза: Рахиль. Она еще до революции окончила медицинское отделение женских курсов Петербургского

университета. Во время Гражданской войны была мобилизована как врач. У меня сохранилась забавная справка о том, что врачу Голубкиной Р. З. разрешается как бойцу Красной Армии приобрести корову. Зачем моей тетке была корова? Вероятнее всего, для дедушки с бабушкой, у которых на руках оставались еще четверо младших детей. А может, в армейском госпитале без коровы было не прокормиться?

Потом поехала в Москву поступать в педагогический институт тетя Эмма: Эстер. До этого она почти год работала учительницей в сельской школе.

А потом, уже в 1921-м, отправилась в столицу моя мама. Застенчивая провинциальная девочка, угловатая и почти что некрасивая, если судить по фотографиям, но с удивительно чистым, словно ожидающим чего-то радостного взглядом. Говорили, что в детстве она была безумно неловкой, всё сшибала на ходу, обо всё ударялась. Позже, в расцвете своих женских лет, она стала прямо-таки классически красивой, с правильными чертами ясного лица, пленительно очерченными губами, гордой посадкой головы. И очень женственной.

Сестры снимали комнату у какой-то милой женщины, «со столом», как тогда называлось. Она о них заботилась, как о родных, всегда спрашивала: «Ты сыты, детки?» Так у нас всю жизнь потом заканчивались все трапезы. Кто-нибудь обязательно, улыбаясь, говорил: «Ты сыты, детки?»

Мама училась в Московском университете на факультете общественных наук. Позже он назывался истфак. Самым интересным, самым блестящим лектором, собиравшим полные аудитории, был Бухарин. Рассказывая об этом даже в послесталинские времена, мама невольно понижала голос[2].

В университете как-то сразу определилось ее будущее. На факультете преподавал профессор Геника, один из энтузиастов и основателей туризма в Советском Союзе. Туризм еще не был массовым и столь разрушительным явлением, как сейчас. В то время только прокладывались маршруты и создавались первые туристские базы; движение в основном охватывало интеллигенцию, студентов, рабфаковцев. При кафедре образовалась группа инструкторов и методистов, в которую вошла и мама.

Потом вся ее жизнь была связана с туристско-экскурсионной работой. Она и на пенсию ушла из МОСТЭУ – Московского туристско-экскурсионного управления.

В университете мама вышла замуж за однокурсника Эмиля Ярошевского. Прожили они вместе не больше года.

Как-то у нас дома зашла речь об антисемитизме. В годы

моего послевоенного детства по понятным причинам об этом говорили много и горячо. Мама редко участвовала в разговорах, но однажды грустно сказала: «Когда мы были молоды, национальности не придавалось никакого значения. Я узнала, что мой муж поляк, только при разводе, в суде».

Когда мне было лет четырнадцать, мы с мамой встретили возле кинотеатра «Форум» тучного, лысого, полуслепого человека – очень, на мой взгляд, немолодого. А было ему тогда лет сорок пять. Это оказался Ярошевский.

Он стал к нам захаживать, сидел подолгу, жаловался на жизнь. Я его терпеть не могла, он казался мне невероятно скучным, хвастливым и высокомерным, хотя был со мной ласков и всё время что-то дарил. Он был вдов или разведен, жил со взрослой дочерью и, вероятно, захаживал не просто так, а «с намерением», как говорили у нас во дворе. Но я понимала, что опасаться нечего: я видела, что мама тоже скучала и раздражалась в его обществе. Однажды я спросила: «Как ты могла выйти за него замуж?» Она пожала плечами и равнодушно сказала: «Молодая была».

Вскоре после окончания университета мама поступила на работу в Главполитпросвет. Что это было за учреждение, по сей день не знаю. Слышала только, что им руководила или курировала его вдова Ленина. У мамы хранилась групповая фотография: в центре сидит немолодая расплывшаяся женщина в темном сарафане и светлой кофте. Некрасивая. Крупская. А где-то в задних рядах – моя молодая мама с веселыми глазами.

О, эти бесконечные групповые фотографии тех лет! Обязательно кто-то лежит на земле валетом, опираясь на локоть, кто-то стоит явно на табуретках в задних рядах. Все смотрят в объектив серьезно и ответственно. И лица какие-то другие, не наши. Может, худее… А скорее всего дело не в лицах – во взглядах. В них еще нет усталости. И какая страсть фотографироваться плечом к плечу, так что с трудом отыщешь в толпе знакомого человека. На всех слетах, семинарах, в Крыму под пальмами, в Одессе на Потемкинской лестнице, в столовой с неестественно повернутыми к объективу головами. И подпись: «Совещание работников ПРСТ». Чего? Теперь уже не понять.

В этом учреждении, в кабинете политпросветработы, и познакомились мои родители.

7

Ну не смешно ли, что мы до смерти всё ищем во времени и

пространстве то столкновенье случайностей, через которое проявилась закономерность нашего появления на свет? Ведь знаем точно, что не нами и даже не нашими родителями это было определено. А всё равно любопытно.

Отец к тому времени был уже довольно известным поэтом. У него вышли две книги – «Мускул» и «Сполохи». Он входил в группу конструктивистов, откуда потом вместе с Маяковским перешел в РАПП.

Позади была школа кремлевских курсантов, фронты Гражданской войны, смерть отца.

Папа рано женился на Тамаре Эдгардовне Груберт, воспитаннице Загорской колонии, которой руководил в те времена Александр Федорович и куда наезжал с фронта папа.

Нужно было зарабатывать на жизнь. К тому же после скоропостижной кончины деда в кассе школы в Сокольниках, где он последнее время директорствовал, обнаружилась крупная недостача. Никто не мог понять, как это случилось. Все знали Александра Федоровича как безукоризненно честного и очень обязательного человека.

Семья не хотела допустить, чтобы даже тень подозрения коснулась его памяти. Решено было недостачу выплатить. И взрослые, и дети трудились, отказывая себе во всём. Даже пятнадцатилетняя Татьяна, начинающая художница, стала расписывать платки на продажу. Она рассказывала, что работать часто приходилось и по ночам, чтобы успеть к сроку. Так уставала, что иногда не выдерживала и плакала. А мама, которая когда-то растила своих детей для совсем другой жизни, ласково, но твердо говорила: «Надо, Танечка, надо».

Всё закончилось неожиданно. Бабушка повезла сдавать очередной взнос, добытый с таким трудом, и ей по дороге встретился бригадир плотников, работавших на строительстве нового корпуса школы. Они очень любили Александра Федоровича, как, впрочем, и все, кто с ним соприкасался. Он радостно приветствовал бабушку и осведомился: «Ну что, Ольга Михайловна, стало вам полегче?»

Бабушка даже оскорбилась. Как полегче? Так трудно, как никогда не было!

Оказалось, плотники чуть не целый год работали по воскресеньям и давно выплатили дедушкин долг.

Поднялась буря, в результате выяснилось, что деньги, и первые и вторые, присвоил заместитель директора, с виду вполне приличный человек.

Бабушке вернули большую часть выплаченных взносов, и, почувствовав себя сказочно богатой, она на радостях объявила:

«Дети, купите себе из еды что захотите».

Татьяна потребовала яичницу из двадцати яиц. С тех пор она до конца дней не прикасалась к яичницам и омлетам.

Отец для заработка писал стихи, пьесы и сценарии вечеров для пионерской организации.

Он слегка стыдился этого и подписывался псевдонимом В. Лугин.

В моем свидетельстве о рождении в графе «отец» так и написано: Владимир Лугин. Наверное, чтобы ничем не связывать его. А может, и потому, что его псевдоним был дорог маме – ведь их свела именно эта работа.

У меня сохранилась записка на клочке бумаги, написанная папой явно на каком-то собрании или заседании, что-то вроде: «Вы похожи на пупса, объевшегося вареньем» и еще какие-то глупости, столь знакомые и мне по моим девичьим флиртам.

Милая, ничего не значащая записка. Мама хранила ее все годы вместе с остальными письмами отца, но никогда мне не показывала. Я прочла всё это только после ее смерти.

Живо себе представляю, как он входит в небольшую, так мне кажется, комнату в этом самом Главпросвете, где мама сидела с еще несколькими сослуживицами. Думаю, все учреждения, прошлые и будущие, похожи одно на другое.

Он высокий, в те годы очень красивый – брови вразлет, чуть раскосые глаза, унаследованные им от матери, а от него – моими сыном и внуком; мужественный профиль, крепкая, почти скульптурной лепки шея, широкие плечи. Да еще поэт. Стихи он читал роскошным рокочущим басом, то понижая, то повышая голос. Очень выразительно. Пел. От матери же ему достались удивительно красивый голос и музыкальность. Он утверждал, что его приглашали петь в Большой театр. Может, конечно, и придумал.

Его коронным номером было исполнение гимнов разных стран. Он знал их во множестве, с текстами. Свободно владел французским, немецким, английским, знал латынь и древнегреческий.

И еще воевал. И еще интеллигент, настоящий, потомственный. Это всегда ощущалось в его облике.

В его семье детей хорошо воспитывали. Учили музыке, танцам, языкам.

Кажется, Лотман в своем «Комментарии к „Евгению Онегину“» писал, что дворянских детей учили танцам еще и для того, чтобы они чувствовали себя свободно, непринужденно. Отец всегда чувствовал себя свободно. В отличие от меня. Я в юности часто не знала, как держаться в обществе, очень стеснялась и

замыкалась.

Когда я и моя единокровная сестра Маша были уже немолодыми дамами, тетка строго говорила нам: «Девочки, у вас совсем нет манер».

И правда – чего не было, того не было.

Татьяна Александровна рассказывала, что у них дома во время обеда гувернантка продевала детям между локтями палку, чтобы спину держали прямо, не сидели, развалившись на стуле, и не облокачивались на стол.

Сама она, даже скрученная болезнью и старостью, всегда сидела на своей постели прямо – «держала спину», не сутулясь и не оплывая вниз.

Как же могла моя бедная мама устоять перед таким блестящим господином!

Он входил в комнату и сразу заполнял ее всю своим ростом, статью, раскатами голоса, замечательными рассказами, остроумными репликами.

И мама полюбила его на весь отпущенный ей век.

Спустя много лет мамин начальник и приятель, по-моему, ухаживавший за ней, с огорчением говорил: «Что вы с собой сделали, Ирина? Полюбили одного человека, а остальные для вас не существуют».

Не смотрелись остальные рядом с папой. Это правда.

А что же отец? Как он относился к этой внезапной любви красивой и цельной молодой женщины? Во всяком случае – не пренебрегал ею.

К тому времени он уже, кажется, разошелся с Тамарой Эдгардовной, еще раз женился – на некой Ольге Шелконоговой. Даже венчался по ее настоянию, о чём Татьяна Александровна рассказала мне под большим секретом спустя много лет после его смерти. Но и венчание не помогло. С Ольгой он вскоре тоже разошелся. Потом опять вернулся к Тамаре Груберт, но уже не регистрировал брак с ней. Так что моя сестра Маша, появившаяся на свет в результате этой второй попытки жизни с Тамарой, тоже как бы «незаконная». Впрочем, тогда этому не придавали никакого значения.

Отец был женат еще дважды. На пианистке Сусанне Черновой, которая ушла от него перед самой войной. Разрыв он пережил очень тяжело, свидетельство этому – прекрасные горестные стихи из цикла «Лирика».

А в самом конце войны женился на Елене Леонидовне Быковой, замечательной женщине редкой красоты, обаяния, масштаба личности. «Майя Луговская» – так она с тех пор подписывала свои стихи, рассказы и картины. «Майя» – потому

что в мае родилась. Она папу и похоронила в 1957 году, прожив с ним около тринадцати лет. Их брак тоже не был зарегистрирован, и после папиной смерти Татьяне Александровне пришлось выступать в суде, чтобы подтвердить факт их совместного проживания.

Но о Елене Леонидовне речь впереди. Она сыграла большую роль в моей жизни.

Ни женитьбы, ни драмы никогда не мешали отцу ухаживать за другими женщинами. В него влюблялись, он влюблялся. Совсем серьезно он уверял меня, что ни разу не бросил ни одну женщину и ни разу ни с кем не был без любви. «Правда, я создавал ситуации, при которых они сами меня покидали», – лукаво добавлял он.

И, наверное, это правда. При всей своей супермужественной внешности он был человеком мягким, временами даже безвольным и нерешительным. К тому же, как все творческие люди, – а я прожила среди них большую часть жизни – был погружен в себя, своеобразно эгоистичен, даже эгоцентричен.

Не знаю, может, это защита от внешнего мира. Ведь талантливые люди живут с обнаженными нервами. Что для обычного человека проходит незаметно, у них зачастую вырастает в огромную проблему. Эренбург как-то заметил, что душевное спокойствие для поэта – то же, что глухота для музыканта или слепота для художника. «Не в этом ли объяснение стольких трагических судеб поэтов и писателей?» – спрашивал он сам себя.

Но отец, очевидно, расставался так, что женщина не чувствовала себя оскорбленной, униженной.

Роман папы с мамой, судя по их переписке, длился несколько лет, то затухая, то вспыхивая вновь.

Конечно, это была неравная любовь. Мама была в жизни отца всего лишь эпизодом, одним из многих. Хотя, судя по его письмам к ней, да и по тому, что он сам говорил мне впоследствии, он ее глубоко уважал и ценил.

То были бурные и плодотворные годы его жизни. Поездки в Среднюю Азию, которая надолго стала темой его поэзии, в Европу – Грецию, Францию, Англию. Были написаны знаменитая «Песня о ветре», первый цикл «Большевикам пустыни и весны», цикл «Европа».

Мама тоже постоянно была в разъездах. С наступлением весны она отправлялась к месту своей летней работы – то по Военно-Грузинской дороге, то в Крым. Одно время жила и работала в Таджикистане.

И всюду ее находили папины письма, а главным образом, телеграммы. Видимо, этот вид почтового отправления он больше

всего уважал.

8

Вот они лежат передо мной. Довольно внушительная папка. Листки, исписанные круглым, разборчивым почерком, в некрасивых довоенных конвертах. Телеграммы на серых и голубых шершавых бланках, а времен войны – просто наклеенные на газетную бумагу. Аккуратно сложены по датам. К некоторым приложены черновики маминых ответов. В том числе, по-видимому, так и не отправленных.

Их я читаю с особенно стесненным сердцем.

Это повесть неразделенной любви. Временами нежность, временами вспышки гордости. Иногда обращение «дорогой Володя», иногда «уважаемый Владимир Александрович». То на «ты», то на «вы».

В конце поздних по времени написания писем обязательное: «Милочка растет, шлет тебе (или Вам) привет».

Милочка – это я.

Когда я подросла и ближе узнала отца, переписка почти прекратилась. Посылались только местные телеграммы (у нас не было телефона), адресованные нам обеим. Например, такая: «Люди, вы поросята. Почему не звоните? Беспокоюсь. Володя».

Последнее письмо в этой папке адресовано мне и послано на турбазу «Лисички» на Волге, где я отдыхала.

В старости мама часто говаривала, что слухи о ее любви к Луговскому сильно преувеличены и что она довольна тем, как сложилась жизнь, ибо ей нравится жить одной, ни от кого не зависеть, ни к кому не приноравливаться.

Она восхищалась Еленой Леонидовной, ее терпением и умением сохранять мир в доме, потому что жить с моим отцом было нелегко. Мама ясно сознавала, что она бы так не смогла.

Я теперь очень хорошо ее понимаю.

Есть женщины, наделенные высоким даром служить мужчине, мужу, а иногда даже не ему, а «дому», вить гнездо, сохраняя и охраняя его по мере сил.

Ни мама, ни я этим даром не обладали. Хотя мне, в отличие от мамы, такие возможности выпадали, и я честно пыталась им соответствовать. Но, несмотря на свойственную нам обеим мягкость нрава, стремление к независимости всякий раз брало верх над остальными чувствами.

Последнюю попытку создать семью и жить «как все» она предприняла в 1932 году.

Вместе со своей подругой и сослуживицей Лидой Шаховой, которую я упоминала, мама перебралась из Москвы на Урал, в Свердловск.

Там она встретила человека, который полюбил ее и предложил стать его женой. Она согласилась. Вероятно, они уже жили вместе. Мама поехала в Москву, чтобы взять вещи, сдать комнату, устроить всё для окончательного переезда.

И, как в плохом кино, случайно встретила на Кузнецком мосту знакомого, которого давно не видела и с которым не переписывалась.

В результате этой встречи я и появилась на свет.

Мама не колебалась. Она решила, что ребенок от любимого для нее важнее, чем устроенная жизнь и ясное будущее. Она порвала с тем свердловским человеком и осталась в Москве.

Много лет спустя, когда я уже была замужем и растила двоих детей, мы с мамой ехали в метро; вдруг она побледнела, схватила меня за руку. Я проследила за направлением ее взгляда и увидела какого-то невыразительного, немолодого мужичонку в сопровождении тучной женщины.

Я в недоумении спросила: «Кто это?» Но мама только сильнее сжала мне руку.

Мужичонка заторопился и на ближайшей остановке вылетел из вагона, подталкивая перед собой ничего не понимающую спутницу.

И только тогда мама призналась: «Это тот самый свердловский человек. Смешно, как он испугался. Решил не узнать меня».

Мне тоже было смешно. Все старые, с моей точки зрения, какие уж тут страсти?

Помню, было даже чуточку неловко за маму, за то, что она вообще испытывает еще какие-то этакие чувства.

А сейчас со щемящим сердцем вспоминаю его испуганное лицо. Ведь это, наверное, означало, что он не забыл, а может, и не простил.

И, скорее всего, не такой уж он был невидный и завалящий. Может, просто моё младое высокомерие его так увидело.

9

Многие хорошо помнят детство. Мой друг, замечательный писатель и драматург Семен Лунгин, был уверен, что его память хранит впечатления трехмесячного возраста. В рассказе «Избирательная память» он описал их так живо и точно, что

сомнений быть не может.

А я такой памятью похвастаться не могу. Мои воспоминания о ранней поре жизни обрывочны и не имеют стойкого образа.

Только одно веселое ощущение давно храню в душе.

Я только что проснулась и лежу в кровати. Кроватью этой мы с мамой очень гордились. Она была специально детская, с высокими спинками и сеткой по бокам. Сетка, натянутая на металлическую палку, при необходимости опускалась, и я могла сама из нее выбраться. Еще мы гордились одеялом, тоже предназначенным для детей из хороших семей: на нем были изображены собачки под зонтиками.

И кровать, и одеяло приобретены недавно, радость обладания еще не прошла.

Комната залита солнцем. Рядом с нами, через стенку, на коммунальной кухне слышатся голоса, позвякивает посуда. Пахнет чем-то вкусным.

Утро. День только начинается. И такое счастье затопляет меня! Счастье оттого, что я проснулась, что этот мир принадлежит мне, что у меня такие красивые кроватка и одеяло. И оттого просто, что я живу на свете.

Не часто, но все-таки еще несколько раз за жизнь ко мне приходило это чувство, но с такой остротой – никогда.

Когда это было? Думаю, мне было года три-четыре. Наверное, была весна. Или выпало редкое солнечное утро зимой.

Когда-то этот дом и соседний, напротив во дворе, принадлежали домовладельцу Елизарову. Он сдавал их внаем, а в одной квартире жил сам. И вот в этой квартире, отобранной новыми властями у владельца, поселили целую колонию молодых, веселых учителей. Тетя Эмма и мама, начавшие работать в школе, тоже получили казенные комнаты.

Наверное, это были лучшие годы их жизни, потому что вспоминали о них всегда со счастливой улыбкой. Юность, безбытность, всё впереди.

Квартира была большая, барская, шестикомнатная, с парадным и черным ходом. Парадный выходил на лестницу, которая вела в школу. Так что на уроки учителя ходили прямо из своих комнат.

Вскоре школу перевели, на ее месте расположился районный отдел народного образования. Парадный вход закрыли, все стали ходить через двор. Учителя уехали. Старшие сестры перебрались в Столешников переулок. А мама осталась.

Дом этот в самом начале проспекта Мира. В моём довоенном детстве улица называлась Первой Мещанской и дом числился под номером 10, а с переименованием почему-то стал 12.

Квартиру, когда отобрали у владельца, перестроили; кухню перенесли в одну из комнат, и она поражала богатым паркетом, а от бывшей кухни с черным ходом отрезали часть еще под одну комнату. В результате образовалась большая передняя, заставленная вещами, накрытыми клеенкой. И только раковина, несуразно оказавшаяся возле самой входной двери, напоминала о прежней диспозиции.

В каждой из шести комнат жила семья.

В самой большой и светлой помещался сам бывший домовладелец Елизаров, угрюмый старик, со своей дочерью и внуком, товарищем моих детских игр.

Они считались у нас самыми богатыми, и, несмотря на приятельство с внуком, я редко попадала в их заставленную старинными мебелями комнату, хозяин которой жил как бы в логове, отгороженном шкафами, а на остальном пространстве располагались его дочь, Анна Алексеевна, вдова какого-то арестованного начальника, о чём говорили шепотом, оглядываясь, внук Женя и его бонна – немка, которая воспитывала мальчика по всем правилам: как сидеть, как держать вилку и нож, как благодарить и шаркать ножкой. Кое-что из этих уроков перепало и мне.

В соседней с нами комнате жила мамина землячка и одноклассница художница Шура Маркелова с мужем и двумя детьми. Вернее, второй ребенок у нее появился позже, а до войны был только сын Олег, значительно старше меня. В конце сороковых, окончив школу, он поступил в Ленинградское военно-морское инженерное училище имени Дзержинского и, приезжая на побывку или прибывая на парады, поражал моё воображение своей синей форменкой с голубыми полосками на воротнике и суконными черными клешами. Не говоря о золотых нашивках на рукаве, соответствующих, кажется, году обучения.

Семья Маркеловых в городе Белом считалась состоятельной, не то что мамина голытьба. Они были из купцов. Но их дети учились с Селезневыми и Голубкиными в одной гимназии. Тетя Эмма с Верой Маркеловой и Тасей Селезневой. Мама с Шурой Маркеловой и Соней Селезневой… и так далее.

Художницей нашу соседку я назвала потому, что она сама любила так рекомендоваться, хотя на самом деле была учительницей рисования. Но еще потому, что ей обязана первым интересом к живописи. У Шуры было несколько альбомов репродукций, в том числе из Музея новой западной живописи, как тогда назывался Музей изобразительных искусств. Иногда по большим праздникам мне разрешалось посмотреть. Это было очень увлекательное занятие, потому что никуда не нужно было

спешить. Мы с мамой часто ходили в музеи, но там на меня обрушивалось столько впечатлений, что я быстро уставала и разглядеть понравившуюся картину не успевала.

Муж Шуры, Александр Петрович, был инженер, тихий человек, хмурый и неразговорчивый.

Зато очень разговорчивой была другая наша соседка справа, за кухней, Фаина Владимировна. Фамилии не помню, а саму вижу отчетливо, как сейчас. Уж больно часто она возникала в дверях нашей комнаты в роскошном халате, затканном цветами, полная, вальяжная, доброжелательная.

Она была еврейка, откуда-то с Украины, окончила там гимназию и очень этим гордилась. Муж у нее был русский, военный, с милым, добрым, простым лицом. Гимназий он явно не кончал. Жену обожал и побаивался. Он как-то терялся в тени ее мощного тела и умения жить.

Тогда много было таких браков. Красные командиры, большей частью родом из деревенских семей, женились на образованных еврейских девушках, которых увлекало их героическое прошлое, народные корни и возможность выбраться из замкнутого мирка провинции.

Надо сказать, по большей части браки эти были счастливые, и многие мои друзья и знакомые вышли именно из таких семей.

Детей у Фаины Владимировны и дяди Саши, как я его любя называла, не было. Одно время с ними жила ее племянница Зоя, учившаяся в школе второй ступени и добровольно взявшая на себя роль старшей сестры по отношению ко мне и моему ровеснику Жене Елизарову.

Перед войной, когда разрешили ёлки, на которые прежде были объявлены гонения, Зоя учила нас делать игрушки из ничего: гирлянды-цепочки – из страниц цветных журналов, клоунов – из яиц, в которых раскаленной иглой прокалывали дырочки, выпивали содержимое, а потом сооружали колпак из бумаги, из ленточки устраивали жабо, рисовали глаза, брови, обычно чуть изломанные в шутовской печали, и рот.

Мы золотили орехи, склеивали из пустых спичечных коробков домики. Работа кипела, и радости было много.

Еще в нашей квартире проживали два человеконенавистника – муж и жена Скирдовы. Они никогда ни с кем не общались, в кухонных разговорах участия не принимали. Готовили, разогревали и тут же исчезали.

В их комнате никто ни разу не бывал. Ходили смутные слухи, что там не одна комната, а даже целых две. Подозреваю, слухи пускал бывший домовладелец. Или опровергал. Теперь уже не помню. Так супруги Скирдовы и остались загадкой моего детства.

В передней, возле Елизаровых, жили баба Феня и ее племянница.

В комнате у бабы Фени, довольно большой по нашим меркам, было очень интересно. Там стояла никелированная кровать с шарами и таким множеством перин, что казалась нам высокой, как гора. До полу свисали кружевные подзоры, а в совсем уж немыслимой высоте громоздились одна на другой взбитые подушки в наволочках, вышитых мережкой.

Сама баба Феня была маленькая, сухонькая, и нас очень занимало, как она забирается на эту кровать. Я предполагала, что с табуретки, а Женя утверждал, карабкается по спинке.

Еще там имелся комод, покрытый салфеткой, на котором стояли слоники и лежали стеклянные пасхальные яйца, предмет нашей вожделенной зависти, потому что внутри яиц помещались то домик со светлыми окнами, то ангел с трубой. В нашем бедном игрушками детстве всё необычное казалось подарком судьбы. Помню, как Жене купили катер, который, когда внутрь поставишь огарок свечи и зажжёшь, начинал бегать по тазу с водой, поднимая волны и раскачивая на них белых восковых лебедей с гордыми шеями. Это стало событием нашей жизни.

В комнате бабы Фени были бумажные цветы, казавшиеся нам очень красивыми, и фотографии каких-то остолбенелых людей по стенам. Всё это были родственники бабы Фени, но, несмотря на ее подробные объяснения, мы так и не разобрались, кто есть кто.

А запах! До сих пор слышу этот особый запах, наверное, лампадки, горевшей в углу под иконой, засушенной мяты, которой перекладывалось бельё в шкафу, милой старушечьей чистоты.

По субботам они с племянницей ходили в баню, а потом, распаренные, пили на кухне чай, чашку за чашкой, с баранками, купленными на обратном пути, и сахаром вприкуску.

Елизаровы не очень поощряли Женины заходы в соседнюю комнату, а моя мама относилась спокойно. Она и сама не прочь была поболтать о разном с бабой Феней, хотя вообще к разговорам на кухне относилась сдержанно.

10

Устроить ребенка в детский сад человеку, не работавшему на большом предприятии, было почти невозможно. На помощь приходили няньки, нанять которых было проще простого. Сколько их у меня перебывало!

Это были девушки, молодые женщины, приезжавшие из

деревень, чтобы как-то закрепиться, а потом пополнить ряды московского пролетариата.

Поначалу испуганные, изголодавшиеся – помню, мама сетовала: сколько не положишь сахара в сахарницу, всё исчезает. Потом обживались, знакомились с соседями, с соседской прислугой, находили своих. Знали, где что дают, где выкинули мануфактуру, где масло, где валенки, и сколько «в одни руки».

Помню скучные стояния в бесконечных очередях, свары, скандалы, в которых выделяется визгливый голос моей няни: «А я с ребенком! А мне на двоих!»

Это была для них жизнь наполненная, интересная, не то что в деревне.

Освоившись, устраивались куда-нибудь на завод или на фабрику с общежитием. Спрос на рабочие руки в Москве был велик. Или выходили замуж. А в нашем доме появлялась новая няня.

Мы жили в восьмиметровой комнате, где едва помещались моя кровать, мамин диван с полкой для книг, вешалка, накрытая простынёй, что заменяла нам шкаф, и обеденный стол. Поэтому няни спали на полу, на матрасе, который на день выносился в коридор, благо он был вместителен.

Впрочем, вместительной была и наша комната. Позже, когда я училась в старших классах и в институте, за нашим столом усаживалось до пятнадцати человек. За это комната получила у нас прозвище «резиновая». Танцевать ходили в коридор, вернее, в переднюю. Соседи, пробиравшиеся на кухню, лавировали со своими кастрюльками между танцующими парами. Не ворчали, посмеивались.

11

Летом мы всегда уезжали из Москвы на съемную дачу.

Я их не помню, этих небогатых подмосковных домиков. Но когда увидела в «Зеркале» Тарковского цветы, стоящие в кувшине на полу, дощатый стол, бритые затылки детей, слезы выступили на глазах. Это был мой мир. Я из него вышла.

В среде московской интеллигенции, самой малообеспеченной, самой трудно живущей, всегда вывозили детей за город. Это было святое.

Зачастую вся дача – одна комната. Из мебели только сенники на полу. Но вокруг всё наше – поля, речка, мягкая пыль на дороге, по которой так приятно ступать босыми ногами.

Может быть, от этого рождалось ощущение прочности и

осмысленности жизни, столь не соответствующее эпохе.

Сейчас мои дети предпочитают вывозить своих на курорты. Или вовсе не вывозить никуда. Перебьются еще одно лето в душной Москве, что страшного.

12

Когда мне исполнилось четыре года, мама стала опять ездить на туристские базы. Так как она там работала, нас сопровождала очередная домработница.

Отправляясь в путешествие вглубь своей памяти, я нахожу первое отчетливое видение мира уже на юге, на турбазе в Тагенекли, где мама работала методистом.

И первый, кого я помню, – маленький ослик с мягкими губами, который нежно брал хлеб с моей протянутой ладони. Я испытывала к нему настоящую любовь. Помню его кроткие глаза, подвижные уши, вздрагивающую шкуру, серую, чуть стертую поклажей спину. У меня даже есть фотография, где я стою рядом с ним. На обороте маминой рукой: «Миле 4 года».

Мы жили в ауле рядом с турбазой, снимали комнату в сакле. Отношения с хозяевами были самые дружеские. Местные маму любили.

Однажды она взяла меня в горы. Поначалу я бежала впереди всех, легко взбиралась на кручи и перескакивала с камня на камень, но потом притомилась, а к концу меня уже по очереди несли на руках.

Наконец среди зелени проявилась какая-то сакля. Остальные пошли дальше, а мама со мной зашла передохнуть. Внутри был прохладный полумрак. Мы огляделись. Никого. Только плакал в деревянной люльке крепко спелёнутый ребенок, и мухи жужжали под потолком.

Неожиданно дверной проем потемнел. В саклю вошла женщина с вязанкой хвороста. Сбросила ношу на пол и всплеснула руками: «О! Ирина!»

По-русски она почти не говорила, но по всему было видно, что рада нашему приходу. Тут же принялась хлопотать – достала с полки стаканы, протерла подолом юбки, на вид не очень чистой, налила кислого молока и села, поджав ноги, смотреть, как мы пьем.

Я было поморщилась, но мама, никогда не разрешавшая мне съесть немытое яблоко или огурец, строго глянула, и я принялась покорно и не без удовольствия пить замечательно освежающий напиток, почему-то припахивающий дымком.

А женщина всё улыбалась и говорила на своем гортанном языке, доставала из люльки ребенка, показывала маме и ревниво вглядывалась ей в лицо – понравился ли?

Мама ахала восхищенно, цокала ребенку и охотно держала на руках этого, как мне показалось, червячка со сморщенным темным личиком.

Другое воспоминание из тех дней страшное.

Мы в гостях в каком-то европейском доме с несколькими комнатами и верандой. Наверное, в Нальчике. Я одна на веранде, и вдруг открывается от толчка дверь и со двора вбегает огромная овчарка. Я кричу, собака бросается на меня, с разбегу валит на пол, расцарапав когтями лицо.

На веранду врывается мама, бесстрашно отгоняет овчарку, хватает меня на руки, топает ногой, и собака, поджав хвост, пятится к двери.

С тех пор моя вера в маму не знала границ. Она была для меня весь мир, надежная защита и покой.

А на память об этом приключении на носу осталась царапина, которая обычно совсем незаметна, но проявляется, когда я бледнею.

13

Турбаза Тагенекли была расположена в очень красивом месте, на дне долины, которую со всех сторон обступали горы.

Неподалёку, у подножья гор, через бурную, но неглубокую речку, был аул, давший ей название. Заборы из грубого камня, извилистые улочки, сакли, уступами поднимавшиеся по склону. Жара. Пыль.

А на турбазе – клумбы, беленькие палатки, столовая и клуб с маминым «методкабинетом».

У меня есть газета, где обведена карандашом заметка о превосходном обслуживании на турбазе Тагенекли в Кабардино-Балкарии. Особо отмечена методист Голубкина, которая наладила туристскую работу, разработала новые маршруты и привлекла к проведению экскурсий талантливую научную молодежь. Там даже перечисляется, кого именно. Среди фамилий одна мне знакомая – Лукашевич.

Женя Лукашевич была маминой приятельницей, преподавательницей географического факультета Московского университета. Она и ее муж, тоже географ, приезжали в Тагенекли каждое лето и проводили там весь свой отпуск.

Да и остальные экскурсоводы, насколько я понимаю, были

такие же – летние. Зимой они где-то служили, чаще преподавали (у педагогов высшей школы и тогда отпуск был побольше), а как только наступала весна, начинали собирать рюкзаки, чтобы податься в горы.

Турбаза была перевалочным пунктом. На ней не жили подолгу. Прибывали маршрутом откуда-нибудь из Красной Поляны, несколько дней отдыхали, готовились к восхождению и отправлялись к «Приюту одиннадцати», а отдельные, особо подготовленные, группы – и еще выше.

Изредка мы наведывались в Нальчик, который из нашей глухомани казался оплотом цивилизации, а был в то время всего лишь маленьким, зеленым, одноэтажным городком.

Там у мамы были приятельницы. Хорошо помню одну, Ольгу Христиановну, помню ее домик, чистый и уютный, поразившее меня пианино, на котором мне изредка разрешалось побренчать одним пальцем, стол, покрытый вязаной скатертью, запах хорошего табака из трубки, которую курил ее муж.

Позже, когда я уже сама стала разъезжать по стране, почти в каждом провинциальном городе встречались мне такие дома, где стояли книги, звучала музыка, на стенах висели картины или репродукции, а хозяева жадно расспрашивали: ну, что там, в Москве? Что идет в театрах? Что в концертах? Я мычала что-то неопределенное в ответ и испытывала стыд, поскольку очень скоро выяснялось, что они осведомленнее и заинтересованее, чем я.

В то первое лето с нами в Тагенекли была моя няня Катя, которую я очень любила. Ее одну и помню из всей череды домработниц.

Там у нее случился бурный роман с парнем из аула.

Уже в Москве выяснилось, что роман имел последствия – Катя забеременела. Ей пришлось от нас уйти и устроиться на фабрику. Я была безутешна.

Однажды, много времени спустя, мы с мамой поехали проведать ее в общежитие, где Катя жила с маленьким ребенком.

Мы встретились как родные. Катя плакала, каялась – и радостно любовалась своим сыном. А я ревновала.

От этого посещения осталась у меня игрушка – физкультурник на турнике. Если его завести маленьким ключиком, он начинал с лязгом крутить «солнце», застревая на мгновенье в самой высокой точке вниз головой, а потом с грохотом обрушиваясь к земле. У нас так его и звали – «катин физкультурник». Я его немного побаивалась.

Но и Катя, и ее физкультурник исчезли позже в безднах войны.

Отец появлялся довольно часто, слишком большой для нашей скуднометровой комнаты, всегда как-то по-особенному, даже щеголевато, одетый. Как будто из другого мира.

Может, поэтому я не воспринимала его как близкого человека.

Часто я забиралась к нему на колени и затихала, иногда даже засыпала под громыханье его рокочущего баса. Всё в нем было сильно, крупно, громко. Когда он чихал, звенели тазы и корыта в ванной.

Мне очень нравилось играть с его немыслимыми бровями. Я оттягивала одну и смотрела, докуда достанет. Чаще всего доставала до самого кончика его крупного носа.

Я любила, когда он приходил, хотя в те времена еще не знала, что он мой отец. Я звала его «дядя Володя».

Уже позже я домучила маму вопросом «кто мой папа?», и она сказала: «Спроси у дяди Володи».

Я с нетерпением ждала его прихода, а когда он появился, обменявшись на пороге с мамой какими-то насторожившими меня репликами, бросилась к нему и потребовала немедленного ответа.

Он посадил меня к себе на колени и сказал серьезно: «Он в этой комнате. Попробуй догадайся, где».

Я решила, что это такая забавная игра. Стала тыкать в углы, спрашивая: «Здесь? Здесь?», а он отрицательно качал головой. Наконец я указала на него, не придавая этому значения, просто разыгравшись: «Здесь?» И он сказал почти торжественно: «Да, я твой папа».

Я вовсе не обрадовалась, а даже была разочарована, что игра так неожиданно кончилась.

Дядя Володя и так был моим. А я ждала какого-то нового, незнакомого папу.

Но потом осмыслила это открытие, приноровилась к нему. И привыкла к тому, что у меня такой папа – приходящий. У других постоянный, а у меня приходящий. Мне даже нравилось такое положение вещей, потому что он меня не воспитывал, никогда не делал замечаний. Появлялся как праздник.

Думаю, он нам не помогал. Мама бы не допустила. Она сама приняла решение и сама отвечала за это. Да отец и не рвался помогать.

Тогда такое положение устраивало обоих. У них были общие друзья. Иногда у нас собиралось целое общество. Мама рассказывала мне: однажды их приятельница Лия Семеновна

Коган шутя назвала папу «полковником Скалозубом», вероятно, за его громкий смех. Смеялся он замечательно, запрокидывая голову, показывая все свои ровные белые зубы. Но я почему-то за него обиделась и устроила настоящий скандал. Я бушевала, а все смеялись. Конечно, я не знала тогда Грибоедова, но чем-то это прозвище, Скалозуб, показалось мне обидным.

15

Недавно Нина, дочка той самой Лиды Шаховой, сказала между делом, что у нее есть фотография, где мама и папа сняты вместе. Я очень обрадовалась. У меня нет ни одного их общего снимка. Мне казалось, я посмотрю на фото и что-то пойму об их взаимоотношениях, о которых, в сущности, знаю мало.

Я умоляла Нину найти фотографию и дать мне переснять.

Она не нашла. Где-то затерялась за эти годы.

Но у меня есть письма.

«Родной мой, ты ведь знаешь, как я жду твоих писем. Очевидно, сюда ты не успеешь написать. Я буду ждать твоего письма в Москве. Хотя бы телеграмму.

Я тебя очень ценю и очень к тебе привязана в лучшем смысле этого слова.

Мы с дочерью крепко тебя целуем. Ирина и Мила».

Так или иначе, это повторяется во всех письмах и с той и с другой стороны.

Отец очень хорошо относится, ценит, уважает, оправдывается, сокрушается.

Мама тоскует, радуется малейшему знаку внимания и ко мне, и к себе, иногда обижается, гневается, чаще прощает и понимает.

Я – связующее звено, поэтому на этих пожелтевших страницах появляюсь очень часто. Читая их сегодня, я много интересного узнаю о себе и своем детстве.

Вот, например:

> *По пути в группу Ботанического сада она мне позавчера вдруг заявила: «Скоро ли приедет папа? Некого ждать, не с кем поговорить, не у кого на коленях посидеть и не для кого скатерть постелить». На что я ей резонно заявила, что скатерть стелется не только ради тебя. Она заявляет: «Ну, я стелю скатерть только ради папы. И для тебя (это чтобы меня не обидеть)». А скатерть положила на стол она сама всего только один раз в жизни.*

Недалеко от нас, на углу Грохольского переулка, располагался Ботанический сад, маленький райский уголок с уютными аллеями, тихими скамеечками и диковинными растениями, которые росли в оранжереях и на воле.

Ежедневно мама водила меня туда в «немецкую группу». Тогда в больших городах они были довольно распространены. Их создавали, как правило, бывшие гувернантки и бонны, застрявшие в России и оставшиеся после революции и ликвидации НЭПа без средств к существованию. Наша, насколько помню, даже плохо говорила по-русски. В группе было шесть-восемь детей дошкольного возраста. Мы проводили в саду часа четыре – гуляли, играли и заодно обучались языку. Бонна разговаривала с нами только по-немецки, и к концу своего пребывания там я довольно бойко болтала, еще больше понимала. Конечно, на элементарном уровне. Потом всё забыла.

Каждый приносил с собой завтрак и салфетку, зимой – чай в термосе. Было очень весело пристроиться где-нибудь на скамейке, разложить на коленях салфетку и поглощать бутерброды, запивая горячим чаем. Если холодно – шли греться в оранжереи: там было тепло, влажно, над головами неподвижно стояли пальмы, и к каждой была прикреплена деревянная табличка с названием на латыни и русском.

Прежде чем отправить в рот первый кусок, нужно было по-немецки назвать, что именно собираешься проглотить, попросить разрешение начать завтрак и пожелать друг другу приятного аппетита. Это тоже превращалось в увлекательную игру. Вообще, мы любили ходить в группу. Бонны были профессионалами своего дела. Они знали множество игр, наивных и старомодных, но для нас неизменно интересных. Например, игра «в фигуры». Каждый должен задумать персонажа и постараться позой изобразить его, а остальные угадать, что или кого ты изображаешь.

Однажды я задумала памятник Сталину, идущему с вытянутой перед собой, сжатой в кулак рукой. Мне казалось, я очень выразительно передала фигуру, которую где-то видела. Напряглась, сделала значительное лицо.

Бонна одобрительно захлопала в ладоши. «Отлично, отлично, – сказала она, – смотрите, как точно Мила изобразила разбойника! Видите, какое у него злое лицо, и кулак выставлен вперед, точно он грозит кому-то».

Я была обескуражена, но почему-то промолчала.

Или письмо, написанное папе в какой-то санаторий:

2 февраля 1941 г.

Милый, дорогой пленник!

Когда же кончится твое заточение? Тебя, очевидно, решили вылечить на всю жизнь, а жизнь твою продлить до 150 лет.

Как раз на днях у меня с Милой была беседа на эту тему. Она решила выяснить, каков предел человеческой жизни. Я ей сообщила, что на Кавказе были старики, которые прожили до 140 лет. Тогда она пожелала мне прожить столько же. Я постаралась нарисовать, насколько могла, яркую картину того безотрадного существования, когда мне будет 140, ей 110, а, предположим, ее ребенку 85 лет и т. д. Она весело заявила, что ничего страшного нет, мы все будем получать пенсию (ведь ее няня в Нальчике тоже получала пенсию). На этом наша беседа кончилась.

Я сделала вывод, что, очевидно, нужно прожить несколько больше, чем она прожила, для того, чтобы понять, что прожить до 140 лет совсем не весело…

16

В то время вопросы устройства мироздания уже начали всерьез занимать меня. Кроме проблемы долголетия, о которой пишет мама, больше всего меня волновала бесконечность пространства. Я не могла себе представить, как это так устроена вселенная, что у нее нет конца. Помню, мама спокойно сказала: «Ну а представь себе, что мир кончается. И что там? Забор? А за забором?» Тут мне сделалось совсем страшно.

Иногда перед сном я задумывалась об этом, и тотчас начиналось головокружение. Мир, состоящий из множества точек, кружился вокруг меня, как будто я лечу куда-то в бесконечность. Надо было срочно очень сильно зажмуриться, чтобы остановить вращение, иначе подступала дурнота и ужас.

Это продолжалось довольно долго. Несколько лет. Потом как-то само собой кончилось. Наверное, другие вопросы стали волновать больше.

Я рано научилась читать, лет в пять. Специально никто не учил. Кто-то подарил кубики с азбукой. Я спрашивала, где какая буква. Мама показывала. Потом я начала складывать слова, потом стала произносить их вслух. Потом перешла к книжкам. Довольно долго читала по буквам. Мой сосед Женя с чувством превосходства объяснял, что читать надо по слогам, но у меня не получалось. Переход к беглому чтению случился как-то

незаметно. Помню, что Женя всё еще читал по слогам, а я уже одолевала целые книжки.

Всякие Барто и Михалковы недолго занимали место в моей жизни. Память была великолепная, и я запоминала стихи наизусть со второго прочтения.

В ход пошел Пушкин, русские народные сказки, журнал «Мурзилка». В семь лет, в год начала войны, мама выписывала мне «Пионерскую правду».

Уже в ту пору книги для меня стали любовью и необходимостью. Помню немыслимые страдания, когда забыла на пляже в Нальчике подаренную мне детскую повесть под названием «Генрих начинает борьбу». Это был рассказ о немецком мальчике, сыне антифашиста, который прятал подпольщиков в шкафу с двойными стенками. Что там еще происходило с этим Генрихом, память не сохранила, но потеря книги была первым моим серьезным детским горем.

А любимым произведением надолго стал «Дон Кихот», прочитанный в то же предвоенное лето, правда, в адаптированном варианте, в издании «Детгиза».

Жизнь среди взрослых, раннее чтение и одинокое размышление над прочитанным создали среду, в которой вопросы бытия волновали меня не меньше, чем события детской жизни.

Я часто думаю о том, что в детстве мне очень не хватало окружения, друзей, прочного уклада жизни, который помогает ребенку освоиться в этом огромном мире и почувствовать себя в безопасности.

Тогда я этого не понимала. Мне было довольно того, что мама рядом. О других возможностях я даже не подозревала. И только позже, уже став взрослой, поймала себя на том, что, читая книги или слушая рассказы о чужом счастливом детстве, всякий раз как-то странно волнуюсь, даже тоскую.

Особенно задела меня книга Татьяны Александровны, в которой так ярко и выразительно описан дом Луговских, где вырос мой отец, где дети и взрослые жили в таком неразрывном единстве и любви, что уже одного этого могло хватить на всю оставшуюся жизнь, как бы она ни сложилась.

Вероятно, поэтому я так долго тянула со своей собственной неудавшейся семейной жизнью, всё пыталась что-то наладить, создать уют, какие-то праздники, семейные обеды по выходным, чтения за столом под низким абажуром.

Мне хотелось, чтобы у моих детей был дом, воспоминание о котором согревало бы их долгие годы. Но опыта такого у меня не было, и эта цепочка оборвалась и в моей, и в их жизни.

Но всё же моё детство никак не назовешь печальным. Мы

жили в нежности и согласии. Мама ни в чём не стесняла мою самостоятельность. Она была удивительно тонким и деликатным человеком. Ни в детстве, ни потом не помню случая, чтобы она спросила, куда я иду. Только интересовалась, когда меня ждать. Это называлось «когда начинать волноваться?»

Я сама всегда охотно и подробно рассказывала ей о том, что видела и пережила. И она замечательно слушала, ей всё было интересно и всё важно.

Она никогда ничего мне не запрещала. Предупреждала, да. Давала оценку: это хорошо, это плохо. Спокойную такую оценку и очень твердую. Притом в маме было великое качество: она никогда никаких счетов не предъявляла жизни. Она была полна любви и доброты.

Мне кажется, я и сейчас многое на свете меряю этими изначальными мерками. И хотя я столько раз оступалась и отступала, столько наделала ошибок, о которых горько и тяжело вспоминать, в чём-то главном я выстояла и не растеряла этих надежных ценностей, простых истин, лежащих в основе всего.

17

Летом границы мира расширялись. Мне принадлежали поляны и горы, и шиповник на склонах, и мутная быстрая речка в долине, и куры, роющиеся в пыли, и сама эта мягкая пыль.

Я очень рано постигла протяженность и разнообразие мира. Вокзалы, поезда, грузовики, ночевки в чужих домах и на случайных квартирах, вещи в чемоданах, крик незнакомых петухов за окном. Приезжали почему-то чаще всего в темноте, а утром шагнешь за порог – и всё новое, даже холодок рассвета, и за горизонтом таится что-то, и еще что-то, и еще.

Мои дети мало ездили и почти совсем не знают страну. Наверное, моя вина. Суетливая и самодостаточная кинематографическая жизнь мало оставляла времени на то, чтобы подумать об их будущем. Я не передала им любви к русской земле, ее тихим городкам, неказистым деревням, большим и малым рекам, далям, полям. Впрочем, почему только русской? Я люблю Кавказ, Среднюю Азию, Украину, Крым. Куда только не забрасывала меня жизнь и неутомимая жажда путешествовать. Раньше казалось, разбуди меня среди ночи и спроси: «Хочешь в Тьмутаракань?» – я бы ни на минуту не задумалась и сказала «Да!»

Вероятно, эта легкость на подъем досталась мне от родителей. Их поколение не знало тяжести и замкнутости дома.

Им был открыт весь мир. То есть, конечно, не весь. Большая часть этого огромного мира была им недоступна, как космос и вселенная. Отцу еще удалось поездить по Европе, а мама никогда не побывала за границей. Какое странное понятие «за границей». Оно существует, наверное, только в советском сознании. Никогда европеец или американец не скажет, что был в «заграничной» поездке. Был во Франции, вернулся из Испании, Италии, Перу… У нас – как будто побывал в другой реальности, отделенной глухой стеной. Теперь это, правда, ушло, но словечко осталось – может быть, навсегда.

А страна им была открыта вся. И не для туристических поездок – для работы, жизни. Везде были нужны люди, специалисты, рабочие люди. Им ничего не стоило подняться, поехать работать в Сталинабад (бывший и нынешний Душанбе), в Свердловск, на Алтай… Отец был в Туркмении, Таджикистане, Дагестане, Белоруссии. Да где он только не был. Его письма к сестре Татьяне – почти каждое из нового места. Письма молодые, бодрые, чуть по-мальчишески хвастливые. Полные новых впечатлений. Как часто, перечитывая их, я завидовала этому захлёбу, свежести. Всё впервые и всё в радость. Наверняка многое не было столь безмятежным. Но очень хотелось видеть именно так. Позднее умолчания выплыли в поэмах «Середины века», особенно в первых вариантах, написанных в Ташкенте во время войны. Свойство его молодой натуры – хотелось, чтобы всё было разумно и внушало надежду. Им всем хотелось верить в светлое будущее.

Но, как мы теперь знаем, это продолжалось недолго. Наступили другие времена. Я этих времен не помню – в 37-м мне было четыре года. И по письмам отца судить трудно. Их стало меньше, они сделались скупее, касались, как правило, только личного. Иногда только проскальзывали фразы вроде «у меня был трудный год». Если посмотреть по датам, станет понятно, что писалось это в то время, когда его прорабатывали за книгу «Страдания моих друзей». К тому же времени относится отчаянное письмо Фадееву, где отец как бы признавал свои ошибки и в то же время не мог скрыть, что находится в полном недоумении – почему? За что? Мама пыталась ободрить его. Но она была очень далека от всех этих проблем – тихая, скромная интеллигентка, занятая своим неброским делом и нелегким бытом. Впрочем, это только мои догадки. Мы с ней никогда не говорили об этом. Почему, почему мы никогда не говорили? Берегла она меня или просто не чувствовала с моей стороны никакого интереса? Теперь уже не спросишь.

Только под конец жизни рассказала одну историю. Она была

уже тяжело больна. Говорила с трудом. Понимала, что идет к смерти. Может, поэтому и рассказала. Не хотела, чтобы это ушло с ней.

Дело было в году 38–39-м, в Тагенекли. Однажды в конце рабочего дня к ней в методкабинет зашли двое мужчин. Мама была занята, окружена людьми, но сразу отметила этих двоих, почувствовала, что не из туристов. Держались по-другому, что ли.

Наконец народ разошелся. А эти всё сидели.

– Мне надо закрывать кабинет, – сказала она.

– Закрывайте. Только с этой стороны.

И предъявили удостоверения ЧК или ГПУ. Мама похолодела.

– Не бойтесь, мы не за вами, – улыбнулся тот, что помоложе. – Поговорить надо.

Старший, не спрашивая разрешения, спокойно сел за мамин стол и закурил.

– В кабинете не курят, – строго сказала мама, хотя всё у нее внутри дрожало от страха.

Старший с любопытством взглянул на нее и поискал глазами, обо что погасить папиросу. Мама подвинула к нему блюдечко.

Младший остался сидеть, где сидел. Мама стояла между ними. Их это не смущало.

– Вы имеете дело с интеллигенцией, – начал старший. – Нас интересует, о чём они думают, о чём говорят, что их устраивает, чем недовольны. Внимательно слушайте разговоры, записывайте и передавайте нам.

Замечу, что туризмом тогда, действительно, увлекались только интеллигенты.

Мама судорожно искала выход из положения. И вдруг ее осенило.

– К сожалению, я не могу вам пригодиться. Я плохо слышу.

Они недоверчиво взглянули на нее.

– Как же вы работаете с людьми?

– Когда ко мне обращаются, тем более смотрят на меня – я всё разбираю. А разговоры не слышу. У меня осложнение после гриппа.

Мама говорила правду, и они это почувствовали. Помолчали. Потом старший сказал:

– Попробуйте записывать, о чём они с вами разговаривают.

– Со мной говорят только по делу. Вы же слышали. Я для них посторонний человек. К тому же начальство, хоть небольшое. О том, что вас интересует, со мной никто говорить не будет.

– А что нас интересует? – живо спросил младший.

– Ну, всякие антисоветские разговоры. Я же понимаю.

– Не только, – вяло возразил старший. – Все-таки попробуйте.

Мы будем держать с вами связь.

Они явно потеряли к ней интерес. Небрежно попрощались и ушли.

Потом еще раза два в самое неожиданное время появлялся младший. Спрашивал, нет ли чего-нибудь новенького.

– Нет, – коротко отвечала мама.

Ее оставили в покое. Но мама всё равно жила в постоянном напряжении, пока не вернулась в Москву.

– Ты очень боялась? – спросила я.

– Очень. Больше всего я боялась, что меня арестуют и ты останешься одна в чужом краю, никому не нужная. Я даже хотела написать Луговскому, чтобы он забрал тебя, если что. Но побоялась. Письмо могли прочесть. Я слышала о таких случаях. А я не хотела навредить ему. Ведь там никто не знал, чья ты дочь.

Она помолчала и добавила:

– Впрочем, они всё знали, как я теперь понимаю.

– В какой ужасной стране ты жила, – воскликнула я.

Мама подняла на меня глаза.

– А ты что, в другой стране живешь?

– Конечно, – не очень уверенно ответила я.

– Посмотрим… Я, впрочем, не доживу.

Мама умерла в 1974 году. Как я, в сущности, мало знала о ней, прожив бок о бок большую часть своей жизни.

18

Летом 1941-го мы с мамой отправились на озеро Селигер. Там была недавно созданная туристская база – палаточный городок на самом берегу, столовая, она же клуб, где на втором этаже находился мамин «методический кабинет» с картами на стенах, книгами и почему-то чучелами разных зверей, заспиртованными рыбами, пресмыкающимися, разными гадами. Это было моё царство, я могла проводить там всё свободное время. Правда, его было очень мало. Ведь мне принадлежало и всё озеро – огромное, тогда очень чистое, одно, думаю, из красивейших в мире, с большой лодочной пристанью, где были и байдарки, и шлюпки, и яхты. Моими были зовущие дали и почти девственный лес с еле заметными тропинками, полный ягод, грибов и всякой живности. Ежи заходили прямо в палатки, ночами топотали по доскам деревянного пола, птицы вспархивали с каждого куста, дорожку перебегали зайцы. Иногда забредали крестьяне из дальних деревень и с туповатым недоумением разглядывали веселых горожан в трусах и майках,

которые бездельничали и рассекали на лодках спокойные воды озера. Раз или два в неделю причаливали катера с очередными туристами и свежей почтой, в том числе моей «Пионерской правдой».

Катер, привозивший почту, я ходила встречать сама. Газета пахла свежей типографской краской. Этот запах очень волновал меня. Всё было праздником – путешествие к пристани по утренней сырой траве, газета, поданная с борта прямо мне в руки, первые прочитанные строчки и впереди длинный день, который так удачно начинался.

22 июня у мамы был выходной. Мы заранее условились провести его вдвоём на озере. Встали рано, чуть не в шесть, взяли на базе двухместную байдарку и отправились. Гребли поначалу усердно, потом лениво. Озеро было удивительно спокойное – расстеленная скатерть. Заря окрасила всё вокруг в розовый цвет. С поднятой лопасти весла срывались розоватые капли и глухо шлепались о чуть встревоженную гребком водную гладь. Тишина стояла такая, что даже эти мягкие звуки казались лишними, почти неприятными. И вокруг – никого. Никого-никого. Как будто мы одни на всём белом свете. Я тогда еще не знала про всемирный потоп и про Ноя, но, думаю, подплывая к Арарату, он чувствовал себя примерно так же.

Помню, мне даже стало немного страшно. И я запела мамину любимую песню «По долинам и по взгорьям…». Мама подхватила. Хорошо, что нам никто не встретился: ни у мамы, ни у меня совершенно не было слуха. «Наливалися знамена кумачом последних ран…» – весело и фальшиво пели мы.

Солнце поднималось выше и выше, но от воды веяло свежестью, и нам не было жарко.

Потом я, видимо, притомилась, мы пристали к одному из бесчисленных островков и принялись завтракать. Купались, сидели на крутоватом бережку и болтали ногами в воде, разговаривая не помню о чём. Потом, кажется, поспали немного. Уже за полдень поплыли дальше, отдохнувшие и бодрые.

Мне было хорошо, радостно и легко. Сейчас я бы назвала это состояние счастьем – тогда это слово мне в голову не пришло бы.

Навстречу плыла лодка, вернее, баркас, набитый людьми. И кто-то, перегнувшись, сложил руки рупором и крикнул нам: «Война!»

Когда мы подплыли к базе, то увидели толпу людей, собравшихся у большого репродуктора. Меня поразили их лица – напряженные, серьезные, тревожные. Выступал Молотов. Мы присоединились к слушающим. Я тогда еще мало понимала. Вычитанная из книжек война казалась мне вполне увлекательным

делом. Свежи были в памяти события в Испании, сводки боёв, которые все жадно ловили по радио. Это было что-то далекое, возвышенное и романтичное. Приезд испанских детей… Мы носили пилотки с кисточками – «испанки». И песни, которые пели, настраивали на бодрый и лихой лад. «Пролетали кони да шляхом каменистым…», «В бой за Родину! В бой за Сталина! Боевая честь нам дорога! Кони сытые бьют копытами – встретим мы по-сталински врага».

Но, глядя на лица вокруг, особенно на маму, которая, мне показалось, плакала, я тоже погрустнела.

Мы еще долго жили на опустевшей турбазе.

Маме предложили остаться до полного свертывания базы. Больше некому было – другие начальники ушли на фронт.

Перебирая мамины письма, я нашла две телеграммы. Одна от ее подруги Лии Коган: «Мы с Володей считаем, что вам нужно остаться на Селигере как можно дольше». Видимо, это был ответ на мамину телеграмму отцу, в которой она просила совета, как поступить.

Вторая – совсем короткая: «Ухожу на фронт. Целую тебя, дочку». Дата – 26 июня.

Отец не добрался до действующей армии. По дороге их эшелон разбомбили, его сильно контузило, и он вернулся в Москву больной, раздавленный, неузнаваемый. Об этом много писали; и Симонов в своих воспоминаниях, и другие. Кто презрительно и недружелюбно, кто с жалостью, тоже полупрезрительной. Еще бы – красавец, спортсмен, мощная фигура. Певец Гражданской войны, почетный пограничник, автор знаменитой «Песни о ветре». Мне кажется, наиболее достойно об этом написал спустя много лет Евгений Евтушенко во вступлении к сборнику стихов и поэм отца, изданному к столетию со дня его рождения. А последнюю точку поставила Наталья Громова в книге о ташкентской эвакуации «Все в чужое глядят окно».

Я понимаю, что как дочь, любящая его и знающая не только по жизни, но и по стихам, которые читаю всю жизнь, читаю сердцем, читаю и то, что между строк, ношу в себе, я могу быть необъективной. Но я и не хочу быть объективной. Чем старше я становлюсь, тем он мне ближе и роднее. Сейчас я, наверное, единственный человек, который любит его таким, каким он был. Мои дети и внуки довольно равнодушны к его поэзии и памяти. И сын моей покойной сестры Маши Володя Седов, в силу обстоятельств ставший его единственным наследником, тоже не горит любовью к его стихам. Может, мы с Машей виноваты, может, время. Мне трудно судить, и я их не корю, а только сожалею.

Вот что я думаю.

Явственно вижу его, выбравшегося из-под обломков вагона, в перепачканной землей гимнастерке, бредущего среди трупов и стонущих окровавленных раненых.

Разве такую войну видел он во время своих коротких пребываний на фронтах Гражданской и участия в захвате

советскими войсками Западной Украины? Там тоже было, наверное, и тяжко, и страшно. Но не было такого, чтобы с неба, синего и безмятежного, сыпались бомбы, превращая людей в кровавое месиво. Ольга Фриденберг писала Пастернаку в первые дни войны: «Какой ужас! Они бомбят мирных жителей. Как это возможно?!»

Тогда этому еще удивлялись.

Не знаю, наверное, если бы он благополучно добрался до места назначения и оказался среди людей, ежедневно подвергавшихся смертельной опасности, всё сложилось бы по-другому.

Но тогда не было бы, наверное, «Середины века» и многих последних его стихотворений.

Мы ничего не знаем о бедах, которые валятся на нас, кажутся несправедливыми и бессмысленными, а потом вдруг оборачиваются новой глубиной или знаменательным поворотом судьбы.

Недавно я прочла в дневниках Давида Самойлова, любимого мной поэта и человека, запись от 6 июня 1957 года, когда он узнал о смерти Луговского: «Умер Луговской, славный человек, хороший поэт, очень добрый ко мне. Мы знали друг друга слишком мало, чтобы стать друзьями, но теплая симпатия связывала нас последние пару лет его жизни. Он был одним из уходящего поколения поэтов, которые при всех недостатках своих, при всей растерянности перед лицом времени были талантливыми и умели ценить в людях незаурядность, талант, поэзию. Они, эти люди, – тоненькая цепочка, связывающая нашу скудную поэзию, наших измельчавших поэтов с великой русской традицией – с Блоком, Маяковским, Есениным. Очень горько думать о его смерти…»

Как он точно написал о поэтах этого поколения, которые пытались сохранить себя и примириться со временем. Нам ли их судить. Конечно, были недосягаемый Пастернак, и Мандельштам, и Ахматова. Кто может стать вровень с ними. Были поэты более поздних поколений – Самойлов, Арсений Тарковский, Юрий Левитанский, которые предпочитали не печататься, жили переводами и чтением стихов в кругу друзей. Честь им и слава. Отец был не таким. Он был добр и эгоистичен, тщеславен и крайне не уверен в себе. В чём-то он был очень слаб, но временами почти величаво силён, проникая мыслью и чувством в суть вещей. Громкоголосый и тихий, пафосный и лиричный.

Когда-то он написал мне стихотворение:

Милка, девочка моя,

Скоро жизнь тебя научит
Не давать себе житья
И других напрасно мучить.
Эта глупость от отца
Умной дочери досталась —
Сердце тратить без конца,
Лишь бы сердце оставалось.

Это единственное стихотворение, которое точно посвящено именно мне. Там названо моё имя, и я помню, по какому поводу оно написано. С остальными сложнее. Как-то, когда мне исполнилось пять лет, отец подарил мне игрушечного медведя. Вернее, не сам подарил, его тогда не было в Москве, а поручил сделать это сестре Татьяне. После ее смерти, разбирая письма Татьяны Александровны Леониду Малюгину, я наткнулась на описание ее поездки по морозной Москве, где в это время встречали не то папанинцев, не то челюскинцев, на край земли, как ей казалось, – на Первую Мещанскую. Я всё поняла по адресу и дате – 13 декабря. Имя моё не называлось. К подарку было приложено стихотворение «Медведь»: «Девочке медведя подарили…».

Девочке медведя подарили. Он уселся, плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью, Важный зверь с полночною душой. Девочка с медведем говорила, Отвела для гостя новый стул, В десятьспать с собою уложила, А в одиннадцать весь дом заснул. Но в двенадцать, видя свет фонарный, Зверь пошёл по лезвию луча, Очень тихий, очень благодарный, Ножками тупыми топоча. Сосны зверю поклонились сами, Всё ущелье начало гудеть, Поводя стеклянными глазами, В горы шел коричневый медведь. И тогда ему промолвил слово Облетевший многодумный бук: – Доброй полночи, медведь! Здорово! Ты куда идёшь-шагаешь, друг? – Я шагаю ночью на веселье, Что идёт у медведей в горах, Новый год справляет новоселье. Чатырдаг в снегу и облаках. – Не ходи, тебя руками сшили Из людских одежд людской иглой, Медведей охотники убили, Возвращайся, маленький, домой. Кто твою хозяйку приголубит? Мать встречает где-то Новый год, Домработница танцует в клубе, А отца – собака не найдёт. Ты лежи, медведь, лежи в постели, Лапами не двигай до зари И, щеки касаясь еле-еле, Сказки медвежачьи говори. Путь далёк, а снег глубок и вязок, Сны прижались к ставням и дверям, Потому что без полночных сказок

Нет житья ни людям, ни зверям.

Очень долго я была уверена, что эти стихи посвящены мне, знала их наизусть и читала гостям, стоя на стуле и держа в руках медведя. А потом, уже взрослой, может быть, даже после смерти папы, узнала, что почти такой же медведь был подарен моей сестре Маше, и она думала, что стихи посвящены ей. А еще позже выяснилось, что написаны они были в Ялте под Новый год, когда он подарил медведя дочери женщины, с которой у него тогда был роман. Это так похоже на папу. Еще он говорил, что стихотворение «Виноградник шелестит…», где есть строчка: «Я услышу за собой девочку большую» – это тоже мне. Я в этом не уверена. Впрочем, всё это не вызывает у меня даже раздражения. Только улыбку. Но стихотворение «Дочери» я храню в душе как его завещание.

20

Мы с мамой вернулись с Селигера в Москву только в сентябре.

Город показался мне хмурым и неуютным. Уже ввели затемнение, и с наступлением темноты окна занавешивались синими бумажными шторами. Почти каждую ночь Москву бомбили. В нашем доме, да и поблизости, бомбоубежища не было, и мы с мамой брали заранее приготовленный узел с подушкой, моим одеялом, еще какими-то вещами и спешили к метро «Красные ворота». Путь был неблизкий, приходили мы обычно последними, и места нам доставались где-нибудь в уголке. Раскладушки, стоявшие даже на путях, были заняты. Мы усаживались на наш узел, мама вздыхала: «В тесноте, да не в обиде», я клала голову ей на колени и засыпала.

Когда давали отбой тревоги, все поднимались с мест, подолгу толпились у выхода, вываливались на темную, холодную улицу, брели домой.

Иногда мы ночевали у маминых сестер в Столешниковом. Там поблизости был подвал, служивший бомбоубежищем. Однажды, когда мы только что вернулись после отбоя и укладывались досыпать, по радио вновь прозвучало: «Граждане, воздушная тревога!» Мама опустилась на стул и устало сказала: «Никуда не пойду. Будь что будет».

Я лежала в теплой кровати и не могла заснуть. Было страшно, но интересно. Свет погашен, шторы подняты, я видела шарящие

лучи прожекторов, слышала взрывы – казалось, неподалёку.

У меня до сих пор хранится осколок бомбы, доставшийся от тети Эммы. Не знаю, где она подобрала. Ни в их дом, ни поблизости бомбы не падали. Этот осколок лежит в ящике моего письменного стола. Я не люблю брать его в руки, но и выбросить не могу.

А потом немцы вплотную подошли к Москве, началась всеобщая эвакуация и паника. В учреждениях жгли документы, всюду летали клочья полуобгоревших бумаг. Улицы были заполнены людьми, которые везли за собой санки, визгливо скрипевшие по бесснежной мостовой, толкали тележки с домашним скарбом.

16 октября уехал в эвакуацию папа с сестрой Татьяной, домработницей Полей и парализованной матерью, только что перенесшей очередной инсульт. На их эвакуации настоял Фадеев, он же прислал машину «Скорой помощи», на которой Ольгу Михайловну доставили к поезду, увозившему из Москвы многих писателей.

Мама отца провожала. Не помню, была ли я на вокзале. Вообще, отец в это время совсем не запечатлелся в моей памяти. Знаю, что он работал на радио.

А через пару дней, кажется, 18 октября, отправились и мы. Туристское управление, где работала мама, распустили. Но эвакуация была плановой. Кто-то помог маме устроиться санитаркой в госпиталь, отправлявшийся в Среднюю Азию. Мы засветло пришли или приехали на вокзал и весь день ждали эшелона. Сидели на платформе, на вещах. Было холодно, временами моросил дождь. Мама прижимала меня к себе или заставляла прохаживаться, чтобы я не замерзла, и развлекала рассказами из всемирной истории. Помню, больше всех исторических личностей мне понравился Александр Македонский – может, благодаря звучному имени.

Эшелон в тот день так и не пришел. Ночевали мы в Столешниковом. Утром – снова на вокзал. На этот раз всё было в порядке. Людей загрузили в теплушки, и поезд тронулся. Нам достались места на верхних нарах, недалеко от окна, и я почти всю дорогу глядела на проносившиеся мимо поля, леса, станции.

Несколько раз попадали под бомбежку. Тогда поезд останавливался, а мы, подхватив самое необходимое или что попало под руку, бежали в придорожные кусты или в чистое поле, подальше от поезда. Порой эшелон долго стоял – ждали, когда очистят пути от разбомбленного впереди поезда. Мимо проносили на носилках раненых и убитых. Было очень страшно. Потом трогались и ехали по восстановленным путям, а вдоль

насыпи валялись остатки сгоревших вагонов и брошенные вещи.

Как мы питались, что ели – не помню. Посреди вагона стояла «буржуйка», топившаяся всё время для тепла, – на ней, видимо, разогревали какую-то еду. На больших станциях все хватали чайники и кастрюли и бежали за кипятком. Выстраивалась длинная очередь, возбужденные люди постоянно оглядывались – никто не знал, когда именно отправится эшелон. Я ждала маму в поезде.

Самое страшное воспоминание из тех дней: поезд трогается, а мамы нет. Эшелон набирает ход. Я жду – может, она села в другой вагон и сейчас появится. Но ее нет. Я всю ночь простояла около дверей теплушки, одна в спящем вагоне, одна в мире. Боялась к кому-нибудь обратиться. Мы были чужими в этом эшелоне, и мне казалось, меня могут ссадить на ближайшей станции. Ужаса, который я тогда испытала, не забыть никогда.

Утром мама догнала поезд. Уж не знаю, чего ей это стоило и как удалось. Она была измученная, осунувшаяся, грязная – может, ехала на паровозе? Чайник где-то потерялся. Я с рёвом кинулась к ней, а она на меня закричала. Видимо, сдали нервы.

21

Как-то внезапно кончилось затемнение и пустое безмолвие за окном, открылись огни, пошли освещенные станции и повеяло жизнью, жильем. И лица у людей стали спокойнее. Невеселые лица, но не перекошенные постоянной тревогой. Всё равно мы часами, а то и днями стояли на станциях, пропуская спешащие на запад эшелоны с солдатами и военной техникой. Люди толпились у репродукторов, ловя сводки, а они были очень невеселыми, но все-таки фронт остался позади – и взрывы, и бомбежки, и воздушные тревоги. Стало заметно теплее.

Конечным пунктом была станция Куропаткино, в 300 километрах от Ташкента. Сколько я потом, бывая в Узбекистане, ни спрашивала у знакомых, никто о таком городе не знал и не помнил. Видимо, он сменил название, а может, вообще исчез с лица земли.

Облик городка в памяти моей не сохранился. Помню только жалкие домишки, грязь на узких улочках. Самым высоким зданием, по-моему, была школа, где мы жили в первые дни после прибытия, спали вповалку на голом полу.

Потом нас с мамой определили на постой к какому-то украинскому мужику, не то ссыльному, не то переселенцу. Мы поселились в отделенном занавеской углу за печкой, где

помещалась только кровать.

Мужик был, видимо, зажиточный. Свое хозяйство – корова, свиньи и куры. Мучительно было сидеть или лежать за занавеской и слышать вкусный запах щей или сала, которое семейство поглощало, как мне казалось, в огромном количестве. Нас не угощали и вообще не замечали. Только один раз, когда они что-то праздновали, подвыпивший хозяин отодвинул занавеску и поднес маме стопку самогона, а мне кусок кровяной колбасы. Незадолго до праздника они закололи свинью. Я впервые видела, как это делается, и рыдала потом ночью в подушку. Поэтому колбасу было страшно есть, но голод преодолел брезгливость. Колбаса оказалась очень вкусной.

Мы питались в столовой при госпитале. Кормили скудно. Пустые щи, в которых плавало несколько листьев капусты, каша, едва покрывавшая дно тарелки. Мы доедали всё до конца и еще тщательно подбирали мельчайшие остатки специально припасенным кусочком хлеба. Но за нашими спинами стояли люди, которые, как только мы отставляли тарелку, хватали ее и начинали вылизывать.

Городок этот, как мне помнится, был последним, куда пускали без пропусков, и там оседало множество людей, потерявшихся, отставших, никому не нужных. Вскоре пришла зима, и выпал снег, нечастый гость в этих краях. Помню, как в школу, которую теперь ремонтировали и переделывали под госпиталь и где мама трудилась чернорабочей, забрел босой мальчик и попросил разрешения хоть немного погреться. Женщины, а их было большинство на стройке, пустили его, и он тихо присел в углу, стараясь быть как можно более незаметным. Женщины поглядывали на него и вздыхали – поделиться им было нечем.

Но вскоре пришел комендант и прогнал – нельзя, военный объект. Мальчик покорно встал, вышел и побрел босыми красными ногами по снегу неизвестно куда. Все, в том числе и комендант, долго смотрели ему вслед. Мама заплакала, но тут же принялась за работу – таскать кирпичи.

Постепенно хозяева привыкли к нам и даже, видимо, зауважали маму, потому что иногда сквозь сон я слышала: «Арина, выдь на минутку». Мама одевалась, выходила за занавеску, и они о чем-то тихо разговаривали. С этого же времени они стали продавать нам раз в два дня кружку парного молока. Уж не знаю, на какие деньги. Вероятно, мама получала зарплату в госпитале.

В мамином архиве есть несколько телеграмм военного времени и письмо от папы из Ташкента. В телеграммах он

спрашивал о здоровье, беспокоился, что она не пишет. В письме жаловался на жизнь, на дороговизну, на болезнь матери и собственные недуги.

Я прочитала это письмо уже взрослым человеком, и оно меня разозлило. Я знала, что по сравнению с нами они в эвакуации жили вполне благополучно. Но когда Наталья Громова разобрала архив отца и я вместе с ней прочла написанные в те годы первые варианты поэмы «Середина века», неровные, но искренние и горестные, а также письмо отца Фадееву и письма Татьяны Луговской к Леониду Малюгину, я поняла, как тяжко и страшно он тогда жил. Поняла и не то чтобы простила – что мне его прощать спустя столько лет, – а приняла в своё сердце, обремененное собственным опытом жизни.

22

Расскажу, с чего всё началось с его архивом.

Папа умер, когда мне было 23 года. После его смерти я, не сразу, правда, очень сблизилась с Татьяной Александровной, его младшей сестрой и другом. У них с Сергеем Александровичем Ермолинским был открытый дом, где бывали многие замечательные люди. В том числе Леонид Антонович Малюгин, драматург, известный театральный деятель.

Я довольно быстро поняла, что их с Татьяной Александровной связывает не дружба, а нечто большее – давние и нелегкие отношения. Я не вникала и ее не расспрашивала. Уловила только, что Малюгин много лет был влюблен в Татьяну Александровну, а она относилась к нему как к другу, близкому человеку, но не более того.

Однажды рассказала мне, что вскоре после войны они всерьез поссорились, и Татьяна Александровна потребовала вернуть свои письма, которые посылала в Ленинград, где он тогда жил и работал завлитом БДТ.

После войны Малюгин перебрался в Москву. Его пьесу «Старые друзья» ставили все театры страны. Он стал знаменитым и почитаемым. Вот тогда они и поссорились. Почему, не знаю. Инициатива исходила от Татьяны Александровны.

Малюгин долго тянул с возвращением писем, она сердилась и требовала. Наконец, вернул. По ее словам, она их уничтожила.

В конце 40-х Малюгин попал в число космополитов. На него обрушился гнев идеологического начальства. Фильм по его сценарию «Поезд идет на восток», снятый Ю. Райзманом, милый, легкий, клеймили за безыдейность газеты и журналы. Вот тогда

Татьяна Александровна ему позвонила, чтобы восстановить дружбу.

Их дружба продолжалась до кончины Малюгина. Я встречала в доме Ермолинских 1968 год. Вдруг появился Малюгин, сбежавший из больницы. Он был неизлечимо болен, очень изменился. Спокойно объяснил, что дни его сочтены и он хочет этот последний Новый год встретить в кругу близких друзей. 20 января он умер.

А вскоре позвонила одна из его сестер (он так и не женился и в Москве жил вместе с сестрами) и сообщила, что нашла в бумагах брата машинописные копии всех писем. Так они во второй раз вернулись к Татьяне Александровне.

Прошло много лет. Татьяна Александровна жила уже одна. Я пришла к ней и застала в комнате необычный беспорядок: весь пол был усеян обрывками бумаги, на столике возле кровати громоздились еще не разобранные листы с машинописным текстом.

– Что это вы делаете? – с удивлением спросила я.

– Уничтожаю свои письма к Малюгину.

– Не надо, – взмолилась я, – это же ваша жизнь.

Она надменно взглянула на меня.

– Именно поэтому. Я не хочу, чтобы после моей смерти кто-то копался в моей жизни.

Я знала – ее не переспоришь и не переубедишь.

Но оказалось, она лукавила, или, быть может, мой искренний ужас и мольба все-таки подействовали. Когда я переселилась в ее квартиру и спустя некоторое время начала разбирать вещи и бумаги, то наткнулась (в самом неподходящем месте – шкафчике в кабинете Сергея Александровича, где хранились рюмки, графины и запасы спиртного) на свернутую в рулон рукопись, перевязанную кокетливой ленточкой. Я развязала, и на стол посыпались исписанные листы и множество отдельных фрагментов. Это и были письма к Малюгину, «отредактированные» Татьяной Александровной. Она просто вырезала из них всё, что ей почему-либо не нравилось.

Многие отрывки были не только без дат, но и без начала и конца, текст начинался иногда с полуслова. И всё же это был поразительный документ, история без малого десяти лет жизни близкого мне человека – быт, раздумья, впечатления. В одном письме мне встретилось описание ее поездки на Первую Мещанскую, о которой я уже упоминала.

Я перепечатывала эти письма несколько месяцев, сопоставляя факты, фразы, упоминания, чтобы найти нужный порядок и последовательность. Правда, несколько кусочков так и не удалось

сложить, и я их напечатала отдельно в конце.

Я не могла бы тогда сказать, зачем это делаю.

Получившееся я дала прочесть Наталье Громовой, которая тоже хорошо знала Татьяну Александровну. Она прочла и была так же взволнована, как я. Мы стали вместе разбирать остальные бумаги Татьяны Александровны и нашли множество тетрадей и отдельных листов с записями. Она не вела дневников, просто иногда записывала впечатления, воспоминания, мысли.

Некоторые тетради были исписаны до середины, потом шли чистые страницы, а в конце опять какой-нибудь текст. Другие начаты и брошены. У меня до сих пор остались в компьютере файлы, озаглавленные «серая тетрадь», «коричневая», «тетрадь без переплета».

А еще были записи, которые потихоньку вела все эти годы я сама, хватая на лету ее рассказы, пытаясь сохранить стиль и лексику. Особенно много записывала я за ней на Волге, когда мы плыли на пароходе. Вечера были длинные и темные, дело шло к осени. Мы сидели за столиком в их двухкомнатной каюте. Сергей Александрович обычно читал или раскладывал пасьянс. Татьяна Александровна вязала и рассказывала, а я впитывала и запоминала. А потом шла к себе в каюту и по свежим следам заносила на бумагу.

Из всего этого к началу нового века составилась книга. Называлась она «Как знаю, как помню, как умею» и начиналась повестью Татьяны Александровны «Я помню», а продолжалась письмами к Малюгину, письмами Елены Сергеевны Булгаковой, воспоминаниями друзей.

И вот тогда родилась мысль о разборе огромного, беспорядочного архива Луговского, который хранился в его квартире в Лаврушинском переулке, перешедшей к моей сестре Маше Седовой.

23

Госпиталь отправлялся на фронт. Мама лишилась работы, и мы оказались в отчаянном положении.

И тут на помощь пришел папа. Сначала, как я понимаю, мама попросила его приютить нас на некоторое время и помочь остаться в Ташкенте. Он ответил телеграммой и длинным письмом. Привожу его не полностью.

«Дорогая Ирина!
Получил твое письмо и сначала пришел в отчаяние.

Приютить тебя с Милочкой я не мог, разлучить тебя с дочкой тем более. Мама находится в совершенно ужасном состоянии после третьего удара.

Она уже не владеет разумом, медленно умирает, кричит и плачет по целым часам подряд, и это страшно нам, видавшим виды, а не только ребенку. Калечить детей нельзя. Сиделка наша, верная Поля, ни на шаг не отходит от мамы. Татьяна работает с утра до вечера, и присмотреть за Милой было бы абсолютно некому…

Поэтому я предпринял большие поиски и пошел на всё, чтобы добыть для тебя работу. Но в Ташкенте без пайка жить невозможно, не говоря уж о прописке… В глуши вы были бы совсем оторваны от всего и от меня. Выход я нашёл, когда обратился к отзывчивым и благородным людям – пограничникам, с которыми я связан издавна по Средней Азии. Работаю сейчас для них над Историей Пограничных войск Ср. Азии, и в особенности Таджикистана. Они захотели сделать всё возможное. Вот предложение: Сталинабад – библиотекарем в погранвойсках. Обеспечивается КОМНАТА, 550 рб. жалования, ПАЁК, столовая, литер и билет до Сталинабада. Нужно НЕМЕДЛЕННО ВЫСЛАТЬ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, особенно упирая на культпросветработу, образование, службу…

Отвечай скорее. Через два часа. Целую тебя и Милу.

Твой В.»

Так мы оказались в Сталинабаде.

Это было счастье.

Погранотряд находился за городом. На берегу бурной, но мелководной речки стояли несколько зданий и казарма. Маму зачислили политработником, присвоили звание младшего лейтенанта. Она надела военную форму. У нас была отдельная комната, военный паёк, и мы уже не голодали. Роскошества, конечно, не было. Помню, что самой вкусной едой мне казалась своего рода тюря – черный хлеб с луком, политый хлопковым маслом.

Стояло жаркое южное лето, и мы с ребятами, которых оказалось немало в отряде и окрестных кишлаках, проводили весь день на реке. Трудолюбиво перегораживали ее камнями, устраивая запруду, чтобы плескаться в холодной воде, а потом отогревались на солнце. Было очень весело и интересно. Ко мне вернулись детство и беззаботность, казалось, навсегда утраченные.

От папы приходили короткие телеграммы:

Ташкента Сталинабад Почтовый ящик 74 Голубкиной. Умерла мама буду Сталинабаде двадцатых числах целую Володя.

Бабушка Ольга Михайловна умерла 7 апреля 1942 г. в возрасте 66 лет. Похоронили ее на местном кладбище. В семидесятые, оказавшись в Ташкенте в командировке, я тщетно пыталась найти могилу. Оказалось, даже самого кладбища нет, на его месте построили новый квартал.

Однажды в молодые годы Татьяна Александровна отдыхала в каком-то санатории. В столовой она сидела за столом с несколькими немолодыми людьми и стеснялась, не решаясь вступить в общий разговор. Только однажды, преодолев себя, сказала соседке по столу, что у той очень красивое кольцо, и попросила дать посмотреть. После обеда Татьяна Александровна гуляла по парку. Ее нагнал и окликнул пожилой молчаливый профессор, тоже сосед по столику. Он сказал, что увлекается хиромантией и потому обратил внимание на необычный рисунок ее ладони, когда она брала кольцо. Он попросил разрешения посмотреть ладонь, долго изучал линии, а потом сказал: «Один из ваших родителей уже умер». Это ее поразило – дедушка Александр Федорович скончался в 1925-м, с тех пор прошло несколько лет. А хиромант продолжал: «Второй ваш родитель умрет далеко от Москвы, и могила его исчезнет». Она недоверчиво улыбнулась – ее мать Ольга Михайловна очень не любила путешествовать и никогда не покидала пределов Московской области. Странным образом предсказание сбылось. Татьяна Александровна вспомнила и рассказала мне о нем, когда я вернулась из командировки в Ташкент.

Вот еще одна папина телеграмма:

Почему нет вестей беспокоюсь шюле буду окончательно Сталинабаде завершения работы целую тебя дочку Володя.

В Сталинабад он так и не приехал, хотя мы его очень ждали, особенно я.

Но зато в конце июля мы оказались в Ташкенте.

24

Маму послали туда на курсы повышения квалификации.

Находиться ей полагалось в казарме, оставить меня одну она не могла, поэтому мама списалась с папой, и, когда мы прибыли в Ташкент, я оказалась на улице Жуковского, 54. Там жили эвакуированные писатели. Под этим номером значились несколько домиков, находившихся в общем дворе. Насколько я помню, в то время там жили Вирта, Уткин, Погодин.

Папа с Татьяной Александровной и домработницей Полей занимали две комнаты на первом этаже, а на втором, в мезонине, или, как там говорили, балахане, жила Елена Сергеевна Булгакова с сыном. После ее отъезда летом 1943-го в балахане поселилась Анна Андреевна Ахматова. Но к тому времени мы с мамой тоже уехали.

Мало что сохранилось в моей памяти от поездки, о которой я так мечтала. Залитый солнцем дворик, писательские дети, с которыми я играла, папа, который не знает, как со мной общаться, ласкает меня, а я дичусь. Проще всего было с Полей. Я на всю жизнь сохранила к ней благодарность и теплое чувство. Я бы, наверное, даже не вспомнила, когда именно мы были в Ташкенте, если бы не письмо Елены Сергеевны Татьяне Александровне, находившейся в то время в Алма-Ате. «Сегодня приехала Ирина Соломоновна с Милочкой. Недели на полторы-две. Милочка сейчас сидит у меня и читает Гулливера». Письмо помечено датой 23.7.42 г.

Елену Сергеевну я запомнила. Она была очень ласкова со мной, без фальши и натянутости, которые дети всегда чувствуют. После войны мы с мамой однажды встретили ее у Никитских ворот. Она искренне обрадовалась, охала и ахала по поводу того, как я выросла, и я по своему обыкновению не шарахнулась от нее, как от других, а отвечала на вопросы об учебе и о том, что читаю. С ней было легко и приятно разговаривать.

Татьяна Александровна вернулась из Алма-Аты к концу моего пребывания в Ташкенте. Видимо, отношения у нас не очень сложились: помню, что чувствовала себя при ней неловко, а она мне не раз говорила потом, что я была довольно противной и капризной девчонкой. Могла ли я быть капризной, если всех побаивалась и чувствовала себя лишней и чужой в этом доме?

Помню, что с радостью вернулась в Сталинабад, в знакомую обстановку, в свою комнату.

25

А вскоре маму перевели в город Термез. Там жизнь оказалась скудной и безрадостной. Нас поселили в комнате бывшего клуба

или Дома офицеров. Вероятно, до войны в ней занимался кружок рукоделия. Стены были увешаны вышивками и какими-то маленькими юбочками и кофточками, словно сшитыми на кукол. Комната была мало приспособлена для жилья. Зимой очень холодно. Мама готовила еду на керосинке, стоявшей на подоконнике. Там же мы ели – стола в комнате не было. На этом же подоконнике я готовила уроки, потому что, наконец, пошла в школу.

Я должна была начать учиться в сентябре 41-го, но помешала война. В Сталинабад мы приехали к концу учебного года, да и школа там была далеко. И только в Термезе в свои почти полные девять лет я пошла в первый класс. Делать мне там было абсолютно нечего. Я уже свободно читала взрослые книги, писала, считала, и только уроки чистописания были трудным испытанием, тем более что никаких тетрадей в косую линеечку, да и вообще тетрадей, не было. Писали в старых амбарных книгах, на листочках, иногда просто на клочках. У меня на всю жизнь остался не ахти какой почерк.

Но скоро обучение закончилось – я заболела. Обнаружили брюшной тиф и забрали в больницу. Болела я очень тяжело. Температура 42. Пролежала месяц. Мама говорила, был момент, когда она думала, что теряет меня. До самой выписки она все вечера проводила в этом чумном бараке, где каждый день умирали десятки людей. Когда я думаю об этом, мне хочется встать на колени перед ее памятью. Одна, в чужом городе, в суровых условиях воинской службы… Как мы слабы и малодушны по сравнению с нашими родителями, которым пришлось столько вынести и которые не сломались и никогда не размахивали своим крестом, не требовали награды и признания. Как-то, много лет спустя, мы заговорили с ней об этом, и я попыталась выразить ей свое восхищение. Мама отмахнулась: «Все так жили».

Поэтому мне так грустно бывает читать и слышать пренебрежительные рассуждения о людях того времени – допустили, молчали, покорялись, приспосабливались. Конечно, в этом есть своя горькая правда. Были страшные времена, и страшные ситуации, и страшные люди и поступки. Но в обобщениях есть и великая неправда. Не надо судить о прошлом высокомерно, подчеркивая, что мы тут ни при чём. Кто знает, что ждет нас впереди и какими окажутся люди, которые легко и развязно отказываются от своего родства с теми, кто жил при крепостном праве, по ту или другую сторону, кто участвовал в погромах или был жертвой погромов и раскулачивания деревни, и страшных процессов тридцатых годов, и космополитизма. Бедная моя страна, бесконечно любимая и бесконечно

презираемая мною. Это страшно звучит, но это так. Наверное, даже людоедские племена не так провинились перед Богом и естеством, как мы, до сих пор в глубине души именующие себя великой страной. Господи, опять меня занесло в пафос и философию. Я для этого не гожусь. Но и не могу об этом не думать.

…Папа слал встревоженные телеграммы, связывался с врачами и военным начальством, но не приезжал.

В это трудное время объявился в Термезе мамин старый знакомый по фамилии Виноградов, бывший муж ее подруги Анны Гордеевны Кармановой. Он был интендантом и помогал маме продуктами, необходимыми мне, истощенной болезнью. Он же достал машину, чтобы привезти меня из больницы домой. Мама была бесконечно признательна. Потом Виноградов исчез из нашей жизни и объявился только в Москве, когда вернулись из эвакуации: демобилизованный, растерянный, говорливый, он был мне почему-то неприятен. Может, потому что пытался ухаживать за мамой, хотя и безуспешно. Закончилось очень быстро. Мама отдала ему свои форменные сапоги, на продажу. Кажется, он сам предложил помощь, уверяя, что сможет выгодно продать их, а мы тогда очень нуждались. Он забрал сапоги и пропал – уже навсегда.

Я после болезни от слабости не могла ходить. И всё время хотела есть. Помню ясно: мамы нет дома, я скатываюсь с кровати и ползу к окну, цепляюсь за подоконник, поднимаюсь, открываю оконную раму и лезу руками в кастрюлю с холодным супом, вылавливаю куски мяса и жадно ем. Отлично понимаю, что это стыдно, но ничего не могу с собой поделать. Кажется, это продолжалось не очень долго. Я отъелась, окрепла, потихоньку начала ходить. Видимо, стала опять учиться в школе. Сужу об этом по папиной телеграмме:

Ташкента Термез почтовый ящик восемь Голубкиной Милочке. Вернулся Алма-Ата получил твоё письмо очень благодарю напиши как здоровье учёба целую папа.

26

Весной маму опять перевели. На этот раз далеко – на самую границу с Афганистаном, в маленький городок Шурабад, где находилась погранкомендатура.

Добирались мы долго. Сначала доехали до Сталинабада. Потом самолетом до Куляба. Самолет был маленький – летчик и

два пассажира, то есть я и мама. Кабина открытая. От первого в жизни полета я пришла в немыслимое возбуждение – что-то выкрикивала, пела. Мама помалкивала. По-моему, боялась. Мне же не было страшно совсем. Один раз поймала в зеркале взгляд пилота через его огромные очки под шлемом. Он усмехался.

Мы летели низко, я видела даже только-только завязавшиеся арбузы на бахче, пасущихся овец, которые разбегались, заслышав гул самолета, чабанов, провожавших нас глазами. Я пыталась махать им. Они не отвечали. Летчик через переговорное устройство сказал: «Они этого не понимают. У них не принято».

В этом полете я впервые осознала и почувствовала, как велик и разнообразен мир, и запомнила это на всю жизнь.

Стояла весна 1943 года. Мне было девять лет.

Потом показались горы. Неохватные, с белыми вершинами. Я притихла, потрясённая. Мне стало страшно, что мы врежемся в них и пропадем среди этого безмолвного величия. Но самолетик благополучно приземлился на маленьком военном аэродроме.

В Кулябе прожили несколько дней, ожидая оказии. Потом за нами приехали два пограничника, ведя в поводу оседланных лошадей. До Шурабада было около тридцати километров. В долинах потеплело, а горные дороги еще покрывал раскисший снег, и добраться было можно только верхом. Пограничник подсадил меня на лошадь. Я села в седло и почувствовала себя спокойно и удобно, как будто всю жизнь ездила только так. Сразу пустила лошадь рысью, но мама осадила меня – дорога предстояла долгая и нелегкая. Сама она привыкла к лошадям еще на Кавказе. Но я всё равно гарцевала и веселилась, а пограничники похваливали меня. Конечно, мама оказалась права – к концу пути я скисла, стала засыпать и валиться с седла. Маме пришлось, взяв узду моей лошади и обняв меня, поддерживать на весу.

Приехали поздно вечером, в полной темноте. Ночевать нас оставили в клубе, где как раз кончился просмотр фильма.

Так начался последний, самый длительный и стабильный период нашей жизни в эвакуации.

Где-то шла жестокая война, а у нас было спокойно и тихо. Изредка с застав приводили афганских дехкан, случайно забредших через границу в поисках пропавшей овцы или коровы, а то и просто навещавших родственников. Никто из них не признавал границы, которая пролегала по бурной, но мелководной реке Пяндж, – спокойно топали по вспаханной полосе отчуждения. Дехкан допрашивали и, как правило, отпускали.

Правда, помню, как во время просмотра фильма – просмотры

бывали по субботам, фильмы часто повторялись, но всё равно собирали почти всех обитателей комендатуры – в зал влетел дежурный офицер и скомандовал: «В ружьё!» Сразу загрохотали стулья, и зал почти опустел. Потом оказалось, что из камеры, обыкновенно пустовавшей и время от времени служившей гауптвахтой, сбежал доставленный днем нарушитель границы. Он почему-то показался подозрительным и был задержан до утра для дальнейших допросов и выяснения личности, что было весьма сложно, потому что документов у дехкан вообще не имелось. Кажется, его так и не поймали, и по комендатуре пополз шепот – шпион! Уж не знаю, так ли на самом деле, но нам нравилось думать, что шпион.

Комендатура находилась километрах в трех от Шурабада. Она была обнесена глиняным забором – дувалом, местами сильно обвалившимся. Внутри – казарма, столовая для солдат, здание штаба, клуб и длинный одноэтажный дом для семей офицеров, выстроенный в виде небольшой буквы п. В крыльях размещались квартиры начальника комендатуры и его помощников. Еще был медпункт, конюшни, питомник для собак, плац и спортивная площадка с турником, брусьями, всякими другими приспособлениями. За столовой находился движок, дававший свет всему поселению. В клубе кинозал, библиотека – мамино царство, красный уголок, где проходили политзанятия и комсомольские собрания, и радиорубка. Отсюда часто вещала мама, передавая местные новости, объявления и приказы, адресованные жителям. Иногда она проводила просветительские беседы, чаще всего связанные с памятными датами. Я очень этим гордилась. Но именно тогда впервые заметила, что мама не выговаривает букву л в середине слов. Каждая передача заканчивалась: «Передавала (или беседовала) политработник Гоубкина». Это меня очень забавляло, и я ее поддразнивала. Мама только усмехалась.

Нам дали маленькую комнату в одном из подъездов, или, вернее, отсеков дома для семей комсостава. В комнате едва помещались солдатская кровать и стол. Я спала на полу, на матрасе, который на день сворачивали и засовывали в угол.

Готовили в коридорчике на столе, стоявшем около окна. У каждой семьи была своя керосинка. Примус считался роскошью, потому что давал более сильное пламя и не так коптил. Правда, его нужно было периодически подкачивать специальным приспособлением, встроенным в нижнюю часть, куда заливалось топливо. У нас он одно время был – кто-то одолжил ненадолго. Я с ним не управлялась.

В коридорчик выходили четыре двери, за каждой жила семья.

Напротив нас оказались довольно противные люди – мать и трое детей. Отец появлялся изредка, он был командиром заставы и жил на самой границе. Детей звали не как-нибудь, а Гений (по-дворовому Генка) и Светоч (Светка). Третьего не помню, но тоже что-то в этом роде. Он был маленький и нас не интересовал. Генка был прыщавый и почему-то всегда сопливый. Светка отличалась удивительной вредностью – то ущипнет исподтишка, то ножку подставит, и очень любила говорить гадости за спиной. У них в комнате шел не прекращавшийся скандал, стихавший ненадолго с приездом отца.

Летом вся жизнь протекала во дворе. Здесь готовили на печках, сделанных из вёдер, обмазанных внутри густым слоем глины так, что оставалось только неширокое круглое отверстие, идущее до самого дна. Внизу была прорезана дырка для топлива. Топили кизяком – сухими коровьими лепешками, собирать которые входило в обязанности детей. Бредёшь обычно по высохшему суходолу с мешком и подбираешь. Иногда вляпываешься: с виду лепешка сухая, а возьмёшь за край – там жижа. Потом долго вытираешь руки о быльё, морщась от отвращения.

Вечерами во дворе ставились столы, выносили стулья. Мужчины азартно играли в домино или шашки. Женщины вязали – всё больше кружевные салфетки, без которых не обходился ни один приличный дом, штопали или вышивали и сплетничали. Мы, дети, с криками носились по двору, играя в позабытые ныне игры – казаки-разбойники, салочки, прятки. Мальчишки сражались в пристеночек, камешки. Девочки прыгали в «классики» или через веревочки-скакалки. Никто нас не одергивал, только иногда шикали, когда уж очень расшумимся. Впрочем, зачастую наши игры переносились на спортивную площадку, которая по вечерам бывала свободна, – лазали по веревке, кувыркались на брусьях и турнике, прыгали через «коня». Особым шиком считалось залезть на высокую перекладину – метра три от земли – и ходить по ней, раскинув руки. Я один раз потеряла равновесие и загремела вниз, но упала удачно – на кучу песка.

Были вечера, когда по просьбе друзей я пересказывала прочитанные книги. Вокруг собирались ребята, зачастую подтягивались взрослые и слушали, притихшие.

27

Мама держалась особняком, но никто не обижался. Она была

приветлива со всеми и всегда готова помочь. Ее уважали – культурная. Даже сам начальник комендатуры иногда заходил к ней в библиотеку, поговорить. Она допоздна засиживалась в библиотеке, когда не нужно было заниматься домашним хозяйством – готовкой, стиркой и бесконечной штопкой и починкой: на мне всё горело, а купить детские вещи было невозможно.

Помню великую радость, когда из Москвы от тети Эммы пришла посылка с моими довоенными одежками, среди которых оказалось красное шерстяное платье с вышивкой, сшитое накануне нашего отъезда на Селигер, почти новое. Оно казалось мне немыслимо красивым, из другой жизни, о которой я читала в книгах. Сохранилась фотография – мама в гимнастерке и берете, а рядом я в этом платье и пилотке. Сейчас и платье, и я сама на этом фото кажутся мне довольно некрасивыми – странная, вытянувшаяся девочка с никаким лицом.

Конечно, платье оказалось маловато. Кое-как надставили кусками другой ткани – на это никто тогда не обращал внимания. Ребята завидовали. Женщины приходили и просили показать платье, которое я по будням не надевала, щупали материю и вздыхали – вещь.

С обувью было совсем плохо – ее не надставишь. Сандалии, присланные в посылке, мама подарила знакомым, у кого росли дети поменьше. Благодарности и восхищению не было конца – подарила, не продала!

Всё лето мы бегали босиком, подошвы задубливались до твердости подметок. Зимой выдавали со склада валенки самого маленького размера. Мы проваливались в них чуть не до подмышек. Выдавали еще и полушубки, которые мели снег за нами, оставляя дорожки.

Зимой возили в школу в Шурабад на санях. Снег лежал такой глубокий, что нам, детям, да еще в нашем «обмундировании», пройти было невозможно. Мы укладывались, прижимались друг к другу и мгновенно засыпали.

Один раз я выпала на ходу из саней. Никто не заметил, а я, очнувшись, не сумела даже встать, так тяжело было всё надетое на мне. Могла так и замерзнуть в сугробе, потому что наш возница-солдат дожидался обычно конца уроков, чтобы отвезти нас обратно, вероятно, с пользой для себя используя свободное от казармы время. Но, к счастью, он скоро спохватился и вернулся за мной.

Что же касается весны и осени, тут положение с обувью было вообще безнадежным.

К концу лета мы с мамой решились на крайность –

отправились пешком на базар в Куляб покупать мне сапоги. Тридцать километров туда, тридцать обратно. Правда, в Кулябе нам немыслимо повезло – мама встретила знакомого интенданта, который приехал на базар делать закупки, и возвращались мы, развалившись на мешках с продуктами.

Дорогу туда я помню до сих пор. Вышли засветло. Вначале идти было легко – всё вниз и вниз по красивой горной дороге. Отправились мы не одни, а с целой группой женщин из комендатуры и Шурабада. Но детей, кроме меня, не было. Шли, разговаривали, закусывали кто чем мог. Начинался базарный день, и дорога была довольно оживленной. Нас обгоняли таджики на лошадях и ишаках с поклажей, а то и пешком с ручными тележками. К вечеру я устала и сникла. Мы еле добрели до какого-то кишлака и попросились на ночлег в незнакомый дом. Остальные отправились дальше, а нас хозяева устроили на веранде – вынесли кошму, и я провалилась в сон.

Утром на рассвете мы продолжили путь уже одни, без спутников.

Южный базар потряс меня изобилием, красочностью, многолюдством, какой-то праздничностью даже в эти трудные дни. Горы фруктов, дынь, арбузов.

Один старик торговал разрезанным арбузом. Мама, заметив мой взгляд, спросила, сколько стоит, покопалась в сумочке, но купить не решилась. Мы уже отходили, когда старик окликнул нас и протянул мне ломоть, знаками показав, что денег не нужно. Я радостно впилась в сочную мякоть. Мама поблагодарила и отвернулась, как мне показалось, чтобы скрыть слёзы. А старик погладил меня по голове.

Сапоги мы купили немного на вырост, и я долго расхаживала в них, до самого возвращения в Москву, а может, и в Москве.

28

Школа находилась на окраине городка – маленькое одноэтажное здание с единственной классной комнатой, которая отапливалась печкой, выходившей топкой в коридор. К печке был приставлен истопник, он же сторож дядя Коля – инвалид, по-моему, еще Первой мировой. Учительница жила здесь же. У нее были собственные маленькие дети, которые время от времени врывались в класс. Она их прогоняла или усаживала на заднюю парту – рисовать, рассматривать картинки в букваре.

Школа была четырехлетняя. Учились в две смены: первый и третий классы, второй и четвертый. Учительница давала задание

одному классу и переходила к следующему ряду опрашивать. Потом наоборот. В основном дети комендатурские, в Шурабаде русских семей почти не было. Впрочем, у нас учились и несколько таджиков. Может, родители хотели, чтобы они знали русский, а может, просто им было ближе ходить в эту школу.

Мне по-прежнему нечего было делать на уроках, и я дико скучала. Иногда учительница оставляла меня за старшую, давала книгу читать вслух, а сама отлучалась ненадолго. Иногда, махнув рукой, отпускала меня пораньше.

Тогда я дожидалась конца уроков, чтобы не пугать маму ранним возвращением. Бродила по поселку или просила у какого-нибудь таджика лошадь и нарезала круги вокруг школы.

Однажды во время такой прогулки я напоролась на маму. Она шла по улице, на которой было почтовое отделение, держала в руках листок бумаги и горько плакала, а вокруг нее толпились таджички, цокали языками, гладили по плечу, сочувственно вздыхали.

Я бросилась к ней: «Что случилось?» Она обняла меня, прижала к себе и сквозь слёзы тихо сказала: «Лёльку убили». Лёлька, Лев Селезнев, был ее любимым племянником, единственным сыном тети Эммы, в восемнадцать неполных лет ушедшим добровольцем на фронт. Он погиб 15 марта 1944 года под Псковом.

Я шла рядом с мамой, она всё теснее прижимала меня к себе. Я втайне гордилась вниманием и сочувствием, которые оказывали нам встречные, но больше ничего не испытывала, хотя до войны очень любила Лёльку, который был старше меня на девять лет. Дни рождения у нас были рядом: у него 12, а у меня 13 декабря, и в семье их почти всегда отмечали вместе. Но смерть как-то не умещалась тогда у меня в голове.

29

Осенью и зимой в наших краях было тоскливо. Чуть свет поднимаешься и бредёшь или едешь в школу. Выходили обычно небольшой группой, а возвращаться я предпочитала одна, особенно ранней осенью, когда еще не дождило. Впрочем, дожди в этой местности лили не часто. Мне нравилось спускаться в овраги, следить за какой-нибудь букашкой или за тихой жизнью трудолюбивых муравьев, пока они еще не попрятались на зиму в свои крепости-муравейники. Нравилось сидеть в тишине и придумывать себе какую-нибудь фантастическую будущую жизнь. В том, что она будет необычной, я была уверена. И как

выяснилось, ошибалась. Жизнь, как я теперь понимаю, была у меня самая обыкновенная, если не считать того, что время манипулировало нами как хотело.

Неподалёку от комендатуры располагалось стрельбище. Там я тоже часто задерживалась, наблюдая, как солдаты выходили на рубеж, пристраивались, долго целились и стреляли по мишеням. Потом их сменяли другие. Если меня замечали, то прогоняли – находиться возле стрельбища посторонним не полагалось. То ли соблюдали военную тайну, то ли боялись рикошета.

Зимой после школы я наскоро обедала, иногда даже не разогревая от лени, и отправлялась к маме в библиотеку. Там было тепло, привычно, тихо. Посетителей, как правило, мало. Приходили офицеры за разными справочниками и уставами или почитать газеты. Приходили офицерские жены, которые почему-то все спрашивали «Сестру Керри» Драйзера. Книга пользовалась большим успехом и всегда была на руках. Мама предлагала им другие романы того же автора, но они если и брали, быстро возвращали недочитанными. Правда, было и несколько настоящих читателей, в основном среди солдат. Один мне запомнился потому, что в мирной жизни был актером или студентом театрального училища, и его поэтому назначили начальником клуба. Он организовывал просмотры и занимался художественной самодеятельностью, в том числе с нами, детьми. Он мне очень нравился, но однажды выгнал меня из театрального кружка за полную бездарность. Там надо было петь и танцевать, а я всё делала невпопад и всех сбивала или, как он интеллигентно выражался, – дезорганизовывала. Мне было очень обидно.

Некоторые заходили в библиотеку, просто чтобы посидеть в неказенной обстановке и поговорить. Мама умела слушать. О чём разговаривали – не могу сказать, потому что сразу брала какую-нибудь книгу, усаживалась между полок, и мир переставал для меня существовать.

Мама никогда не вмешивалась и не запрещала мне читать что хочу. Когда позже, в Москве, кто-то, кажется, тетя Эмма, упрекнула ее за это, она спокойно ответила: «Хорошая книга не может повредить никому, а плохие она не выбирает. Что не поймет сейчас, додумает потом».

Я прочла тогда всего Толстого, включая «Крейцерову сонату»; конечно, Пушкина; кое-что Достоевского, который меня не очень заинтересовал. Я вернулась к нему много лет спустя, открыла для себя новый мир, но любимым писателем он так и не стал. Зато «Война и мир» с тех пор и навсегда осталась одной из самых важных моих книг, хотя, честно сказать, войну я тогда по большей части пропускала. «Тихий Дон» вызвал смешанное чувство –

интереса и почти отвращения, и я потом долго не могла к нему вернуться.

Библиотека в комендатуре была очень хорошая. Вероятно, как и многие подобные собрания, попала туда из какой-нибудь помещичьей усадьбы. Мне потом приходилось встречать в библиотеках на турбазах много книг, помеченных фамилией одного какого-нибудь владельца, которого давно унес ураган перевернутой жизни.

Кроме чтения у меня было другое любимое занятие – мы ходили на конюшню проведывать лошадей. У каждого были свои любимцы. Иногда удавалось упросить дневальных разрешить покататься верхом, и мы гарцевали на плацу, конечно, без сёдел, но это не мешало, мы вполне освоились – ведь кони, как и ишаки, были обычным транспортом в тех местах. Впрочем, покататься удавалось только в более-менее теплую погоду: в наших валенках и полушубках взобраться на лошадь было невозможно.

Еще ходили в собачий питомник, но реже и менее охотно. Собаки были пограничные – овчарки, недобрые, натасканные на поимку нарушителей: посторонних не подпускали. Зато мы очень любили смотреть, как их выгуливают на поводках пограничники. Красивое было зрелище. Через много лет я увидела в Москве на вокзале группу таких овчарок с военными, дожидавшимися поезда. Собаки сбились в кучу, дрожали, растерянно оглядывались вокруг и подвывали, будто плакали. А военные курили, не обращая на них внимания. Ничего не было в этих псах от грозных и полных достоинства собак моего детства.

Как, наверное, все дети на свете, я мечтала о собаке: собственной, которая бы любила меня, заглядывала в глаза, ходила рядом, прибегала по первому зову – охрана, друг и немножко игрушка. Однажды я проходила мимо электродвижка и увидела щенка, который пытался согреться, – один бок у него уже дымился от горячего воздуха, а другой был покрыт изморозью.

Был холодный весенний день, щенок дрожал мелкой дрожью и смотрел на меня с такой безнадежной печалью, что у меня зашлось сердце.

Я взяла его на руки, отнесла домой, отогрела, накормила, и он заснул у меня на коленях, прерывисто вздыхая и поскуливая во сне.

Пришла с работы мама, посмотрела на нас, умилилась, но, естественно, сказала, что жить ему у нас нельзя – соседи будут возражать, да и повернуться у нас негде. Потом согрела на керосинке воду, вымыла щенка в тазу, завернула в полотенце и разрешила оставить на одну ночь, пока никто о нём не знает.

Ночью он привалился ко мне теплым боком, я обняла его и

почувствовала себя абсолютно счастливой. Моя мечта сбылась.

К счастью, я училась тогда во вторую смену, поэтому утром собрала ребят, и мы выкопали в сугробе за домом, около сараев, глубокую пещеру, обложили изнутри досками, постелили какое-то тряпьё и засунули туда щенка.

Он милостиво согласился признать это сооружение собственной конурой. Потом, когда снег начал таять, один офицер, немолодой и добрый дяденька, позвал солдат, и они построили там же, около сараев, настоящий собачий домик, утепленный и удобный.

Я назвала щенка Юкон – начиталась Джека Лондона. Он быстро рос и превратился в юную собаку, совершенно беспородную, очень ласковую, доверчивую, радостно кидавшуюся ко всем, приветливо помахивая пушистым хвостом. Скоро к псу все привыкли, и он стал как бы общим, но хозяйкой признавал меня одну. Провожал до ворот дувала, когда я шла в школу, и неизменно встречал радостным визгом на дороге, когда возвращалась. Уж не знаю, как он распознавал время, думаю, просто взбирался на дувал и часами вглядывался вдаль, ожидая моего появления.

Наступило лето, и началась дворовая жизнь с готовкой, домино, шашками и шумными детскими играми. Однажды в тихий вечерний час появился на нашем подворье солдат с винтовкой. Все затихли, удивленно оглядывая его: почему с оружием в неурочное время?

Юкон радостно бросился навстречу новому человеку, а тот прицелился и выстрелил ему в грудь. Я видела, как солдат прицеливался, но почему-то не могла пошевелиться от ужаса и непонимания. Видимо, что-то похожее случилось и с остальными, потому что, когда Юкон упал, обливаясь кровью, все повскакали с мест и набросились на солдата, а он спокойно ответил, что выполняет приказ коменданта, который велел ему отстреливать бродячих собак, чтобы они не занесли заразу в питомник.

Он взял Юкона за задние лапы и поволок по земле, оставляя кровавый след, куда-то за территорию поселка и бросил на кучу мусора. Собака была еще жива, она умирала долго и мучительно, а я сидела возле нее и рыдала в голос от жалости и ужаса. За что убили его, ласкового, милого, никому не приносившего вреда? Откуда такая жестокость? И почему я не заступилась, не закрыла его собой?

Прибежала взволнованная мама, пыталась меня увести, но я билась у нее в руках и ни за что не хотела уходить. Я бы, наверное, провела там всю ночь, но мама привела кого-то из мужчин, и меня силой унесли домой.

Утром пёс был еще жив, весь облепленный мухами и неподвижный, только бок слабо вздымался. Потом испустил дух. Я была всё это время с ним рядом вместе с несколькими моими друзьями.

Мы начали копать яму, но тут пришел солдат с лопатой, быстро вырубил в спекшемся грунте углубление, завернул неподвижное тело в тряпку, бросил туда и закопал, сделав даже небольшой холмик. Мы воткнули в него палку и повесили матерчатый ошейник, который я когда-то выпросила в питомнике.

Позже мы узнали, что солдат с лопатой пришел по приказу того же коменданта, которому моя тихая мама устроила настоящий скандал, забыв про субординацию и про то, что ее могут отдать под трибунал за оскорбление начальства. Но комендант стерпел и только перестал приходить в библиотеку менять книги и беседовать с мамой «в неофициальной обстановке», как он любил говорить. Меня в расчет не брали, и я часто слышала краем уха их разговор, сидя на привычном своем месте между полками. Смутно помню, что говорили они о прочитанных книгах, о довоенной жизни и о том, что будут делать, когда кончится война. А она уже шла к концу, хотя оставался еще почти год до мая 45-го.

Я долго не могла прийти в себя после пережитого потрясения, пропускала школу, плакала и отдалилась от всех. Мама говорила потом, что именно тогда из веселого, беззаботного ребенка я превратилась в угрюмого подростка, хотя мне еще не было одиннадцати лет.

Эта история осталась в моей душе на всю жизнь.

30

Впрочем, этому печальному событию я обязана и одним из самых сильных своих впечатлений от горного края, в котором мы жили. Мама время от времени отправлялась в поездку по заставам – менять книги в тамошних библиотечках. Обычно она оставляла меня дома на попечении соседей, а тут, видимо, договорившись со своим непосредственным начальником-политруком, взяла с собой. Ехали мы на арбе, свесив ноги, а временами шли пешком следом за ней. Проезжали красивейшие кишлаки, вытянувшиеся вдоль дороги, тенистые, тихие, чистые, с умиротворяющим журчанием арыков, с приветливыми таджичками, которые угощали нас абрикосами и козьим молоком. Внизу шумел Пяндж, заглушая на перекатах все

остальные звуки. На склонах гор паслись овцы и козы. Чабаны степенно раскланивались с нашим возницей-солдатом, а на нас с мамой не обращали никакого внимания, хотя она и была в военной форме.

На заставах, тоже тенистых и каких-то особенно уютных, нас встречали радостно, бросались разбирать книги, расспрашивали о новостях, водили меня по окрестностям, показывали, где проходит граница, рассказывали разные забавные случаи. Вкусно кормили, а вечерами, если мы оставались ночевать, пели песни так красиво и печально, что дух захватывало. А может, это было только на одной какой-то заставе. Теперь уже трудно отделить одно впечатление от другого. Но эта поездка запомнилась мне как тихое счастье, полное красоты и доброты.

Вообще, летом нам, детям, жилось вольготно и увлекательно. Никто особо не контролировал, куда мы идем, зачем. Часто отправлялись в какие-нибудь дальние путешествия – куда глаза глядят. Шли пешком, иногда прихватывали ближайшего, невозмутимо пасущегося ишака. Хозяева не беспокоились, знали, что вернём.

Если забредали слишком далеко и уже темнело, оставались ночевать в кишлаке. Нас принимали охотно и гостеприимно, кормили, укладывали спать во дворе на кошме, а то и на крыше, где ночевало всё семейство. У меня от тех лет осталось впечатление, что узбеки, особенно в кишлаках, очень приветливый и доброжелательный народ. Поэтому я с таким ужасом читала в недавние времена о резне и жестокости, вражде и взаимной ненависти. Трудно было поверить. Впрочем, и наш народ, говорят, был добрым. Помню, как еще в детстве меня поразило вычитанное у Толстого обращение солдат друг к другу: «братец ты мой».

Эти походы – лучшее, что запомнилось в моём не бедном впечатлениями малолетстве. Полная свобода, удивительная красота и спокойствие природы, наши ленивые, но не пустые разговоры, когда, лёжа на спине где-нибудь на вершине невысокого холма, смотришь в небо и перебрасываешься словами с товарищами, большинство из которых были старше и серьезнее меня. Мама легко отпускала меня с ними. У нас была договоренность, что беспокоиться она начинает только к вечеру второго дня. Кое-кому из этих ребят предстояло через год-другой идти в армию, им было о чём подумать. Меня же брали с собой, потому что я много читала и могла пересказать прочитанное, и потому что москвичка, а москвичей тогда уважали. Сейчас же их не любят почти везде.

Писем от папы мы тогда, видимо, не получали, или мама их не сохранила. Помню, что он вернулся из эвакуации осенью 43-го, и я ему очень завидовала и спрашивала маму, почему же он нас не взял с собой. Она отговаривалась, объясняя это военной службой.

Но осенью 44-го мама демобилизовалась, и мы начали собираться в дальнюю дорогу. Сборы были непростые. Мама ходила по окрестным кишлакам и меняла вещи на продукты. Менять особенно было нечего. Из писем родных мы знали, что в Москве голодно. Да и вообще продукты в те времена ценились дороже денег. Запасалась мама главным образом топленым маслом, вяленым мясом и мукой. Еще помню, шли сушеные фрукты – урюк, кишмиш, курага – всего понемногу, ведь дорога предстояла долгая, с пересадками.

Поезд уходил из Сталинабада. Вокзал и площадь перед ним были забиты людьми и вещами. В то время многие возвращались из эвакуации в родные места. Билет нам удалось купить в воинской кассе. Но самое трудное оказалось сесть в поезд. Нумерованных мест не было. Толпа осаждала вагоны. Кто посильнее и попроворнее, занимали сидячие места, самые ловкие – верхние полки и багажные, где можно было даже лежать. Остальные усаживались в проходах на вещах. По совету сведущих людей мама договорилась с носильщиком, вручив ему бидончик масла, чтобы он провел нас к вагону за пять минут до объявления посадки. Он всё выполнил в точности, загрузил вещи в тамбур, поставил меня их сторожить и ушел, а мама осталась на перроне с проводницей, которая почему-то очень тщательно проверяла наши билеты. Может, тоже рассчитывала на подношение. Кончилось тем, что то ли она, то ли мама выронила билет, и он упал на рельсы. Мама соскочила в узкое пространство между платформой и вагоном, чтобы поднять его, и в эту минуту пустили на посадку всю толпу. Люди неслись, ничего не видя перед собой, отталкивая друг друга, мне показалось, что они бегут по маминой голове. Меня с вещами вдавили в закрытую дверь. Образовалась чудовищная давка. Кто-то кричал от боли, кто-то ругался. И над всем этим висел чей-то жалобный, почти щенячий визг. Я еще подумала – кто это так скулит? Оказалось – я.

Когда все, имевшие билеты в этот вагон, протиснулись и устроились, вылезла мама – грязная, помятая и уже как-то безнадежно спокойная. Она велела мне замолчать и стала затаскивать вещи или, вернее, то, что от них осталось: фибровый

чемодан, наша гордость, был безнадежно сломан, мы кое-как перевязали его веревкой. Остальное тоже превратилось в сплюснутое нечто. Но мешки выдержали. Мы пристроились у самого входа, дальше было не пробиться. Даже ноги опустить некуда. Они так и лежали на мешках – своих, чужих, не разберешь. Но когда поезд тронулся и всё более или менее успокоилось, кто-то, поглядев на меня, а может, и припомнив смутно мой визг, потеснился, и меня усадили на самый краешек нижней полки, где я притулилась к чужому плечу и мгновенно заснула от усталости и всего пережитого.

Хорошо, что путь от Сталинабада до Ташкента был не столь долгим. Мы кое-как перемоглись на узлах и чемоданах. В Ташкенте предстояла пересадка на московский поезд. Билет прокомпостировать удалось не сразу. Папа в Москве, знакомых в Ташкенте никаких. Поэтому несколько дней мы провели на вокзале. Помню, мама куда-то отлучилась, а я сидела на вещах, укрытая толстым шерстяным платком, который она купила на базаре в преддверии холодных московских зим. Мимо прошел какой-то мужик, остановился, оглянулся, спокойно снял с меня платок и так же спокойно пошел дальше. Я онемела и от страха боялась пошевелиться. Вернувшаяся вскоре мама застала меня зареванную и дрожащую от испуга. Она даже не стала корить меня, только спросила у соседей: «А вы-то почему не заступились?» Они невозмутимо ответили: «Нам-то что? Девчонка молчала. Чего нам в чужие дела вязаться?»

Дорога до Москвы была поспокойнее. Нам удалось занять верхнюю полку, и мы ухитрились даже спать на ней вдвоём – я у стенки, а мама с краю, соорудив из армейского ремня петлю, которой пристегивала себя к боковым распоркам полки.

Днем шли бесконечные разговоры о том, что ожидает в Москве. Большинство пассажиров, как и мы, возвращались домой из эвакуации.

Из дорожных происшествий мне запомнилось два. Какой-то подросток, постарше меня, начал оказывать мне знаки внимания – угощал урюком, предлагал дружить и под конец сунул мне в руку записку «Можно я тебя поцелую?» Я не поняла, чего он от меня хочет, и показала записку маме. Она засмеялась и сказала: «Он хочет тебя поцеловать». Я безумно возмутилась и устроила ему страшный скандал в тамбуре, а он плюнул мне под ноги. На этом мой первый в жизни роман закончился.

Второе происшествие было совсем смешное. Мама, как она потом говорила, решила стать спекулянткой. Проезжали озеро Балхаш. На одной станции поезд окружили женщины, предлагавшие купить задёшево соль. Продавали небольшими

ведерками. Опытные люди бросились покупать. Некоторые набирали целые мешки. Мама спросила, зачем так много и как они это довезут. Ей ответили, что продадут по дороге на следующих станциях, где соль стоит гораздо дороже. Мама соблазнилась и купила ведерко. Она действительно продала его чуть не на следующей станции, потому что вдоль вагонов ходили люди и спрашивали, а она уже жалела, что ввязалась в несвойственную ей авантюру, и хотела поскорее это прекратить. В результате мы разбогатели на пять рублей, что было смешной суммой по тем временам. Так закончилась наша первая и последняя в жизни спекуляция.

Правда, я на этом кое-что выиграла. Когда мы уже подъезжали к Москве, по вагонам стали ходить продавцы и предлагать горячие сосиски из специальных термосов. А я всю войну мечтала о сосисках. По воспоминаниям, они представлялись мне самой вкусной едой на свете. И я так жалобно смотрела на маму, что она махнула рукой и купила мне одну сосиску за пятнадцать рублей, отметив, что пять рублей нам достались даром.

Я проглотила сосиску чуть не целиком и поняла окончательно, что мы возвращаемся к старой прекрасной жизни и что война для меня, в сущности, кончилась. Потом мне не раз пришлось убедиться, что это не так.

32

В Москву мы приехали холодным октябрьским или ноябрьским днем, не помню точно. Осталось только ощущение промозглости и хмурости. Встречали тетя Эмма и дядя Сережа, ее муж. Никаких такси или частных машин не было. Садиться в набитый до отказа автобус с нашим багажом было невозможно. Наняли носильщика с тележкой. Он загрузил ее доверху и шустро покатил по Садовому кольцу; от Курского до Первой Мещанской – не ближний свет. Мы еле поспевали за ним.

Москва мне резко не понравилась. За эти годы я привыкла к открытым просторам, небу, сливающемуся с горизонтом, воздуху, который вдыхаешь и не замечаешь, такой он легкий и свежий. А тут навалилось сразу: громадные дома, заполняющие всё пространство, с шумом проносящиеся машины, бьющие в нос выхлопные газы, спешащие и не обращающие на нас никакого внимания люди. Ни одного заинтересованного или просто любопытствующего взгляда, ни одной улыбки.

Наконец добрались до нашего дома. Носильщик вкатил

тележку во двор и стал перетаскивать вещи к двери квартиры на втором этаже, которую мама, обогнав его, открыла своим ключом. Нас никто не ждал. Соседи высыпали в коридор, начались объятия, охи, ахи и даже слёзы. Мы не виделись почти четыре года.

Отпустили носильщика, расплатившись немалой суммой и кусочком сыра, завернутым в вощёную бумагу. Сыру он обрадовался больше всего, а тетя Эмма вздохнула и покачала головой. Такая щедрость ей показалась излишней – думаю, сыра они не видели с начала войны.

Перетащив вещи в переднюю, мы хотели открыть дверь в комнату, но она оказалась забитой досками крест-накрест. Нам объяснили, что какое-то время там жила семья из разбомбленного дома. Когда они съехали, дверь осталась открытой настежь, и домоуправ распорядился заколотить.

Кто-то из соседей принес лом, доски отодрали, и перед нами предстала картина, которую я никогда не забуду, – наша крошечная восьмиметровая комната была абсолютно не похожа на человеческое жильё. Окно забито фанерой наглухо, причем, как мы впоследствии обнаружили, стекла не были выбиты. Их просто аккуратно вынули и увезли с собой. В те годы оконное стекло было дефицитом. В тусклом свете, падавшем из коридора, мы увидели груды мусора, выжженный паркет и куски упавшей с потолка штукатурки. Из наших вещей остались только громоздкий диван с полочкой, на которой раньше стояли книги, и дубовый стол, который, вероятно, не пролез в дверь.

Я зарыдала в голос и стала умолять маму уехать обратно. Впрочем, скоро смолкла, потому что никто не обратил на меня внимания. Все стояли подавленные и растерянные.

И тут мама тряхнула головой и скомандовала: «Так, заносим вещи, берем только самое необходимое. Дверь заколачиваем. Ночевать поедем к тебе, Эмма. Надеюсь, место для нас найдется – ненадолго».

Это была ее особенность: тихая и порой нерешительная, мама в трудную минуту мгновенно собиралась и принимала единственно правильное решение. «Конечно, конечно! – закричали в один голос тетя Эмма и дядя Сережа. – Мы и сами собирались предложить тебе пожить у нас, пока устроишься».

Все оживились, захлопотали, стали затаскивать вещи, вернули обратно выставленные доски. И только я продолжала тихо всхлипывать – от усталости, пережитого и стыда за свое малодушие.

Позже соседи возвратили нам что-то из вещей, которые они успели припрятать до вселения временных жильцов, – книги,

немного одежды, посуду и фотографии, которым мама обрадовалась больше всего.

Как добрались до Столешникова, сколько дней там прожили, не помню. Знаю только, что через некоторое время мы переселились в нашу комнатку, которая показалась мне уже родной и уютной. Теперь я понимаю, каких усилий стоило маме это восстановление. Очень хорошо помню ощущение собственного дома. Не временного, как все эти годы, а своего, прочного, может быть, даже вечного.

Меня определили в школу в Безбожном переулке (ныне и раньше – Протопоповский). Из первой ученицы шурабадской школы я как-то быстро превратилась в одну из последних. Особенно отставала по чистописанию, которому в Шурабаде почти не учили. Меня это не слишком огорчало, но было тоскливо и всё время хотелось обратно – к горам, свободе и свежему ветру, который нёс с собой ощущение бескрайности мира и жизни.

Постепенно я стала привыкать. Спасали, как всегда, книги, которые я читала запоем и без разбору. Решила записаться в школьную библиотеку. «Какой класс?» – спросили меня. – «Третий». – «Можем предложить „Лягушку-путешественницу“». – «Читала», – робко ответила я (я всегда робела в присутственных местах). – «„Что я видел“ Житкова». – «Читала». – «Ну, хорошо, а „Каменный цветок“ Бажова»? – «Читала», – совсем скисла я. Наступило недовольное молчание. – «Ладно, иди, сама посмотри и выбери». Я радостно бросилась к полкам и через некоторое время подошла к библиотекарше с «Дон-Кихотом». – «Ты что? – ахнула та. – Это же для восьмого класса». И решительно водрузила книгу на место. Больше я в эту библиотеку не ходила.

Но книги всё равно находились. Может, у маминых знакомых, родственников, а может, мама брала для меня что-то во взрослых библиотеках. Купить новую книгу было трудно, и каждое такое приобретение было событием. До сих пор у меня стоит толстенный том Горького в сером невыразительном переплете, на очень плохой бумаге. Мы купили его где-то за городом. Храню как память.

Папу мы почти не видели. Он в очередной раз женился – на Елене Леонидовне Быковой, но это я узнала значительно позже, а тогда понимала, что он нами не очень интересуется. Помню только, что однажды мама позвонила ему и попросила достать ордер на пальто, так как я из всего выросла и ходить мне было не в чем. Он достал.

Жили мы тихо, почти ни с кем не общались. За время войны друзья и знакомые куда-то исчезли. Да к тому же много сил и

времени уходило на быт, на выживание. Стояние в очередях, где номера отмечали чернильным карандашом на запястье или на тыльной стороне ладони. Отопление не работало – топили буржуйку. Газа не было – только керосинки и примусы. Меня это, правда, касалось мало, только очереди да разогревание еды. Чаще еду даже не разогревали, а доставали кастрюльки из-под двух-трех одеял и множества газет, в которые они были закутаны.

Наступила весна, а с ней нетерпеливое ожидание победы. Каждый день начинался со сводок. Они становились всё более радостными и обнадеживающими. Затаив дыхание, я слушала названия незнакомых городов, освобожденных, а под конец и захваченных нашими войсками. И вот, наконец, Берлин – последний рубеж.

9 мая нас разбудили соседи. Они стучали в дверь с радостными криками: «Включайте радио! Победа! Мир! Победа!»

Многими был описан этот день. Обнимающиеся люди, взлетающие в небо военные. Казалось, весь город высыпал на улицы и площади. Смутно помнится какой-то капитан, который угощал всех оказавшихся рядом детей мороженым, мне тоже перепало.

Вечером в темное небо поднялся огромный портрет Сталина и парил в скрещенных лучах прожекторов. Мне было одиннадцать. Я была потрясена. Мне казалось, я вижу Бога.

Господи, как мы странно жили! Многомиллионный народ, одурманенный до невменяемости. Конечно, были люди, и теперь я знаю, что немало, которые понимали, что происходит. Но основная масса жила по законам древних племен, поклонявшихся идолам и смутно представлявших себе устройство мира. Поразительно, но в этот разряд попадали и очень неглупые люди. Или пытались попасть. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Что это? Подхалимство? Конъюнктура? Заблуждение? Или искреннее ощущение величия, перед которым нужно преклоняться?

А Гитлер? А Мао Цзедун? Может, в этом разберутся будущие историки и философы. Хотя вряд ли. Скорее всего, будет отложено до Страшного суда.

33

Началась мирная жизнь, оказавшаяся совсем не такой, как мы ее себе представляли. Все понимали, что будут трудности, но никто не ждал столь жестких и в таком объеме. И дело не только в идеологии. Она меня по малолетству мало касалась. Война

словно бы и не закончилась: всё то же постоянное чувство голода, те же карточки и очереди, та же буржуйка и постоянная проблема – где достать дрова.

Холодно было повсюду. В школе мы занимали очередь, кому сидеть на перемене у батареи, прижавшись к ней спиной.

Сорок седьмой год был самым тяжелым. Голод был таким, что мама, отдававшая мне большую часть еды, выжила, как потом призналась, только благодаря тете Розе, которая работала в поликлинике при заводе «Серп и Молот» и делала ей инъекции витаминов. Мама ездила туда, на другой конец Москвы, почти ежедневно.

Помню невероятную радость, когда бывшая ученица тети Эммы, работавшая на мясокомбинате, подарила ей килограмм костей, половину из которых тетя отдала нам, и мама сварила бульон, показавшийся мне таким вкусным, что, доев его, я заплакала.

Как-то, это было уже позже, приехала к нам из деревни в гости моя довоенная няня Зоя. В плюшевом жакете, румяная, веселая. Она привезла нам молоко и яйца. Ее муж был председателем колхоза. Я потом гостила у них, кажется, когда училась в десятом классе, на зимних каникулах, и вернулась до того растолстевшая, что мама ахнула, а соседи сбежались на меня посмотреть. Дом у Зои был богатый, обустроенный. Суп ели три раза в день, а яичницу на четверых едоков делали из двадцати яиц на огромной сковороде.

Летом меня отправляли в пионерский лагерь, каждый раз в другой. Однажды попала в образцовый – в Горках Ленинских. Оттуда я приехала завшивевшая. Помню, как сижу, наклонив голову и закрыв глаза, над газетой, а мама чешет меня частым гребешком, и я слышу, как *они* сыплются горохом, звучно ударяясь о стол. Мазали голову керосином, покупали какое-то средство в аптеке – ничего не помогало. Пришлось остричь меня наголо.

Лагеря были одинаково скучные и казенные. Мы с нетерпением ждали только родительского дня и конца смены. Впрочем, меня чаще всего оставляли на второй срок. Мама работала и не могла мной заниматься.

И всё же голод, холод, бедность были не главным в тогдашней нашей жизни. От первых послевоенных лет у меня осталось ощущение тревоги и подавленности. Инвалиды на тележках, заполнявшие улицы, слухи о новых арестах, передававшиеся шепотом, и общая суровость бытия, которой я не чувствовала даже в эвакуации, может, потому, что там всё казалось временным, объяснимым. А в Москве всему этому не

видно было конца. Казалось, мы всегда только так и будем жить.

Впрочем, возможно, это сугубо личные ощущения девочки из среды служащих, самого обделенного слоя советских людей. Даже карточные нормы продуктов для служащих были самыми скудными. Меньше получали только иждивенцы.

34

Меня перевели в другую школу, неподалёку от Сретенских ворот, в бывшем Рождественском монастыре. Там работала завучем тетя Эмма. Эту 240-ю среднюю женскую школу я и окончила.

Обучение в те годы было раздельным. Мальчики появлялись у нас только на вечерах, когда я уже училась в старших классах. Стояли у стен, глядели сумрачно. Танцевали обычно девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Дружбы не получалось.

Слово «монастырь» нам ничего не говорило, как и Рождество. Мы считали, что название связано с Новым годом.

Монастырь стоял на невысоком пригорке, окруженный высокими стенами. От Рождественского бульвара подниматься нужно было по довольно крутой лестнице. В бывших монастырских помещениях были какие-то мастерские. Посреди двора – новенькое стандартное здание нашей школы. Школа была хорошая, спокойная.

Директором в те времена была Злата Савельевна Гальперина. Завучем старших классов, как я сказала, моя тетя, Эмма Соломоновна Голубкина. Вообще, в школе почему-то было много евреев – и учителей, и учениц. В нашем классе – чуть не половина: Мильштейн, Каплун, Зак, Френкель, Смоляницкая… Были и татарки, и украинки, даже одна немка. Национальный вопрос нас совершенно не волновал. Может быть, в семьях девочек и соблюдались какие-то традиции, но до школы это не доходило. Почти все одноклассницы были одинаково бедны, жили трудно, ходили в обносках. Школьная форма – коричневое платье и черный фартук – у большинства были сшиты дома из дешевой полушерстяной ткани или сатина. В магазинах купить всё это было невозможно, даже по ордерам. Насколько я помню, в отдельных квартирах жили только три или четыре девочки из нашего класса. У одной девочки – Иры Калиновской – была своя отдельная комната. Ей не завидовали, но в гости к ней ходили редко, а если и бывали у нее, то, как в музее, снимали у входа обувь и ступали дальше на цыпочках, благоговейно посматривая по сторонам.

Большинство же моих одноклассниц жили не просто в коммуналках, а в домах гостиничного типа, своего рода общежитиях, с бесконечными коридорами, по которым можно было разъезжать на велосипеде, если имелся, и с двумя-тремя огромными общими кухнями, запахи из которых разносились далеко окрест.

Хорошо помню, как пришла к одной девочке в гости и оказалась в большой комнате, посреди которой был фонтан. Правда, недействующий. Кажется, на нём что-то висело. Может, одежда. У самого входа, за выгородкой, помещалась отдельная кухня – немыслимое удобство в те годы, а вдоль стен, за ширмами, занавесками и невысокими перегородками, располагалась немалая семья.

Все эти дома находились в прилегающих к Трубной площади переулках. Поговаривали, что раньше это были дома терпимости. Если правда, то довольно интересное соседство – монастырь и обиталища падших женщин.

Училась я средне. Любила литературу, историю, географию. Ненавидела биологию. Может, потому, что учительница была противная – злая, насмешливая и нудная. Одно время я вдруг увлеклась алгеброй, но потом попала в больницу с экссудативным плевритом, отстала от программы и так уже и не нагнала до конца учебы.

По-моему, я долго была человеком тихим и отдельным. Не высовывалась, как говорится. Ни с кем особенно не дружила. После уроков спешила домой. Приходила, снимала форму – платье в одну сторону, фартук в другую. Доставала кастрюлю из-под кучи одеял, зачастую обходилась без тарелок, чтобы потом не мыть. Книгу в руки – и понеслось: другой мир, другая жизнь, другие люди. Может, они были не лучше тех, что окружали меня, но – другие, незнакомые и потому привлекательные или, скорее, увлекательные.

Еще были редкие, но волнующие походы в кино.

Первое после возвращения из эвакуации посещение московского кинотеатра меня потрясло и обескуражило. Там, в военном городке, просмотр фильма был событием, праздником. А здесь верхнюю одежду не снимали, лузгали семечки, сплевывая шелуху в горсть. Правда, перед началом сеанса в фойе играл оркестр. Иногда даже выступала певица.

Фильмы шли в основном «трофейные» – «Молодой Карузо», «Где моя дочь?», «Ты – моё счастье», «Девушка моей мечты». Сентиментальные, слащавые, но открывавшие нам целый мир. До сих пор помню эти дурацкие названия. Иногда показывали замечательные картины. «Мост Ватерлоо» оставил неизгладимое

впечатление. Недавно смотрела его по телевизору и удивилась: неплохо, но ничего особенного. «Судьба солдата в Америке». Многого я в нём, наверное, не поняла, но бредила Хэмфри Богартом. Позже, когда посмотрела «Касабланку», убедилась, что моё восхищение Богартом не было ошибкой. Генри Фонда, Кларк Гейбл, Дина Дурбин – это были наши кумиры, как теперь понимаю, неравнозначные, но тогда казавшиеся нам существами из другой галактики.

У меня имелся немалый блат – тетя Фаня, вдова маминого брата, работала билетершей в кинотеатре «Уран», рядом с нами, на Сретенке, и многие фильмы я смотрела несчетное количество раз.

А еще были московские театры с их волнующей атмосферой: билеты у входа, шумная раздевалка, устланная ковром лестница, по которой поднимались неторопливо, будто возносясь к чему-то особенному. Зал, оживленный и дружелюбный. Наконец, твоё кресло, постепенно гаснущий свет, наступающая тишина и медленно, торжественно открывающийся занавес. А за ним – ярко освещенная сцена и новый, еще не ведомый мир.

Позже, когда я попала в актив Центрального Детского театра и стала дежурить на спектаклях, бывать за кулисами, это ощущение праздника несколько потускнело, сделалось привычным.

В восьмом классе у нас в школе организовали драматический кружок. Руководил им настоящий актер из Театра юного зрителя, молодой, но уже известный, по фамилии, если не ошибаюсь, Горелов. Актеры получали тогда гроши, и работа в школах или клубах была их единственным приработком.

Мы принялись за дело всерьез. Сразу начали ставить большую пьесу, которая шла в детских театрах. Называлась «Снежок», в ней рассказывалось о горькой жизни чернокожего мальчика в Америке.

Особенность нашей постановки заключалась в том, что и мальчиков, и дяденек, и тетенек играли девочки. Мне как самой длинной в классе досталась роль директора американской школы. Противный был тип, расист. Я очень старалась, чтобы он вызывал отвращение. Самое забавное, что спектакль имел успех. Мы даже показывали его в Центральном Доме пионеров.

А еще ставили отрывки из поэмы Некрасова о женах декабристов. Горелов достал настоящие театральные костюмы и парики. Наше сочувствие несчастным женам превышало все мыслимые пределы. Эту искренность зрители, очевидно, почувствовали. Родители, пришедшие на спектакль, утирали слёзы. Мне снова досталась мужская и снова отрицательная роль:

губернатора, который не пускал княгиню Волконскую к мужу. В конце он, правда, сдается и даже выражает ей свое восхищение. Перед самым спектаклем выяснилось, что на мои (быстро отросшие с лета) толстые косы ни один парик не налезает. Началась паника, но Горелов привел на показ коллег, чтобы помочь нас гримировать и одевать. И один из них предложил – пусть твой персонаж будет раненым генералом. Так и сделали. Мне забинтовали голову, будто ее разнесло снарядом. Сохранилась фотография, где я в генеральском мундире и в огромном тюрбане из бинтов на голове. Сейчас мне кажется, что это несколько перекосило некрасовский замысел. Раненый генерал вызывал больше сочувствия, чем не желавшая оставить его в покое Волконская.

35

Папа выпал из нашей жизни окончательно. Телефона у нас по-прежнему не было. К нам он не заезжал. Пути наши не пересекались. Скажу честно, меня это тогда мало занимало. Я привыкла к тому, что у нас маленькая семья, очень любила маму, мы дружили с ней. Не просто жили дружно, а именно дружили. У меня не было от нее тайн, у нее от меня, кажется, тоже. Мы всё обсуждали – новости, события, происходившие у меня в классе и у нее на работе, она в то время опять служила в ТЭУ – Туристско-экскурсионном управлении, водила экскурсии по Москве.

Мы вместе ходили в гости к ее немногочисленным друзьям и родственникам, посещали театры и музеи. Зимой ездили кататься на лыжах за город или в Сокольники. Своих лыж у нас не было, брали напрокат. Вместе решали, что нужно купить, вместе радовались покупкам, на которые долго копили деньги. Помню нашу бурную радость, когда купили этажерку для книг. До этого книги стояли на полочке на мамином диване или лежали сверху на шкафу. Этажерка потом долго путешествовала с мамой, а позднее и со мной из квартиры на квартиру. Она до сих пор стоит в углу моей комнаты, совсем дряхлая, но очень мне дорогая. Уже значительно позже мама пригласила столяра, и он смастерил стеллаж высотой до потолка. Книги всё прибавлялись и прибавлялись. В нашем окружении никто не задавался вопросом, что подарить друзьям или знакомым на праздник или день рождения. Книги и только книги.

Мы редко ссорились. Хотя помню очень стыдный эпизод. Я отставала по английскому, потому что, не зная ни слова, пришла в школу, где язык учили с третьего класса. Весь первый год

обучения выпал из моей жизни. Учительница пыталась заниматься со мной после уроков, но потом сказала, что ей некогда, и посоветовала нанять педагога. Для нас это была почти непосильная трата, но мама как-то извернулась, экономя на всём, кажется, даже продала что-то. Поначалу я очень старалась, ходила на дом к педагогу, добросовестно зубрила слова и правила. Но учительница попалась на редкость неприятная. Почти ничего не объясняла, кричала на меня. Дом у нее был шумный, полный народу. Меня постоянно что-то отвлекало, и я тупела, ничего не понимала.

Однажды я не очень хорошо выучила урок и со страху пропустила занятие. Но не решилась сказать об этом маме.

Так и повелось. Я бродила по улицам, дома на мамины вопросы скупо отвечала, что всё хорошо. Наконец, наступил день, когда надо было расплачиваться за очередной месяц. Мама вручила мне деньги. Я их, естественно, не отдала. Более того, часть даже истратила на какие-то свои нужды. На что я рассчитывала, совершенно не понимаю. Какая-то общая тупость, начавшаяся на уроках, охватила меня. Этот эпизод моей жизни вспоминается мне как один из самых тяжелых и стыдных.

Конечно, всё вскоре раскрылось. Мама была потрясена. Долго не разговаривала со мной. Я очень страдала. Потом как-то сгладилось, но и сейчас мне горько и стыдно вспоминать. Хотя теперь, вырастив детей и внуков, я понимаю, что каждый ребенок так или иначе проходит через подобные искушения и проступки, познавая жизнь и определяя себя в ней. Мне урока хватило на всю жизнь.

Мама никогда не звонила отцу. У неё хватало гордости и отдельности.

Значительно позже, когда я уже училась в институте, мы поехали с мамой в Ригу. Остановились на туристской базе. Однажды она встретила на улице бывшую приятельницу, с которой давно потеряла связь. Та пригласила маму в гости. Я почему-то не пошла. Мама вернулась невеселая и даже чуть раздраженная. Оказалось, приятельница весь вечер ссорилась с мужем, они говорили друг другу резкости, несмотря на присутствие постороннего человека.

Успокоившись, мама сказала: «Как хорошо, что мы с тобой живем вдвоем. Нам ведь больше никто не нужен. Какой-нибудь мужик в доме со своими претензиями и чужеродностью! Курит! Пьет рюмку за рюмкой! Нет, я правильно построила свою жизнь».

Бедная мама. Она как будто забыла, что я взрослею и ухожу от неё. Через несколько лет я вышла замуж, и она осталась одна. И хотя наши отношения по-прежнему были очень близкими,

мамина повседневность всё равно граничила с одиночеством.

Время от времени нам встречались в газетах и журналах новые стихи отца. Они мне не очень нравились. Зато прежние его книги, подаренные маме до войны, я знала почти целиком наизусть и большинство стихов очень любила.

Один раз мы даже слышали выступление отца по радио. Меня взволновал его голос, знакомые интонации, но желания увидеть его не возникло. Более того, я где-то в глубине души была обижена и даже зла на него. Иногда эти чувства прорывались у меня в разговоре с мамой. Она каждый раз мягко возражала и говорила, что отца надо любить. Он хороший человек, хотя и безалаберный.

Однажды в октябре 1949 года я увидела на улице большую афишу «Советские писатели – свободному Китаю», извещавшую о вечере в Зале имени Чайковского. В числе участников был назван и поэт Луговской. Решение пришло мгновенно, я не раздумывала ни секунды. Уговорила пойти со мной свою подругу, сейчас даже не помню, кого именно. Мама дала деньги на билеты.

Огромный зал, ряды круто поднимаются вверх. Мы сидели высоко, на самых дешевых местах. На сцене – все выступающие: Асеев, Антокольский, Катаев, Михалков и другие. Я с трудом отыскала среди них отца, сидевшего позади. Сердце забилось неистово. Я замерла. Подруга искоса с интересом посматривала на меня.

Начался вечер. Поэты и писатели выступали, читали свои стихи и отрывки из прозы. Наконец на трибуну поднялся отец. Своим громовым голосом он прочитал что-то про Китай, наверное, написанное специально к этому вечеру. Я потом никогда и нигде не встречала это стихотворение. Кажется, оно было невнятным, вялым и вместе с тем пафосным. Но в тот момент я об этом не думала.

Он дочитал, откашлялся и сел на свое место под довольно жидкие аплодисменты. И тут я вырвала листок из тетради и написала карандашом: «Папа, я в зале. Если хочешь меня видеть, я буду ждать тебя после вечера возле третьей колонны у входа. Мила». Надписала его фамилию и послала в президиум.

Записка медленно поплыла по залу. Я видела, как ее передают из рук в руки, из ряда в ряд. Кто-то вертел бумажку, разглядывая, кто-то сразу передавал следующему. Мне казалось, это продолжается бесконечно. Меня колотила дрожь. Подруга потом сказала, что я была бледна, как полотно.

Наконец записка дошла до отца, и он прочитал ее, близко поднеся к глазам. Повертел в руках. Снова прочитал. Оглядел зал. И стал искать кого-то глазами в первых рядах. Несмотря на

волнение, я немного удивилась – почему в первых? Потом выяснилось, что там сидела Елена Леонидовна, его жена.

Как я досидела до окончания вечера, не помню. Мы вышли на улицу, подруга отошла подальше, я встала у третьей колонны. Ждать пришлось довольно долго. Наконец появился отец – большой, вальяжный, с тростью в руке, а с ним довольно крупная женщина, нарядно и необычно одетая, прелестная.

Отец поцеловал меня, сказал что-то вроде: «Как ты выросла!» Дальше говорили только я и Елена Леонидовна. Она задавала вопросы, хвалила меня за что-то, пригласила к ним в гости, назначив день. Папа стоял молча, опираясь на трость и улыбаясь несколько туманной улыбкой. Как потом, много лет спустя, рассказала мне Елена Леонидовна, он был в тот вечер сильно пьян.

36

В день визита я уже с утра не находила себе места. Принарядилась как могла. Впрочем, наряжаться особенно было не во что. День был будний, надо идти в школу, как обычно, в форме, довольно поношенной. Почистила платье жесткой одежной щеткой, пришила чистый воротничок и тайком взяла шелковый мамин шарфик, чтобы надеть под демисезонное пальто.

Уроки прошли как в бреду. После уроков я забрала пальто в раздевалке и обнаружила, что шарфик стащили. Горю моему не было предела. Жалко было шарфика, но больше всего я переживала, как скажу об этом маме. Ведь я взяла ее вещь без разрешения. Она бы мне его, конечно, дала. Но почему-то было неловко признаться, что я так наряжаюсь для встречи с папой.

Зареванная, несчастная, позвонила из учебной части отцу. Подошла Елена Леонидовна. Задыхаясь от слёз, я поведала ей свою грустную историю и сказала, что не могу приехать. Она почему-то засмеялась и велела немедленно явиться, потому что они ждут меня к обеду.

Робея, вошла я в подъезд солидного дома в Лаврушинском переулке. В лифт сесть побоялась, мне никогда еще не доводилось ездить в лифте одной. Поднялась на шестой этаж, позвонила. Дверь открыла домработница Поля. Она всплеснула руками и произнесла традиционное: «Как выросла!»

Тут же появилась Елена Леонидовна, ласково обняла, велела пойти в ванную и смыть следы слёз.

Ванная потрясла меня – чистая, выложенная кафелем, не

обвешанная, как у нас, корытами и ушатами. Умывшись, я долго стояла, не зная, каким полотенцем можно воспользоваться. Они все казались такими роскошными, что я боялась притронуться.

Заглянула Поля, показала на маленькое полотенце, висевшее слева от раковины, и, видно, почувствовав моё смущение, ласково погладила по голове.

Потом Елена Леонидовна провела меня по квартире – трехкомнатной, показавшейся мне огромной. Я таких больших отдельных квартир еще никогда не видела.

Наконец мы вошли в папин кабинет. Тут я вовсе онемела. Книжные полки от пола до потолка, старинные настенные часы, мерно отсчитывающие время, широкая тахта, покрытая роскошным ковром, спускавшимся со стены. Другой ковер лежал на полу. Письменный стол, величественный и уютный – на нём две настольные лампы, старинная чернильница, лоток с грудой остро оточенных карандашей. А на полках перед книгами – оружие: сабли, шашки, какой-то древний пистолет (как потом оказалось – дуэльный) и пара ружей, прислоненных к полкам. И еще на старинном шкафчике, позади стола, – статуэтки Будды, похожие на те, что я видела в музее.

Папа встал из-за стола, обнял меня, а потом подвел к окну и стал пристально рассматривать.

Елена Леонидовна комментировала: «Ничего девочка, подрастет, выправится – будет просто красотка. Грудь намечается неплохая. Волосы такие, что можно позавидовать. Ножки вполне, длинные. Только плечи распрями, не сутулься».

Я не знала, куда деться от смущения, неловкости и нарастающего раздражения.

Внезапно я резко высвободилась из рук отца и, насупившись, отошла в сторону.

Папа рассмеялся и на этот раз очень искренне привлек меня к себе: «Майя, уймись! А ты не обращай на нее внимания. Она у нас дама эксцентричная. Пошли к столу».

Самое большое испытание ожидало за обедом. Почему-то две вилки, два ножа. Накрахмаленная салфетка углом около тарелки. Впрочем, с салфеткой я справилась довольно быстро. Я увидела, как папа расправил ее и положил на колени. Тут я из протеста отодвинула свою салфетку в сторону.

С вилками тоже разобралась: та, что поменьше, – для салата, а побольше – для второго. Ножи мне вовсе не понадобились, на второе подали котлету. И только в середине обеда я обратила внимание, что взрослые держат вилку в левой руке, а нож в правой и накладывают им на вилку гарнир. Но последовать их примеру не рискнула. Решила потренироваться дома.

Поля подавала. Сначала салат и закуски. Потом внесла большую супницу. Елена Леонидовна принялась разливать суп.

– А водка? – грозно спросил папа.

– Обойдешься, – легкомысленно ответила Елена Леонидовна. – У тебя дочка в гостях. Один раз можешь и воздержаться.

Папа с грохотом отодвинул стул, его салфетка упала на пол.

– Хорошо, хорошо, – поспешно сказала Елена Леонидовна и взглянула на Полю, стоявшую в дверях, скрестив руки на груди. Та, что-то ворча себе под нос, отправилась на кухню и вернулась с графинчиком и рюмкой. Отец одну за другой выпил две рюмки и заметно повеселел.

Стал меня расспрашивать, как дела в школе и что я читаю. Список недавно прочитанного его удовлетворил.

– Молодец, – похвалил он. – Моя дочка.

Что было потом, уже не помню. По-моему, отец основательно набрался и отправился вздремнуть. А я попрощалась с Еленой Леонидовной и Полей и поехала домой, нагруженная конфетами, папиными книгами и тремя шарфиками взамен одного украденного.

37

С тех пор я стала бывать у них довольно часто. С отцом особой близости не возникло. Он демонстрировал меня гостям, стандартно расспрашивал об успехах в школе, равнодушно относясь к моим признаниям в том, что успехи так себе. Спрашивал и про маму. Он даже несколько раз заезжал к нам домой – на минутку. Я каждый раз терялась. Уж очень он был большой, заполнял собой всю нашу убогую комнатушку. Разговаривал больше с мамой. В общем, я была ему не очень интересна.

Зато с Еленой Леонидовной, Майей, я дружила бурно и страстно. Я просто влюбилась в нее. Ей это нравилось. Своих детей у нее не было, а потребность опекать и учить жизни была. Я ей даже звонила иногда из ближайшей телефонной будки, и мы болтали просто так, если у нее находилось время.

Однажды, когда мы о чём-то разговаривали с папой в его кабинете, раздался звонок в дверь – пришла моя сестра Маша, тогда еще Груберт, а впоследствии Седова, по мужу. Я знала о ее существовании, видела ее фотографию, стоявшую на папином письменном столе рядом с задумчивой химерой с Собора Парижской Богоматери, но встречаться нам не приходилось.

Свидание получилось довольно натянутым.

Позже мы очень подружились, и отношения у нас были теплые и сестринские до самой ее смерти в 2003 году, преждевременной и неожиданной, ставшей для меня большим ударом.

Дом у отца был открытый, гостеприимный во многом благодаря Елене Леонидовне, ее приветливости, веселому нраву. Там я встретила многих замечательных людей – поэтов, писателей, журналистов, ученых, чьи имена знала только по газетам. Павел Антокольский, Николай Тихонов, Михаил Светлов, Владимир Соколов, многих еще могла бы перечислить. Однажды видела Бориса Леонидовича Пастернака, но мельком, он забежал на минуту. Приходили в дом отца и молодые – Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина. Впрочем, возможно, с ними я встретилась уже после смерти папы. Первое время они бывали на каждой печальной годовщине.

Сильное впечатление произвел на меня Александр Александрович Стрепихеев – химик, профессор, первый муж Елены Леонидовны. Она ушла от него к папе, но Александр Александрович не превратил ее уход в драму. Более того, они с отцом очень подружились, нежно относились друг к другу. У папы есть посвященный Стрепихееву цикл стихов «Памяти друга», написанный после внезапной смерти Александра Александровича.

Это был незаурядный, глубокий человек. Широко образованный, с каким-то внутренним светом. Спокойный, добрый, ироничный. Я очень любила слушать их разговоры. Может быть, они меня во многом сформировали, расширили горизонты моего сознания, как впоследствии и мои посещения дома Ермолинских.

Чем дальше, тем больше мы сближались с отцом. Я взрослела и становилась для него интереснее и интереснее. Он часто вызывал меня телеграммами – «Позвони!», «Приезжай!»

А незадолго до смерти написал маме записку, которой я очень горжусь: «Ирина, спасибо тебе за дочку!»

Он начал водить меня в гости. Елена Леонидовна очень поощряла это. Я должна была сидеть рядом с отцом и, когда видела, что он пьянеет, подменять рюмки. Вместо водки наливала воду, вместо коньяка – холодный чай. С какого-то момента он переставал различать, что пьет.

Я очень любила ездить с ним в метро, направляясь на очередные посиделки. Мы входили в вагон, и все пассажиры сразу поворачивали головы в нашу сторону: величественный, импозантный, в широком пальто, мягкой шляпе, с тростью, отец

выделялся из толпы и привлекал к себе всеобщее внимание. А я была рядом с ним.

Когда я рассказывала об этом маме, она лишь вздыхала, но никогда не запрещала мне эти поездки с ним в гости. Впрочем, она мне вообще никогда ничего не запрещала. И очень верила в меня.

Папа сильно пил в то время. С тех пор я ненавижу пьяных. Мне казалось, его пьянство навсегда. Но после первого инфаркта, случившегося у отца в 1952 году, он резко и сразу бросил пить и курить. И остававшиеся ему последние пять лет жизни стали для него плодотворным периодом творчества.

Но и в худшие времена, страдая и зачастую стыдясь за него, я очень, очень любила его. В нём было столько обаяния, доброты, таланта, какой-то глубинной честности и верности самому себе. В молодые годы он искренне и страстно хотел вписаться в эпоху, верил, что живет в великое время в великой стране. Стыдился своей интеллигентности. «Возьми же меня в переделку и двинь, грохоча, вперед!» Поэт, путешественник, романтик. Боже! Какие все стертые, звонкие и пустые слова. Как мне передать мою бесконечную любовь и нежность к нему, чтобы до конца выразить то, что переполняет мою душу.

Я узнавала его тогда, познаю всю жизнь через его стихи, к которым без конца возвращаюсь, через рассказы о нём и мгновенные воспоминания, вспыхивающие в душе. Спасибо Наталье Громовой, которая расшифровала, прочитала его записные книжки, стопкой лежавшие на полке под буддами. Почерк у отца был великолепный, но в книжках этих почти всё неразборчиво. Отрывочные слова набегают друг на друга, обрываются на середине… Видимо, часто это писалось на ходу, на колене. Для себя, не для других.

Но сколько всего мне открылось благодаря этим записям! Я думаю, отец был одним из самых образованных и восприимчивых людей своего времени. Он всё принимал близко к сердцу. У него была очень обманчивая внешность, особенно в молодости, – высокий, широкоплечий, громкоголосый красавец с ослепительной улыбкой и гордо посаженной головой. А характер был мягкий, податливый, немного капризный, иногда он мог проявить малодушие. В чём-то он был рабом своей внешности – пытался ей соответствовать. Отсюда громоподобность его первых стихов и поэм. Знаменитая «Песня о ветре», «Лозовая», «Курсантская венгерка», «Большевикам пустыни и весны». На самом деле он был лирик, и это очень проявилось в его последних книгах.

И еще об одном мне хотелось бы сказать. Я недавно

прочитала книгу митрополита Антония (Храповицкого) «О Пушкине». Меня в ней поразила одна мысль. Автор пишет, что Пушкин был очень нравственным человеком, хотя жизнь вел во многом безнравственную. Но в стихах его билась живая совесть и высокая душа. Я подумала, что это можно отнести и к моему отцу, который никогда не лукавил в своем творчестве и если заблуждался, то искренне, а не ради карьеры и процветания. И за все срывы и ошибки расплачивался сполна.

Моё общение с ним было недолгим – всего восемь-девять лет, но это были годы юности, когда мне открывался мир, и я была бесконечно занята собой, своими проблемами, романами, выбором пути. От многого отмахивалась, многое не замечала.

Под конец его жизни мы очень сблизились, полюбили наши общения и беглые разговоры. Думаю, он даже стал нуждаться во мне – в притоке моей молодой энергии и моей восторженной любви.

В актив ЦДТ я попала почти случайно. Ненавижу эти советские словечки и аббревиатуры. Но именно так мы и говорили: «актив ЦДТ».

Какие-то незнакомые ребята прикрепляли кнопками к доске приказов объявление. Рядом с ними стояла наша завуч, моя родная тетя Эмма. «Значит, всё законно», – подумала я. Вокруг толпилось много народу, поскольку само по себе появление мальчиков в женской школе было событием.

Объявление гласило, что при Центральном детском театре создается «актив старшеклассников» и желающие могут прийти на собеседование в указанные дни и часы.

Объявление крайне заинтересовало меня, потому что к этому времени я уже была сумасшедшей театралкой и старалась всеми правдами и неправдами попасть на все спектакли, которые шли в Москве. Билеты тогда стоили сравнительно недорого. Маме нравилось моё увлечение, и она охотно давала мне деньги, выкраивая их из нашего более чем скромного бюджета. А тут, подумала я, может быть, появится возможность бесплатно ходить на спектакли. Я мечтала хоть немного приобщиться к волшебному миру театра.

В школе я никогда не подходила к тете Эмме, скрывая наше родство, о котором, само собой, все знали. Но тут не выдержала и робко спросила, могу ли я попробовать. Она снисходительно кивнула: «Отчего же не попробовать. Дело хорошее».

Совершенно не помню, как проходило собеседование, на которое я пошла с моей тогдашней приятельницей Ирой Калиновской. О чем-то нас спрашивали, на какие-то вопросы я, обмирая от страха, отвечала. Происходило это в педагогической части театра, которая вскоре стала нашим милым домом, куда мы приходили запросто, где нас приветливо встречали и всегда были нам рады.

Ира Калиновская, более бойкая, сразу понравилась, а меня приняли, по-моему, с ней за компанию.

Первое собрание вновь набранного «актива» проходило в фойе театра. Кроме педагогов, с которыми нам в основном предстояло иметь дело, пришел сам директор Шахазизов и любопытствующие актеры. Я смотрела во все глаза и слушала, боясь пропустить слово. Передо мной открылся новый мир. Не закулисье – это тоже будет, но потом, позже. А мир создателей искусства, тех, кто трудится, думает, ищет и находит. Лучше или

хуже – как придется. Они хотели быть понятыми и нужными. Об этом и говорилось в первую очередь на собрании – о том, что творческому коллективу очень важно наше мнение, что мы представители зала и юных зрителей, для которых и создавались спектакли.

Я ушла ликующая и подавленная одновременно. До сих пор никогда никого не представляла, только самое себя. А тут такая ответственность.

Но всё оказалось легче и веселее, чем я воображала. Мы дежурили на спектаклях – ходили между рядами, унимали шалунов и болтунов-говорунов. Иногда даже выводили из зала – успокоиться и остыть. Злостных хулиганов среди них не было. Просто на ребят в театре обрушивалось столько нового и необычного, что они как бы защищались этими выплесками энергии. Впрочем, помню, как однажды Андрей Передерий привел за шиворот в педчасть двух третьеклашек, которые стреляли по актерам из рогаток. Их не стали «прорабатывать», просто посадили на стулья, и они, притихнув, стали свидетелями повседневной жизни нашего актива. Кто-то рассказывал о новой прочитанной книге или увиденном фильме. Кто-то жаловался, как трудно дежурить, когда приходят целыми классами, без родителей. Педагоги не успевали за всеми следить. А кто-то просто мирно беседовал с друзьями или педагогами. Когда прозвенел звонок на антракт, хулиганов отпустили, сказав, чтобы они больше так не делали. Они смирненько вышли, а потом сразу мы услышали топот и ликующие крики – они помчались к своим делиться новыми впечатлениями.

Ох, эти антракты в детском театре! Очереди у буфета, беготня по фойе, время от времени вспыхивающие драки или просто возня. Мы крутились среди этого хаоса, покрикивали, успокаивали и чувствовали свою причастность к театру.

Но главным для нас были обсуждения спектаклей. Среди нас были блистательные ребята, замечательно умевшие говорить и анализировать. Игорь Мельчук, впоследствии всемирно известный лингвист, уехавший в Канаду. Стасик Токарев и Алик Шерель – журналисты. Ежик Амбатьелло – крупный хирург. Элла Леждей – киноактриса. Позже появился Миша Шатров, побывавший до этого вместе с матерью в ссылке, будущий знаменитый драматург. Обсуждения проходили живо, горячо, интересно. Создатели спектакля внимательно слушали нас, иногда спорили, не соглашались.

А еще были вечера поэзии, встречи с интересными людьми, капустники.

На один из таких вечеров я привела папу. Он сидел за

начальственным столом вместе с Сергеем Михалковым. Вечер был посвящен творчеству Симонова и Алигер. Я говорила о Маргарите Алигер и читала ее стихи. Папа на глазах расцветал от гордости и всё время кивал мне, чтобы немного успокоить, потому что я очень волновалась.

Боже, как давно это было и как светло и чисто мы тогда жили! Мы с ребятами очень подружились. Бесконечно бродили после театра по улицам и разговаривали. Все ведь жили в коммуналках, и Москва была нашим залом, кабинетом, комнатами. Нам ничего другого тогда и не нужно было. Некоторые дружбы я пронесла через всю жизнь. Витя Коршунов, Женя Лагутин, Андрей Передерий, ставший потом моим мужем и отцом моей дочери. До сих пор самая близкая моя подруга – Надя Аниканова, актриса, преподавательница в училище имени Щепкина.

Много мне дал этот театральный актив, чрезвычайно много, и я до сих пор с благодарностью и счастливым чувством вспоминаю те годы. Думаю, они во многом сформировали меня и определили судьбу.

39

Школу я окончила в 1952 году. Вопрос, куда идти дальше, встал задолго до этого. Одно время я романтически мечтала о географическом факультете МГУ. Мне хотелось путешествовать, открывать новые места, может быть, даже новые земли. Меня нимало не смущало, что они все уже открыты. Вокруг лежал огромный мир, а впереди огромная жизнь. Всё казалось возможным, достижимым, все трудности преодолимыми.

Все, кроме экзаменов. На географический факультет был большой конкурс, и нужно было сдавать предметы, в которых я была не очень сильна.

Потом возник в перспективе Полиграфический институт – редакторский факультет. Я даже ездила туда и узнала из разговоров поступающих, что огромное внимание обращают на грамотность. В ней я тоже была не слишком уверена.

Папа предлагал поступать в Литинститут, где у него были большие связи с довоенных времен, когда он там преподавал.

Я немного сочиняла в старших классах – стихи, рассказы, вела подробный дневник. Но, во-первых, мне тогда по наивности претил всякий блат. Хотела всего добиться сама. А во-вторых, а может быть, в главных, я так благоговела перед литературой и литераторами, что мне казалось, я недостойна учиться в таком

престижном и высоко чтимом мной учебном заведении.

Школа была окончена, а куда поступать, я так и не могла решить. И тут однажды, когда мы рассуждали на эту тему с моей подругой Надей Аникановой, ее сестра Майя Харол, учившаяся в Институте кинематографии на киноведческом факультете, сказала: «А у нас в этом году идет набор на сценарно-редакторское отделение. Не получится из тебя сценарист, будешь редактором. Хорошая профессия».

Я как-то сразу загорелась желанием попробовать. Кино я тоже очень любила. Оно занимало тогда огромное место в нашей жизни. Отечественных фильмов еще было очень мало, зато трофейные!..

Майя сказала, что сама отведет меня в приемную комиссию.

До ВГИКа я добиралась одна. Первый раз прошла, проехала этот путь, который потом стал таким привычным и родным – почти на всю мою жизнь.

С Майей мы должны были встретиться у фонтана, который и до сих пор стоит у левого крыла киностудии имени Горького. Он уже тогда не работал. Для студентов он был привычным местом свиданий и разговоров. С этим фонтаном многое связано для поколений вгиковцев.

Майю я увидела еще издали. Она обнималась и целовалась с каким-то молодым человеком.

– Твой друг? – осторожно спросила я, когда она подошла ко мне.

– Нет, так, знакомый. Просто давно не виделись. Он был на практике.

Это поразило меня. Свобода нравов мне была еще не знакома. Я сразу решила, что Наде об этом рассказывать не буду.

И мы вошли в здание института, который тогда помещался в нынешнем левом крыле студии. Новый корпус еще не был построен.

Меня сразу поразила какая-то легкость и свобода, которая была разлита во всём – во встречных юношах и девушках, в том, как весело приветствовали друг друга, перебрасываясь словами на ходу, в педагогах, которые запросто останавливали студентов и расспрашивали, как идут дела, как прошло лето. В школе я не привыкла к такому общению. Там всё было чинно и по распорядку. Здесь, казалось, все знали друг друга и радовались встрече. Меня это так пленило, что еще сильнее захотелось учиться именно здесь.

Через очень много лет я вспомнила это ощущение, когда мой внук, поступив на подготовительные курсы ВГИКа, серьезно и радостно сказал мне: «Наконец-то я попал в свою среду».

У меня тоже сразу возникло такое чувство и не оставляло все годы обучения.

Но в приемной комиссии я немного скисла. Оказалось, нужно пройти предварительный творческий конкурс – подавать рассказы, очерки, рецензии на фильмы. Я испугалась. Мне казалось, всё, что я написала, слишком незрело – для домашнего употребления, на радость родным и близким. К тому же меня спросили: «Сразу после школы? На сценарный мы предпочитаем брать людей с жизненным опытом».

Майя, стоявшая рядом, сказала: но ведь в этом году набирают на сценарно-редакторский.

– А, да, – как-то не очень уверенно согласилась женщина из приемной комиссии.

Но хоть я и не отличалась особым упорством и самомнением, желание учиться именно здесь уже засело во мне так глубоко, что я решила попробовать.

Поехала домой, перечитала всё мною написанное. Да, никуда не годится. Взяла чистый лист. Тема пришла сама. Я стала писать о жизни в эвакуации, на пограничной заставе. Не без задней мысли: доказать, что кое-какой жизненный опыт у меня всё же есть. Вспомнила историю побега задержанного диверсанта, тревогу, крик «в ружьё!» посреди сеанса. Многое нафантазировала, но кое-что вошло подлинное, какие-то невыдуманные детали и подробности той нашей жизни. Позже мастера мне говорили, что именно это и покорило их.

Написала я и рецензию, и очерк, совершенно не помню, о чём. Отвезла работы и документы и стала ждать с замиранием сердца. Ждать пришлось недолго. В назначенный срок позвонила в институт, и мне буднично сказали: вы допущены.

Экзамены я сдала как-то на редкость легко и хорошо. Обстановка была доброжелательная. К тому же почти все остальные абитуриенты школу окончили давно, и я даже помогала им – консультировала, подсказывала.

Самое забавное, что единственную четверку мне поставили за сочинение. Хотя тема была очень знакома и даже навязла в зубах: «Роман „Мать“ как произведение соцреализма». Я писала ее в десятом классе, потом на выпускных экзаменах. И оба раза получала пятерки. По какому-то странному наитию я даже захватила классное сочинение с собой. Это и сослужило мне плохую службу. Соблазн был слишком велик – я стала списывать. Первый и последний раз в жизни. Но так волновалась, что списала с ошибками. Не грамматическими, а, как мне сказали потом, – от невнимательности.

Все очень боялись собеседования с мастерами. Курс набирал

Евгений Иосифович Габрилович, педагогом был Илья Вениаминович Вайсфельд. Был еще кто-то, кажется, декан Юнаковский, сейчас уже точно не помню. Боялись мы зря. По ту сторону стола сидели интеллигентные, спокойные люди, смотревшие на нас заинтересованно и с юмором. Расспрашивали о жизни, допытывались, какое кино мы видели и любим, и почему. Высказывались о вступительных работах и этюдах, которые мы сочиняли на письменном экзамене.

Я вышла из аудитории окрыленная и впервые в жизни стала молиться, абсолютно не умея этого делать. Только твердила: «Господи, помоги. Я очень хочу у них учиться».

Господь услышал мою молитву – я была принята.

40

Но прежде была минута, когда я испугалась.

После всех экзаменов и собеседований абитуриентам предстояло пройти мандатную комиссию. Всё было очень торжественно. По одному вызывали в кабинет директора. Там собралось много народу. Зачитывали наши экзаменационные отметки. Выяснилось, что я вторая в списке успеваемости. Габрилович и Вайсфельд сказали несколько одобрительных слов. Задавали какие-то вопросы, сейчас уже не вспомнишь какие. И вдруг ректор Головня, пристально изучавший меня, неожиданно спросил:

– Вы от смешанного брака?

– Что? – не поняла я.

– У вас отец и мать одной национальности?

– Нет, мать еврейка.

Он удовлетворенно кивнул и кивком отпустил меня.

Уходя, я взглянула на своих мастеров. Они сидели, опустив головы.

В коридоре я прошла через толпу ожидающих вызова, не отвечая на их вопросы, вышла на улицу, и вдруг на меня навалился какой-то горький страх. Я почему-то чувствовала себя виноватой. В чём? Я ничего не утаивала, в анкете писала всё как есть. Мои документы лежали перед ним. Зачем ему понадобилось еще раз уточнять мое происхождение?

Но тут на улицу гурьбой вывалились ребята и, перебивая друг друга, радостно закричали: «Там списки вывесили, тебя зачислили! Пошли, обмоем!»

Я отказалась и поехала домой. Дома мама выслушала мой сбивчивый рассказ, вздохнула и сказала: «Забудь. Главное, что

тебя приняли».

И действительно, я скоро забыла.

Нужно сказать, я как-то ухитрилась прожить раннюю свою молодость вне этих страшных событий, которые волновали и мучили тогда нашу интеллигенцию, – космополитизма, антисемитизма, дела театральных критиков, травли Ахматовой, Зощенко. Недавно внук с недоумением спросил меня: «Как это ты ничего не помнишь? В сорок девятом тебе уже было шестнадцать». Мне стало неловко, я начала оправдываться. Во-первых, другая среда. Меня окружали учителя, врачи, домашние хозяйки. Их это затрагивало гораздо меньше. В школе, где завучем и директором были еврейки, не было ни малейшего намека на антисемитизм. В «активе» тоже. Мы жили своей бурной юной жизнью, внешние события нас как-то мало касались. К тому же мама, видимо, очень оберегала меня. Помню, как она обрывала отца, когда он о чём-то подобном заговаривал.

Еще помню, как незадолго до смерти Сталина, когда, как я теперь знаю, шли разговоры о выселении евреев, к нам заходила соседка Фаина Владимировна Швейцер и, плотно закрыв дверь, начинала что-то шепотом рассказывать маме. Мама сразу отправляла меня куда-нибудь с поручением, хотя я не прислушивалась к их разговорам, мне было неинтересно. Я была истовой комсомолкой, верила всему, что говорилось официально, и не очень интересовалась тем, что говорилось шепотом.

Единственное, что запомнилось, – дело врачей. Не то чтобы мы сомневались, но как-то всё это не укладывалось в голове, казалось странным, несовместимым с нашей жизнью. Но это было позже, когда я уже училась в институте и кое-что начинала понимать.

В общем, всё это меня, вероятно, не оправдывает. Но говорю честно, как было.

41

Нас набрали двадцать пять человек. По тем временам – очень много: мастерские обычно были десять, самое большее пятнадцать. ВГИК вообще был небольшим. Все друг друга знали. Как объяснили, наша мастерская такая большая, потому что в этом наборе объединили сценарное отделение и киноведческое. Хотели попробовать. Факультет в целом назывался сценарно-редакторский. Но больше этот опыт не повторяли.

Первое место в списке по оценкам принадлежало довольно взрослому человеку – лет тридцати, офицеру-моряку. Он сдал

экзамены на круглые пятерки. Мы его даже немного побаивались. Он производил впечатление очень серьезного, уравновешенного и ответственного человека.

Первое занятие мастерской состоялось в начале сентября. Габрилович начал с того, что попросил каждого рассказать о себе. Мы вставали и, пытаясь быть непринужденными, старались объяснить, что нас привело в институт и что бы мы хотели получить от него.

Когда дошла очередь до офицера, он поднялся, постоял, а потом неожиданно сказал: «Я, кажется, не туда попал». И при общем растерянном молчании повернулся и вышел из аудитории. Больше мы его никогда не видели.

Когда дело дошло до меня, я начала что-то мямлить. Евгений Иосифович перебил и спросил: «Кто ваши родители?» Я удивилась – вроде всё в анкете написано. Но, видимо, Габриловичу недосуг было листать наши анкеты. Ответила.

– А, Володина дочка, – усмехнулся он. – Ну-ну.

Что означало это «ну-ну», я не поняла. Вечером позвонила отцу. Он засмеялся: «Женька в своем репертуаре. Мы когда-то дружили. Вместе в РАППе состояли, вместе оттуда выкатились. Не поссорились, а просто отдалились. Это он так привет мне передал через тебя. Прекрасно он знал, чья ты дочка. Хотел, чтобы все это узнали».

Возможно, все узнали. Я, честно говоря, ничего не поняла в этих играх. По наивности хотела подойти к Габриловичу на следующем занятии и спросить напрямую. Но следующего занятия не было, нас послали на картошку. Вернее, на овощную базу, где мы проработали почти целый месяц. Евгений Иосифович был в это время на съемках фильма «Убийство на улице Данте», который М. И. Ромм ставил по его сценарию.

А когда в октябре начались регулярные занятия, я уже про всё это забыла. Да и он, вероятно, тоже.

42

Первые годы в институте вспоминаются как сплошное счастье. Было очень интересно учиться. Особенно после школы, где множество обязательных предметов казались мне ненужными, чуждыми. Во ВГИКе не было этой утомительной дисциплины, постоянных отметок и домашних заданий.

Конечно, следили за посещаемостью, но не слишком строго. Да и пропускать особенно не хотелось. Всё было внове, всё становилось открытием. Нам читали историю кино – русского и

зарубежного. Историю литературы, изобразительного искусства, операторское мастерство, редакторское дело, режиссуру. Конечно, были и марксизм, и политэкономия, и история философии, и иностранный язык, на которых мы по большей части скучали. Впрочем, нет: на истории философии было интересно. Ее вел отличный преподаватель.

Вообще тогда во ВГИКе работало много незаурядных лекторов. Как теперь понимаю, большинство из них было уволено из Московского университета в период «космополитизма». Наш институт считался более либеральным – киношники, что с них взять.

Больше всего запомнился Цирлин, читавший историю изобразительного искусства. Он был очень крупным и талантливым искусствоведом. Приходил на занятия с огромной папкой репродукций. Говорил блистательно, увлекательно, затрагивал вопросы, о которых мы даже не подозревали раньше. Нас слегка презирал. Мы, вероятно, казались ему невеждами, каковыми и были на самом деле. Я на курсе считалась самой продвинутой – ходила в музеи, на выставки, читала книги по истории живописи. Всех консультировала. Но на экзамене получила четверку: не смогла вспомнить автора одной картины, репродукцию которой он мне показал. И вообще отвечала скованно, потому что меня смущало выражение скуки на его лице. Ему было не до того, чтобы в нас разбираться.

Замечательная Ольга Игоревна Ильинская читала курс зарубежной литературы. Невысокая, хрупкая женщина с живым выразительным лицом, уже немолодая, как нам тогда казалось. Она не пользовалась никакими конспектами. Говорила свободно и вдохновенно. Невозможно было отвлечься. Это был талант, незаурядный и масштабный; но еще – другая культура, вернее, другой уровень культуры. Сейчас некоторые наиболее близкие мне ученики говорят, что я открываю им другой мир, прививаю иное мышление. Но я и другие такие же преподаватели – мы в подметки не годимся этим людям. Мы их жалкие подражатели, эпигоны. Как я жалею теперь, что не сблизилась с Ольгой Игоревной. Только издали восхищалась ею. Наши великие старики. Если я сейчас занимаюсь преподаванием, иногда почти через силу, то, в первую очередь, чтобы не прервалась связь поколений. Хотя она, пожалуй, уже почти прервалась. Восстановится ли? Не знаю.

Операторское мастерство читал Желябужский, начинавший еще в немом кино. Драматургию – Туркин, автор единственного до сих пор российского учебника по мастерству кинодраматурга.

А еще были просмотры. На нас обрушилось огромное

количество замечательных фильмов, о существовании которых мы тогда даже не подозревали. Их можно было увидеть только во ВГИКе.

Одно время просмотры шли беспрерывно. Входи в зал, садись и смотри с любого места.

Мне рассказывала Клара Исаева, одна из самых давних преподавателей института, что в ее студенческие годы заглянешь в зал, идет какой-нибудь иностранный фильм. Спросишь: «Кто переводит?» – отвечают: «Фрид». Так она никогда этого Фрида не видела на свету. А потом пронесся слух, что его арестовали. Это был замечательный Валерий Фрид, наш знаменитый драматург, писавший вместе с Юлием Дунским. Я потом с ними вместе защищала диплом, когда они вернулись из заключения.

Эти просмотры открывали нам в несравненно большей степени, конечно, чем виденные в кинотеатрах трофейные фильмы, новый мир, заманчивый и бесконечно притягательный. Хотя самое удивительное, что мы всё равно долго были уверены, что живем в самой лучшей стране, идем самым правильным путем. Что за колдовство, что за сумасшествие такое?

Несколько лет назад перечитала свой дипломный сценарий «Старше на десять дней» и поразилась его наивности и беспомощности. Сейчас мои ученики пишут гораздо интереснее и сильнее. Правда, по большей части очень подражательно. Не о себе, а о жизни, увиденной в кино или – что реже – прочитанной в книгах. Невероятных усилий стоит повернуть их хоть немного к собственным наблюдениям, мыслям, драмам сегодняшней жизни. То ли закрыты, то ли сказать нечего.

Первый год на занятиях по мастерству Евгений Иосифович появлялся редко. Вероятно, был занят, но, думаю, ему еще и просто скучно было слушать наши беспомощные этюды. Вёл занятия Илья Вениаминович Вайсфельд – доброжелательный, с чувством юмора, но казавшийся нам скучноватым. До войны он работал редактором на киностудии, имел большой опыт. В наше время целиком перешел на преподавательскую и исследовательскую работу. Писал книги по теории драматургии, руководил аспирантами.

Мастерством мы занимались медленно и основательно. Немые этюды, звуковые. Потом экранизации. К написанию оригинальных сценариев приступили, если не ошибаюсь, только на третьем курсе. Мне кажется это не совсем правильным. Лучше рисковать, будоражить, давать высказаться. Впрочем, сейчас на Высших курсах сценаристов и режиссеров, где я преподаю, мы тоже даем вначале небольшие задания. Они привязаны к лекциям, которые я читаю. Задания на диалог, описательную

часть, композицию и т. п. Но это продолжается сравнительно недолго, и вскоре начинается работа над полным метром. Правда, на курсы приходят взрослые, сложившиеся люди с высшим образованием. Как правило, им есть что сказать. А во ВГИК шли по большей части вчерашние школьники. Наш курс был исключением. Недавних школьников – два-три человека. Остальные успели поработать и кое-что повидать.

Самым талантливым и интересным человеком у нас был Юниор Шилов, бывший актер, игравший в театре, снимавшийся в кино. Он уже имел семью – был женат на Анне Шиловой, которая вскоре стала знаменитым диктором на телевидении. Евгений Иосифович его очень любил, даже, можно сказать, почитал. В Юне, как мы все его звали, была какая-то отдельность талантливого человека. Он не сторонился остальных, охотно принимал участие в наших вечеринках, ходил со всеми на ВДНХ, где мы прогуливались, а если были деньги, даже посиживали в кафе. Но всё равно оставался закрыт, молчалив и недоступен. Я одно время была отчаянно влюблена в него. Он снисходительно позволял себя обожать, никогда не становясь ближе, даже дружественнее. К сожалению, он так ничего выдающегося не создал в кино, хотя нам всем казалось, что для этого рожден. Один-два фильма, снятые по его сценариям, прошли незамеченными. Кажется, он сильно пил. Я как-то потеряла его из виду после окончания института. Прошло много лет, и мы оба оказались на семинаре в Болшево. Там у меня началась взаимная любовь с одним замечательным человеком, который дорог мне до сих пор, несмотря на мой возраст и на то, что мы не виделись уже много лет. И вдруг ко мне в номер заявился Юня и устроил нечто вроде сцены ревности. Честно говоря, я была просто ошеломлена. Юношеское чувство к нему давно ушло. Я успела побывать замужем и разойтись, жила своей отдельной жизнью, которая с его почти не соприкасалась.

Нет, не буду углубляться в это. Личная жизнь есть личная, моя. Она никого не касается.

Теперь Юна уже нет в живых. Я была на его похоронах и с печалью думала об этой странной, несостоявшейся судьбе. Впрочем, я таких судеб знаю немало. Блистательные студенты, на которых возлагались большие надежды, гасли, терялись. То ли тогдашний кинематограф их не принимал, то ли им не хватало среды, энергии, внутренней силы.

Остальные ребята у нас были какие-то средние – и не бездарные, и не талантливые. Имею в виду тех, кто остался и доучился. Очень много народу отсеялось по разным причинам. Кто не проявил себя, кто не справился с нагрузками, а несколько

человек отчислили со скандалом по так называемым «бытовым» статьям. Например, один оказался двоеженцем. О нём даже был большой фельетон, кажется, в «Комсомолке». Другой напился и попал в милицию. Причем не просто напился, а залез в грузовик с бетоном и заснул. Его с трудом оттуда достали – чуть ли не вырубать пришлось.

Короче, зачислили на курс двадцать пять человек, а окончили институт девять.

Из этих оставшихся сценаристами в полном смысле слова не стал никто. И я в том числе. У нескольких человек снято по одному-два фильма, прошедших незаметно. Большинство пошли работать редакторами на киностудии. Другие перебивались случайными заработками – заключали договора, которые потом расторгались на втором-третьем варианте. Дорабатывали чужие сценарии, пописывали в газетах.

Впрочем, есть один человек, который регулярно пишет сценарии и так же регулярно получает за них первые премии на различных конкурсах. Но большинство этих сценариев не поставлено. На мой взгляд, он очень талантлив. Просто не пробивной человек. И вдобавок живет в Саратове, а чтобы стать действующим сценаристом, надо жить в Москве или в Питере, в крайнем случае в Екатеринбурге – там, где есть студии художественных фильмов. В Саратове же только документальная. Юра Чибряков, о котором я говорю, много работал в документальном кино, много и успешно. В том числе и как режиссер. Мне кажется, несмотря на возраст, он себя еще проявит. Я надеюсь.

43

В институте существовало научное студенческое общество. Никакой наукой оно не занималось и вообще было сплошной фикцией, но, вероятно, нужно было время от времени отчитываться о проделанной работе. Поэтому однажды решили организовать конференцию, посвященную Китаю, с которым мы тогда очень дружили.

Доклады распределяли волевым порядком. Я училась на третьем курсе. Меня вызвали в комитет комсомола и поручили сделать сообщение о китайской литературе. Честно говоря, в китайской литературе я разбиралась примерно как в китайской грамоте. Но отказываться от поручений не было принято, и я отправилась в библиотеку.

Может, не там искала, но сведения, которые удалось найти,

были довольно скупы. Поэтому я так обрадовалась, когда мне попалась в одном журнале небольшая заметка о творчестве поэта Ху Фына. Она была живо написана и заканчивалась переведенным на русский язык четверостишием, посвященным Маяковскому. Что-то вроде: «Маяковский, брат мой, протяни мне на дружбу руку»… и тому подобное.

Я добросовестно переписала в ученическую тетрадь всё, что удалось отыскать. Почему-то не оказалось с собой ручки, и записи пришлось делать карандашом.

На конференции царили тоска и скука. Я честно отбарабанила сообщение, но поскольку литература – дело более живое и доступное, чем, скажем, промышленность или государственное устройство, то я имела некоторый успех, который недорого стоил. Потом о конференции все благополучно забыли, и жизнь потекла своим чередом.

Начались каникулы.

Я собиралась уезжать и с утра отправилась на вокзал покупать билет. Отстояв положенное и получив желаемое, счастливая, вернулась домой. Но там меня поджидало неожиданное в лице пожилого институтского курьера, провонявшего всю нашу коммунальную квартиру чудовищным самосадом. Оказалось, он ждет меня уже несколько часов, меня велено немедленно доставить в институт, для чего выделена даже директорская машина, которая стоит во дворе тоже уже несколько часов.

Спешка была столь велика, соседи столь взволнованы, что мне даже не удалось переодеться, и я, как была, в сарафане и стоптанных босоножках отправилась в институт, теряясь в догадках, зачем и кому понадобилась так срочно.

Не успела я ступить на первую ступеньку лестницы, ведущей к кабинету ректора, как сверху раздался возглас: «Голубкина приехала!» Кто-то подхватил его и передал дальше. И пошло греметь по всему институту: «Голубкина приехала!», как будто я была важным гостем, который решил осчастливить всех своим приездом.

В кабинете тогдашнего ректора Николая Алексеевича Лебедева, куда меня проводил добросовестный курьер, толпилось много народу. Я успела заметить только проректора профессора Генику: он без пиджака, в рубашке, рукава которой выше локтя были схвачены резинками, рылся в подшивках газет.

Когда я вошла, все повернули голову в мою сторону и замолчали.

– Так, – сказал Геника. – Объявилась. И где вы всё это время пребывали?

– За билетом на вокзале стояла, – ответила я, ничего не понимая. – На практику собираюсь.

– Вы делали доклад о китайской литературе? – спросил Лебедев.

– О какой литературе?

Это событие совершенно выпало из моей памяти.

– На конференции НСО.

Тут я вспомнила – и почему-то испугалась.

– Мне комитет комсомола поручил, – на всякий случай стала я оправдываться.

– А где вы материалы брали? – вмешался Геника.

– В библиотеке. Книгу читала о китайской литературе. Журналы всякие.

– А про поэта Ху Фына?

– В «Новом мире».

Они переглянулись.

– В каком номере, помните?

Я назвала, память была хорошая.

И тут, наконец, всё разъяснилось.

Оказывается, журнал «Искусство кино» опубликовал на последней странице маленькую заметку «В научном студенческом обществе ВГИКа». А так как о промышленности и государственном устройстве много не напишешь, то большую часть этого сообщения составляла цитата из моего доклада, заканчивающаяся стихами Ху Фына.

Ни в репортаже, ни в цитате не было ничего крамольного, но дело в том, что за время, прошедшее со дня конференции (март) до публикации в «Искусстве кино» (май), в Китае развернулось движение под названием «Пусть расцветают все цветы». За столь доброжелательно поэтическим названием скрывалась очередная идеологическая кампания, и злополучный Ху Фын оказался главным критикуемым. Врагом номер один.

В результате китайцы прислали ноту нашему правительству, мол, в то время как мы боремся с неверным уклоном, вы восхваляете нашего идеологического противника.

По этому поводу созвали совещание в ЦК, куда мы немедленно едем держать ответ. Прямо сейчас. В Центральный Комитет партии. Мы – это Лебедев, Геника и я.

По дороге в машине царило гробовое молчание, прерванное всего один раз. Геника сказал со слабой надеждой, что, может быть, это другой поэт.

У китайцев в ноте он назван Ху Фэн.

Лебедев в ответ только вздохнул.

В проходной ЦК, где я была, естественно, первый раз,

выяснилось, что у меня с собой нет никакого документа. Лебедев и Геника отправились наверх одни, сказав, что договорятся, чтобы меня пропустили.

Я уселась на скамейку ждать. Голова шла кругом. События разворачивались слишком стремительно. Была середина жаркого июньского дня. Утром я еще ничего не подозревала и думала о самых простых вещах – достану ли билет, что взять с собой в дорогу.

В проходной было прохладно, из окошка на меня, скучая, смотрели какие-то ребята в военной форме. Я оцепенела, почти задремала.

По лестнице стремительно спустился молоденький ладный лейтенант.

– Кто здесь Голубкина? – звонко спросил он.

Я встала.

– Приказано вас сопроводить.

Мы вознеслись на лифте в какие-то, как мне показалось, заоблачные высоты, прошли по коридору и остановились у двери, на которой я успела прочесть, что это кабинет П. К. Пономаренко. Сердце мое дрогнуло. Это имя знала даже я.

– Наконец-то, – с укором воскликнула симпатичная секретарша. – Сколько можно вас ждать.

Я стала что-то бормотать в свое оправдание. Лейтенант распахнул передо мной дверь, и я вошла в кабинет, заполненный людьми. Среди сидящих я увидела Ромма, Дзигана, Герасимова и еще каких-то известных, которых раньше видела только на трибунах или в коридорах ВГИКа.

Секретарша, проскользнувшая передо мной, доложила:

– Пантелеймон Кондратьевич, Голубкина.

И тут я встретилась взглядом с хозяином кабинета. Он сидел за необъятным столом отдельно от всех и хмуро разглядывал меня.

В этот момент я увидела себя его глазами – девчонка в сарафане, в разбитых босоножках. Косы сколоты «корзинкой». На лице испуг, недоумение и некоторая тупость. Он вздохнул.

– Садитесь, – указал он мне на стул, стоявший прямо против стола. Я села, больше всего озабоченная тем, чтобы глубже запрятать босоножки. – Что же это вы, Голубкина, нас всех так подвели? Вы хорошо знаете китайскую литературу?

– Совсем не знаю, – честно призналась я.

– Так почему вы взялись делать доклад? – загремел он.

– Мне комитет комсомола поручил, – уныло выдвинула я свою постоянную формулу.

Он продолжал обличать меня на повышенных тонах, а я вдруг

увидела Михаила Ильича Ромма, с которым мы были немножко знакомы, поскольку его студенты Чулюкин и Карелов на первом курсе снимали немой этюд по моему сценарию. Он сидел у распахнутого окна, через которое доносился далекий гул улицы, сидел, отвернувшись от всех, и плечи его тряслись от сдерживаемого смеха. И тут я с ужасом поняла, что сейчас тоже начну смеяться, что смех распирает меня, начинает душить изнутри.

Я поспешно отвела глаза и уставилась прямо в зрачки Пантелеймона Кондратьевича, уже налившегося кровью от раздражения, которое было тем сильнее, чем меньше он и все окружающие понимали, кому, собственно, оно адресовано.

Наверное, мой взгляд отрезвил его. Он замолчал, начал что-то передвигать на своем столе, потом спросил сердито:

– У вас есть тезисы вашего доклада?

– Есть. Целая тетрадка. Только она карандашом написана.

Он опять вздохнул, видимо, окончательно поняв, что имеет дело с полной идиоткой, и приказал:

– Принесите.

– Вам отдать? – добросовестно уточнила я.

– В проходной оставьте! – взревел он.

– Я могу идти?

– Идите. И больше никогда не делайте докладов о том, чего не знаете.

– Больше не буду, – поспешно заверила я.

Уходя, я еще раз взглянула в сторону Михаила Ильича. Он изнемогал от смеха.

Дверь за мной захлопнулась. Секретарша, не знавшая, что именно происходило в кабинете, приветливо мне улыбнулась. Лейтенант вскочил со стула, чтобы проводить до лифта.

В проходной я сочла нужным доложить военному в окошке:

– Я еще вернусь. Мне тезисы нужно принести.

Он посмотрел на меня с уважением. Или мне так показалось.

Крутанулась «вертушка», и я оказалась на жаркой московской улице, где шла нормальная летняя жизнь, спешили люди, которым было абсолютно безразлично, где я побывала, что со мной произошло.

Из автомата я позвонила отцу и коротко рассказала ему, что случилось. Он почему-то обрадовался и начал хохотать:

– Ну, Милка, так входят в историю. Надо же, ноту по твоему поводу прислали! Всё, скоро прославишься. Приезжай, расскажи в подробностях.

– Мне еще тезисы нужно отнести, – грустно пожаловалась я.

– Какие тезисы?

– Ну, выписки из разных книг, журналов. Я боюсь, там ошибки и описки есть.

Он смеялся так, что у меня звенело в ушах. А потом вдруг озабоченно сказал:

– Если что нужно спрятать, собери и привези ко мне.

– Что спрятать? – не поняла я. – Нет у меня ничего.

Дома я отыскала тетрадку. Долго разглядывала исписанные карандашом неряшливые страницы, наконец свернула трубочкой, перевязала лентой, чтобы хоть как-то скрасить убогий вид. Отвезла, отдала суровому военному, уже другому, который долго не мог понять, чего я от него хочу.

Отвезла, отдала и забыла про это происшествие, потому что уже через несколько дней уехала на практику, а там началась другая, гораздо больше интересовавшая меня жизнь.

Тут бы и поставить точку. Но у давней истории оказалось продолжение.

Много лет спустя я попала в одну компанию, и за столом рядом со мной оказалась немолодая женщина, которую мне представили как сотрудницу журнала «Искусство кино». Вероятно, когда нас знакомили, фамилии не называли или произнесли невнятно. Мы разговорились, почувствовали взаимную симпатию.

Но тут кто-то из вновь пришедших увидел меня.

– О, и Мила Голубкина здесь!

Женщина встрепенулась и как-то по-иному на меня посмотрела.

– Вы – Голубкина?

– Да. А что?

– Если бы вы знали, как я когда-то вас ненавидела.

– Меня? Но почему?

– Да из-за вас сняли главного редактора нашего журнала, Ждана, меня понизили в должности, весь наш отдел перетрясли.

Оказалось, это она в далеком 55-м опубликовала злосчастный репортаж «В научном студенческом обществе ВГИКа», который ей принес кто-то из внештатных авторов.

Господи, от чего только не зависели тогда наши судьбы!

Иногда мне кажется, что всё это было не со мной. И вообще, было ли? Надо бы добраться до библиотеки и найти журнал с маленькой заметкой на последней странице, набранной самым мелким шрифтом.

Кстати, нашего ректора Лебедева тоже вскоре после того случая сняли, впрочем, кажется, к его большому облегчению. Он был киновед, достойный человек, автор многих фундаментальных исследований по истории советского кино, и ему было чем

заняться в жизни.

Как это всё было глупо. Но тогда не казалось таким уж смешным.

44

Новый, 1957 год, последний в жизни отца, мы встречали с ним и его женой Еленой Леонидовной – Майей на даче у поэта Николая Тихонова. Было много народу, шумно, весело. Меня посадили рядом с папиным шофером по прозвищу Волдодуй, производным от его имени Володя, вальяжным, даже немного напыщенным, но глуповатым. В семье его любили и слегка посмеивались над ним. Почему-то Тихоновы решили, что это мой муж, и когда дело дошло до раздачи новогодних подарков, нам поднесли шоколадного негритёнка, к которому прилагалась бумажка со стихотворным текстом: «Я негритёнок бедный Том – я буду охранять ваш дом». Я была несколько обескуражена. А отец принялся хохотать так, что звенела и сотрясалась люстра. Он долго меня дразнил потом и изводил этим стихом.

Впрочем, к великому моему горю, не так уж долго. Жить ему оставалось полгода.

Я пишу эти строки в Переделкино, в Доме творчества, в старом корпусе, где на первом этаже в 13-м номере в последние годы часто жил папа. Папа вообще любил число 13 и считал, что я недаром родилась именно этого числа, в декабре.

Сейчас, когда иду к корпусу, всегда смотрю на его окно. Когда отца не стало, ему было 56 лет. Даже еще не исполнилось, чуть меньше месяца не дожил. Умер 5 июня, а день рождения у него 1 июля.

Мой старший внук родился тоже 1 июля – в день восьмидесятилетия прадеда, едва ли не в тот же час, по словам Татьяны Александровны, папиной сестры. Естественно, его назвали Владимиром. Все находят, что он очень похож на моего отца, только не такой крупный и не такой громкоголосый.

У папы было три или четыре инфаркта. Один очень обширный, который его сильно напугал. Тогда-то он совсем бросил пить. Курить, по-моему, перестал еще раньше.

Раньше всегда утверждал, что когда выпьет, ему легче пишется. Но именно в последние годы, после того как перешел на трезвый образ жизни, написал, думаю, лучшие свои книги – «Солнцеворот» и «Синяя весна». А к тому же подготовил к печати «Середину века» – книгу поэм, большинство из которых им было написано еще в Ташкенте, в эвакуации. Она вышла уже после его

смерти.

Раньше, при жизни Сталина, их невозможно было опубликовать. Они затрагивали очень глубокие и острые темы – даже 37-й год. Я недавно перечитала и перепечатала на компьютере первые варианты этих «ташкентских» поэм. Еще не обработанные, несовершенные, но полные такой искренности, страсти, боли и взрывных раздумий, что мне стало жалко, что никто, кроме меня и еще нескольких человек, их не прочтет. Готовя к печати, отец их все-таки несколько пригладил, смягчил, округлил.

Будь я более энергичным и уверенным человеком, добилась бы, чтобы их напечатали. Может, в одной книге с позднейшими вариантами. Мне кажется, люди тогда многое бы поняли и про время, и про мощь его натуры и таланта, до конца не реализованных при жизни.

Впрочем, я прочла в «Антологии Серебряного века», изданной в 2007 году, тронувшие меня слова: «В послевоенных стихах Луговского раскрылась бездна неизвестных возможностей поэта. Его мускулистый и крылатый стих отличается огромным масштабом мысли».

Может, проживи он дольше, Россия обрела бы еще одного крупнейшего поэта. В нем было еще очень много силы. Планы его были грандиозны. Но Бог решил так.

Сейчас Луговской почти забыт. Молодые не знают его стихов. Даже те, кто причастен к литературе. Я дала одному из своих студентов, который числится поэтом, томик отца. Поэт был удивлен, долго держал книгу у себя – читал и перечитывал. А мне было грустно. Какой же ты литератор, если не знаешь тех, кто прошел этот путь до тебя, выстрадав право говорить о главном и важном.

Последний раз я была у них дома незадолго до их отъезда в Ялту. Папа был очень расстроен, даже подавлен. Накануне или за несколько дней до этого состоялась печально знаменитая встреча с литераторами на даче Хрущева. Когда Хрущев поносил Маргариту Алигер и вообще современную литературу – грубо, хамски, истерично. Попросту орал.

Папа повторял: «Всё возвращается назад. Второй раз я этого не переживу».

Мы утешали его как могли – я робко, Елена Леонидовна многословно и напористо. Ничего не помогало. Потом он прилег – заболело сердце. А мы с Еленой Леонидовной пили чай, о чем-то говорили. Но разговор не клеился. Она была встревожена. Я тоже. Я никогда еще не видела отца в таком состоянии.

Когда они уезжали, мы с Мариной Шаховской, моей

двоюродной сестрой, дочерью Нины Александровны Луговской – тёти Нины, – пришли на вокзал проводить. Но опоздали. Поезд уже тронулся.

Мы метались по платформе, а вагоны плыли мимо, всё убыстряя ход. И вдруг откуда-то, как мне показалось, сверху, раздался громовой отцовский голос: «Девки! Дуры! Коровы!» И знакомый хохот. На секунду мы увидели его в окне вагона, и он умчался от нас.

Вот так и получилось, что это были последние слова, которые я услышала от папы. Может, он был прав.

В самом конце мая стали поступать тревожные вести из Ялты. Первый сердечный приступ. Второй. Потом инфаркт. 5 июня его не стало.

В этот день я была в институте, хотя ходила туда уже редко – готовилась к защите диплома и сдаче госэкзаменов.

Мы стояли с ребятами в холле второго этажа, разговаривали, смеялись. И вдруг я увидела плачущую Марину. У меня оборвалось сердце.

– Дядя Володя умер, – сказала она.

Я не заплакала. Весть как-то не сразу дошла до моего сознания. Я даже глупо улыбнулась. Марина обняла меня и зарыдала в голос.

Ребята притихли. Вокруг нас стала собираться толпа.

Я взяла сестру за руку и вывела на улицу. Мы подошли к неработающему фонтану, месту вгиковских свиданий и задушевных разговоров, и сели на край. И вот тут меня прорвало. Теперь уже Марина утешала меня.

Любимый, даже обожаемый, единственный. Мой отец. Как я теперь буду жить без него, без наших нечастых, но всегда таких важных для меня встреч, без его ласковых глаз, точных, вовремя сказанных слов, без его громоподобного хохота и нашего тихого сидения вдвоем, когда он работал, а я что-нибудь читала, иногда с нежностью и любопытством поглядывая на него.

И вот живу. Уже больше полувека.

Были приливы и отливы. Иногда жизнь уносила меня. Я забывала и о потере, и о сиротстве. А теперь что уж говорить… Я сама прабабушка.

Но, как ни странно, ощущение близости не уходит, а даже возрастает. Когда мне бывает трудно, грустно, я беру книгу его стихов. Открываю наугад. Иногда промахиваюсь. Попадаю на что-нибудь патетическое. Но бывают такие совпадения, что сердце замирает.

Часто это сопровождается и горьким сожалением. Как мы все виноваты перед своими родителями, ушедшими от нас. Не

расспросили, обделили вниманием, не приласкались, не поняли. У меня это больше относится к маме, которая посвятила мне почти всю свою жизнь. Но и по отношению к папе есть эта непреходящая тоска – недосказанности, недоразгаданности, недопонимания.

Мы встречали его на аэродроме. Из Ленинграда прилетел тогдашний мой возлюбленный, на тот момент почти муж, Толя Вехотко. Мы сидели в автобусе около гроба, держась за руки. Я и сейчас благодарна ему за тот приезд и поддержку, хотя давно потеряла его из виду. Но тогда это было очень важно.

Прощание проходило в Доме литераторов. Народу было много. В какой-то момент я подняла глаза и увидела на хорах Роберта Рождественского и, кажется, Евтушенко. Они стояли, облокотившись на перила, и смотрели вниз. Никогда не забуду отрешенную печаль в их глазах.

Ко мне бесконечно подходили какие-то женщины, большей частью пожилые, или казавшиеся мне такими.

– Вы дочь Владимира Александровича? Как похожа!

Я понимала – это папины поклонницы. Или возлюбленные. Многие плакали, но как-то светло и нежно. Папа умел расставаться, оставляя по себе высокую память. В стороне стояла моя мама – одна из них, но прошедшая через всю его жизнь.

Было много речей. Я их не запомнила.

Хоронили на Новодевичьем кладбище, в старой части. Сейчас вокруг много могил, почему-то всё больше генералы. Тогда, помнится, было довольно пустынно.

Через несколько лет усилиями Елены Леонидовны поставили памятник – серый камень, на котором высечен его профиль, – работы Эрнста Неизвестного.

Все эти годы, прошедшие со дня папиной смерти, 5 июня мы приходим к этой могиле. Сначала нас собиралось очень много, потом всё меньше. А теперь только я со своими детьми и внуками и сын моей покойной сестры Маши с женой и дочкой.

Может быть, когда меня не станет, традиция эта закончится. Но это, наверное, не так уж важно. Останутся его стихи и поэмы. Останутся замечательные книги Натальи Громовой «Узел», «Все в чужое глядят окно», где папа – одно из главных действующих лиц. Такая незаурядная жизнь, такая личность не может пропасть бесследно. Я в этом уверена.

* * *

Из первой редакции поэмы Владимира Луговского «Алайский

рынок».

Здесь я сижу. Здесь царство проходимца.
Три дня я пил и пировал в шашлычных,
И лейтенанты, глядя на червивый
Изгиб бровей, на орден «Знак Почета»,
На желтый галстук, светлый дар Парижа,
Мне подавали кружки с темным зельем,
Шумели, надрываясь, тосковали
И вспоминали: неужели он
Когда-то выступал в армейских клубах,
В ночных ДК – какой, однако, случай!
По русскому обычаю большому,
Пропойце нужно дать слепую кружку
И поддержать за локоть: «Помню вас…»
Я тоже помнил вас, я поднимался,
Как дым от трубки, на широкой сцене,
Махал руками, поводил плечами,
Заигрывал с передним темным рядом,
Где изредка просвечивали зубы
Хорошеньких девиц широконоздрых.
Как говорил я! Как я говорил!
Кокетничая, поддавая басом,
Разметывая брови, разводя
Холодные от нетерпенья руки,
Поскольку мне хотелось лишь покоя,
Поскольку я хотел сухой кровати,
Но жар и молодость летели из партера,
И я качался, вился, как дымок,
Как медленный дымок усталой трубки.
Подайте, ради бога. Я сижу,
Поигрывая бровью величавой,
И если правду вам сказать, друзья,
Мне, как бывало, ничего не надо.
<…>
Я видел гордости уже немало,
Я самолюбием, как черт, кичился,
Падения боялся, рвал постромки,
Разбрасывал и предавал друзей.
И вдруг пришло спокойствие ночное,
Как в детстве, на болоте ярославском,
Когда кувшинки желтые кружились
И ведьмы стыли от ночной росы…
И ничего мне, собственно, не надо,

Лишь видеть, видеть, видеть, видеть,
И слышать, слышать, слышать, слышать,
И сознавать, что даст по шее дворник
И подмигнет вечерняя звезда.

45

В том же 1957 году я окончила институт.

Когда еще готовилась к защите диплома, Габрилович взял меня в свою сценарную мастерскую при Центральной сценарной студии. Условия работы там были замечательные. Полгода платили довольно большую зарплату. За это время мы должны были написать сценарий или хотя бы развернутую заявку. Если киностудия, заинтересовавшись, заключала с автором договор, то полученные в мастерской деньги вычитались из аванса. Если же нет – их, думаю, просто списывали.

Я написала заявку о молодом человеке, вчерашнем школьнике, который поступил в актерское училище, не имея к этому призвания: просто не хотел расставаться с девушкой, в которую влюблен. Оказалось, что он очень талантлив, хотя долго не решался связать свою судьбу с театром и всё собирался бросить училище, особенно после того как девушка вышла замуж за другого человека.

Заявка почему-то многим нравилась. Я прочла ее на объединении молодых драматургов, которым руководил в то время Леонид Данилович Агранович. Он отнесся очень одобрительно и показал нескольким режиссерам, в том числе Михаилу Швейцеру. Швейцер собрался отнести заявку на «Мосфильм», чтобы там заключили договор со мной, имея в виду, что сам Швейцер будет ставить. Но тут вышло правительственное постановление о фильме Абуладзе и Чхеидзе «Чужие дети», который обвинялся в *мелкотемье*. На студии сказали, что мы со своим актерским училищем попадаем в этот разряд, и отказали.

Где-то в сентябре срок моего пребывания в мастерской закончился, и я оказалась без работы, без денег, без ясных перспектив. Распределения на нашем факультете во ВГИКе тогда не было. Надо было пробиваться самой.

Последнее полугодие в институте мы практически не учились – писали дипломный сценарий. Изредка приходили на консультации, посмотреть новые фильмы, просто пообщаться.

В это же время прошло знаменитое комсомольское собрание, на котором исключали двух, к тому времени, кажется, уже

арестованных студентов сценарного факультета. Ребята дома записали на магнитофон довольно невинный капустник, прослушали и сразу стерли, но кто-то на следующее же утро донес, что некоторые шутки были непозволительно дерзкими. Об этой истории столько написано, что мне не хочется повторяться. Особенно выразительно недавно написала Наталья Рязанцева. Могу только прибавить, что на собрании выбрали комиссию, которая должна была писать письмо в ЦК. Разумеется, в защиту наших товарищей. Я вошла в ее состав. Но была допущена ошибка – за нас не проголосовали. Просто выкрикнули имена и подвели черту.

Вскоре нас стали вызывать по одному в комитет комсомола, где сидели незнакомые люди, так сказать, «в штатском». Меня спросили: «Вы собираетесь принять участие в написании письма?» Я ответила: «Конечно».

– А от чьего имени вы собираетесь его писать?

– От имени собрания, которое меня выбрало в эту комиссию.

– Но вас не выбирали. За вас не голосовали. Так что, получается, вы будете писать его от своего имени.

– Как это?

– А вот так. Подумайте хорошенько. Последствия могут быть самые неожиданные.

Я растерялась. Хоть и наступили новые времена, но страх жил во всех нас подспудно. Даже в тех, кто, как я, не сталкивался непосредственно с арестами и высылками.

Никакого письма мы не написали.

Тем не менее с членами несостоявшейся комиссии расправились по-тихому. Кого-то даже исключили из института. Под другим предлогом, разумеется.

На госэкзамене по марксизму-ленинизму я вытянула довольно простой билет, недолго собиралась с мыслями и пошла отвечать. Меня остановили: «Подождите».

Один из экзаменаторов вышел и вскоре вернулся с заведующим кафедрой марксизма-ленинизма или философии, не помню точно, как она называлась, и еще с какими-то преподавателями. «Отвечайте».

Мне почти не давали говорить. Вопросы сыпались со всех сторон. Я едва успевала поворачивать голову в сторону спрашивающего. Что-то все-таки упрямо лепетала, хотя подавлена была неимоверно.

Я получила тройку. Первую за всю свою жизнь в институте. Диплом с отличием мне теперь не грозил. Тем более что и за дипломный сценарий мне на защите поставили четверку. Это при неизменных пятерках за курсовые работы. Но тут были другие

причины. В госкомиссию вошел Сергей Александрович Ермолинский, к тому времени уже бывший моим родственником: Татьяна Александровна разошлась с предыдущим мужем и соединила судьбу с вернувшимся из ссылки, до войны очень известным, а к тому времени основательно забытым сценаристом.

Я мало знала Сергея Александровича. Тетке во всех этих перипетиях было не до меня. Отец, который ее очень любил и по-своему ревновал к новому мужу, отзывался о нем сдержанно, скорее – холодно.

Видела я Ермолинского один или два раза, но, узнав, что он вошел в комиссию, возликовала, уверенная, что уж родственник точно поддержит меня в моей тогдашней непростой ситуации, о которой он, впрочем, даже не подозревал.

А он неожиданно довольно резко выступил против сценария. Вернее, даже не против. Просто оценил его как посредственный.

Я была потрясена и жестоко оскорблена.

Евгений Иосифович после защиты грустно сказал мне: «Это он мне мстит за „Машеньку“». Я тогда ничего не поняла, но немного утешилась. Хоть какое-то объяснение.

Сценарий любимого тогда всеми, а теперь напрасно забытого фильма «Машенька» Габрилович и Ермолинский начинали писать вместе. Сергея Александровича арестовали. После ареста в титрах осталась только фамилия Габриловича, что было естественно по тем временам. Потом времена переменились. Но Габрилович никогда не восстановил истины. Не хочу судить никого. Не знаю, на какой стадии написания исчез Ермолинский. Может, Евгению Иосифовичу пришлось многое дописывать самому. Но мне кажется, справедливость требовала хоть какого-то упоминания, если не в титрах (возможно, титры в таких старых фильмах не подлежат переделке), то хотя бы в мемуарах, которые писал Евгений Иосифович. Или в прессе.

Но бог с ним. Нам сейчас не разобраться.

К тому же Габрилович был неправ. Когда я лучше узнала Сергея Александровича, то поняла, что мстить он никогда бы не стал. Это было ему совершенно не свойственно. Просто я написала по молодости лет, а может, и по отсутствию опыта и дарования, очень наивный, сентиментальный и вялый сценарий. И большей оценки он, конечно, не заслуживал.

46

Очень трудным был мой 57 год. Смерть папы. Расставание с привычной и милой институтской жизнью. К тому же – роман с

одним ленинградским режиссером. Поначалу такой радостный, потом странно и неожиданно оборвавшийся не по моей инициативе. До сих пор толком не понимаю, почему, хотя сейчас меня это, естественно, не волнует.

В тот же год мама ушла на пенсию, и мы оказались в положении полунищих людей. Впереди ничего не светило. Но не могу сказать, что я была в отчаянии. Молодость. Вера в будущее. А может, просто легкомыслие.

В конце ноября мы вдруг рванули с мамой на юг. Я – залечивать любовные раны. Она – получать удовольствие от заслуженного отдыха, впервые за много лет.

Отдых наш начался замечательно. Приехали в Сочи, сняли комнату у очень приятной семьи. Тепло. Беззаботно. Мы вдвоем. Никто не мешает. Мы давно не были с мамой вдвоем. Каждое лето я уезжала на практику. У сценаристов была такая оригинальная практика – по сбору материала. Каждый подавал от балды какую-нибудь заявку, пытаясь доказать, почему ему нужно поехать именно в это место. Я обычно выбирала что-нибудь далекое и экзотическое – Баку, целину, Иркутск (строительство ГЭС), Оку (места Паустовского). Нам оплачивали дорогу и давали по 50 копеек суточных. Мало, но все как-то устраивались. В Баку я жила на полном обеспечении у своих неродных родственников – брата мужа покойной тети Кимы. На целине работала в бригаде. В Иркутске – на тамошней документальной студии. На Оке – в городе Касимове нашлись знакомые знакомых. Они сняли мне комнату за гроши, доступные даже моему студенческому карману. Я жила у двух старушек-вдовиц, одна из которых приходилась другой свекровью. У обеих мужья погибли на войне. У старшей – и муж, и сын. У младшей детей не было. Вообще-то младшая, конечно, не была старушкой. Ей, вероятно, было чуть за сорок. Но она была такая сгорбленная, придавленная, бессловесная, что мне в мои двадцать с небольшим казалась тоже очень пожилой. Свекровь верховодила в доме. Жили они тихо. Младшая где-то работала, а старуха все время копалась в огороде. Я тоже жила тихо. Сходила в горком комсомола отметить командировку, съездила в какой-то пионерлагерь. Что еще делала – не помню. Тем более что жила я там недолго. Вскоре приехали мои друзья Юля Винер и Толя Якобсон, и мы отправились пешком от Касимова по Оке до Нижнего Новгорода, тогда именовавшегося Горьким.

Шли не торопясь, налегке. Лето стояло дивное, не жаркое. Ока – удивительной красоты. Помню рощу, густую, зеленую, насквозь пронизанную светом. Свет тоже казался зеленоватым. Мы там собирали грибы – сначала какие попадутся, потом только

белые. Их было несметное количество. Разожгли костер и варили грибы в котелке. Вкусно было невероятно. Мы даже ножки выбрасывали, варили только шляпки.

Заночевали в этой же роще. У нас было одно одеяло на всех. Мы его расстелили и сладко заснули под высоким звездным небом.

Чаще всего ночевали у бакенщиков на сеновалах. У них же подкармливались – покупали рыбу, которую ловить было запрещено. Но для них закон не существовал.

Удивительные были дни, вечера, да и ночи тоже. Тогда я впервые почувствовала всю красоту и прелесть природы средней России. Она запала в меня на всю жизнь. Не знаю, сохранилось ли что-нибудь сегодня. Думаю, Юля и Толя тоже с тоской и любовью вспоминали это путешествие в Израиле, где потом оказались.

Мы с мамой прожили в Сочи счастливо и безмятежно несколько дней. Гуляли, разговаривали, купались, хотя вода была уже холодноватая. И вдруг, зайдя на почту, я получила телеграмму от «Леннаучфильма», с которым у меня был договор на заказной короткометражный сценарий «Сорокалетие советского Красного Креста». В телеграмме говорилось, что я должна немедленно приехать в Ленинград, поскольку сценарий запускается в производство и нужно внести некоторые поправки. Выхода не было. Это был мой единственный на то время реальный заработок, да и обязательства перед студией и друзьями, устроившими мне этот договор, не оставляли выбора.

Мама это тоже понимала, хотя и очень огорчилась. Она осталась в Сочи одна и вскоре, не выдержав одиночества, вернулась в Москву.

47

А я отправилась в Ленинград.

На вокзале меня встретил институтский приятель Витя Рабинович, отвез к себе, в комнату, которую снимал в коммуналке. Потом поехали на студию, к Фриже Гукасян – в то время главному редактору студии. Съемки начинались буквально на следующий день. В кино всё срочно. Вернее, может тянуться месяцами и годами, а потом – немедленно! Ни секундой позже! Мы сразу засели за работу.

Я каждый день ходила на студию, наблюдала за съемками. Впервые тогда непосредственно соприкоснулась с производством. Хотя это было, конечно, не похоже на съемки игровых картин. Снимали в основном документы, фотографии, иногда интервью с

деятелями Красного Креста. Но всё равно очень интересно.

Один раз к нам в павильон зашел актер, поздоровался с Фрижей. «Здравствуй, Кеша», – ответила она. Когда ушел, пояснила: «Это Кеша Смоктуновский. Хороший актер, способный. Думаю, у него большое будущее». Мне тогда имя ничего не сказало, но запомнилось лицо его, необычное и привлекательное. Он подрабатывал на «Леннаучфильме», что-то озвучивал.

Я пробыла в Ленинграде довольно долго. Жила в гостинице, которую оплачивала студия. Много ходила по театрам, бывала в Доме кино. Перезнакомилась со множеством людей, новых и интересных для меня, в том числе со сценаристом Димой Гиппиусом, племянником знаменитой Зинаиды Гиппиус. В его старой петербургской квартире, сохранившей уют дореволюционного времени, был даже камин, который мы часто зажигали, потому что начались холода и я дико мёрзла в промозглом ленинградском воздухе в своем южном одеянии. Потом, впрочем, мама с оказией прислала мне дубленку, купленную на первый в моей жизни гонорар за «Красный Крест». У нас с Димой даже начался небольшой роман, который вскоре, впрочем, кончился. Когда я вернулась в Москву, мы некоторое время перезванивались и переписывались, потом всё само по себе заглохло.

Деньги за сценарий тоже закончились довольно быстро. И я приняла смелое, романтическое и дурацкое решение – завербовалась на Хабаровскую студию документальных фильмов. Списалась с ними, они подумали, ответили: «ну, приезжайте».

Надо было получить направление и оформить документы в Комитете по кинематографии. Я отправилась туда и в коридоре столкнулась с Доугеровым – начальником Сценарной студии, той, где я писала сценарий про актерское училище. «Что тут делаешь?» – удивился он. Я рассказала. «Ты дура наивная, – сказал Доугеров. – Куда ты попрешь за тридевять земель, девчонка, ничего еще не умеющая, не знающая? Пойдешь ко мне работать. У меня есть свободное место редактора. Завтра приходи оформляться».

Так решилась моя судьба.

На всю жизнь благодарна этому человеку, хотя потом потеряла его из виду, не знаю, что с ним стало.

48

Основная задача Студии заключалась в том, чтобы помогать со сценарными проблемами периферийным, в основном

республиканским студиям. После многих лет сталинского «малокартинья» начался буйный расцвет кинематографии. Пришли молодые люди, которым было что сказать, которые хотели говорить и рвались к экрану. Но не хватало умений и опыта именно в кинодраматургии. Столичные сценаристы охотно шли на контакт, выезжали в республики. Оттуда тоже постоянно приезжали люди.

Я тогда очень подружилась с армянскими кинематографистами – главным редактором «Арменфильма» удивительным человеком Акопом Салахяном, редактором Левой Нерсесяном, режиссером Лаэртом Вагаршаном. Для меня открылся мир иной культуры, иной жизни.

Никогда не забуду одну сцену. Это было в гостинице или дома у кого-то из московских армян. Акоп только что приехал. Вокруг него всегда собирались люди, он притягивал своим обаянием, добротой, неординарностью. И на этот раз общество собралось замечательное: совсем молодой академик-математик, писатели, киношники. Выпивали – Акоп привез какие-то дивные армянские вина, – разговаривали. Спорили, бурно жестикулируя. Я поначалу стеснялась, потом как-то освободилась, освоилась.

И вдруг несколько человек вышли на середину комнаты, положили друг другу руки на плечи и пошли по кругу в удивительном танце, пластичном и красивом. Куда девалась их суперинтеллигентность? Кто из них был академик, кто известный поэт? Это были парни с гор, стройные, чуть диковатые, невероятно привлекательные. Я глаз не могла оторвать.

Обстановка в Сценарной студии была творческая, разумная, спокойная. В художественном совете состояли М. И. Ромм, И. А. Пырьев, А. Я. Каплер. Редакторами работали замечательная Людмила Белова, Ада Репина, Лена Черных.

Хорошо помню первое обсуждение сценария, на котором присутствовала. Я, конечно, прочла его предварительно и поразилась тусклости, дилетантизму и какой-то наигранной бодрости. Написал его довольно известный по тем временам сценарист. Я была уверена, что худсовет, на котором присутствовали Габрилович, Ромм, Каплер, еще кто-то из мастеров и редакторы, разгромит и сурово осудит произведение.

И вдруг с первых же слов сценарий начали хвалить – вяло, без энтузиазма, но общая оценка была положительная. Я была потрясена. Я привыкла к нашим вгиковским беспощадным обсуждениям и сценариев и фильмов по гамбургскому счету. Выступления членов худсовета сбили меня с толку. Сначала решила, что ничего не поняла в сценарии, что там скрыта какая-то тайна. Но, вслушиваясь в отзывы, так и не могла уловить, что

же всем нравится.

Дело шло к концу, собирались закругляться, и тут я поняла, что если промолчу и не выскажу своего мнения, то навсегда останусь соглашателем и потеряю уважение к себе.

Я попросила слова, умирая от страха и волнения. Все с удивлением посмотрели на меня – девчонку, вчерашнюю студентку, которой полагалось сидеть в углу, помалкивать и благоговейно слушать. Но слово дали. Я высказала всё, что думала. Закончила, села и почувствовала, что силы оставили меня. Готова была к резкому отпору, даже окрику.

Наступила тишина. И тут Михаил Ильич Ромм, закуривая очередную сигарету, усмехнулся: «А ведь она права».

Сценарий не приняли. Сценарист ушел раздраженный и мрачный.

После окончания заседания Даугеров сказал: «Не зря я взял ее в редакторы». А Евгений Иосифович подошел ко мне: «Молодец. Я тобой горжусь».

У меня до сих пор сохранилась где-то записка Левы Нерсесяна, который проходил стажировку на студии. Что-то вроде «дала ты им по мозгам, так и надо».

Потом мне объяснили редакторы, что автор – славный человек, приятель большинства членов совета, им было неудобно ругать его публично.

Впоследствии я тоже научилась лукавить и говорить обтекаемо. Без этого в кино, особенно в те времена, когда все знали друг друга, не обойтись. Одно дело, когда говоришь наедине с автором. Тогда можешь быть и жесткой, и беспощадной. А когда собирается много народу, приходится щадить самолюбие создателей, людей творческих, нервных, уязвимых. Всё равно окончательные решения принимаются не на обсуждениях и зависят от очень многих обстоятельств.

Впрочем, в кинообъединении «Юность» на «Мосфильме», где я потом работала, царила атмосфера строгой правдивости и нелицеприятия во многом благодаря главному редактору Александру Хмелику. И там не приходилось ломать себя и лицемерить. Но об этом я еще расскажу.

А потом, спустя много лет, я получила еще один урок, который окончательно утвердил меня в необходимости быть честной. Очень немолодой драматург дал мне прочесть свой сценарий. Как оказалось, совсем слабый. Но было жаль огорчать старика. И я слукавила. Сказала, что сценарий милый, но наше объединение закрывается – что было чистой правдой – и взять сценарий мы не сможем. Вскоре меня назначили главным редактором в другое творческое объединение, худруком которого

был режиссер Л. О. Арнштам. И первым из авторов, кто пришел ко мне, был тот старик, уверенный, что раз мне понравился сценарий, я возьму его в это объединение. Пришлось падать в ноги Льву Оскаровичу, чтобы он отказывал старику от своего имени. С тех пор я уже никогда не кривила душой.

49

В Сценарной студии я проработала меньше года. Ее закрыли – по какой причине, сейчас уже не помню. За многие годы работы в кино я привыкла к тому, что приказы начальства не только не обсуждаются, но и не обосновываются. Решили – значит, надо было. Но тот год не прошел бесследно в моей жизни.

Я не только познакомилась и соприкоснулась со многими интересными людьми, не только научилась азам редакторской профессии, которая, правда, казалась мне случайной в моей судьбе, но и увидела изнанку кинематографического процесса.

Нас время от времени приглашали на обсуждение сценариев и фильмов на главную сценарно-редакционную коллегию министерства или комитета, теперь уже не упомнишь, столько раз это учреждение меняло свое название.

Никогда не забуду одно из первых обсуждений, на котором присутствовала. Собралось довольно много народу, но я сразу обратила внимание на очень красивую и модно одетую женщину. Тогда принято было носить пышные юбки на чехле с оборками. Я прямо впилась в нее глазами, изучая покрой и цветовую гамму. Женщина была хороша собой. Юбка подчеркивала ее тонкую талию и стройную фигуру. Оказалось, это – главный редактор коллегии Ирина Александровна Кокарева. Тут я совсем рухнула: неужели такие начальники бывают?

Обсуждение шло своим чередом, вяловатое, спокойное и немного невнятное. Я читала сценарий. Он не казался мне интересным. Но и особых сомнений не вызывал. Что тогда называлось – «проходной».

Последней слово взяла Кокарева. Ей по должности полагалось подвести итог – принять, вернуть сценарий на доработку или отказать. Она встала. Я снова восхитилась – хороша!

И вдруг она понесла такое, что я просто обомлела. Она громила сценарий с партийных позиций. Обвинила автора в клевете на советскую действительность, в искажении образа советского человека, придираясь к каждому сюжетному повороту, чуть ни к каждому слову.

Сценарий по ее предложению вернули на доработку. Все разошлись спокойные и удовлетворенные. Одна я кипела от негодования и недоумения.

Кто-то – кажется, Елена Абрамовна Магат, редактор нашей студии, – пыталась меня успокоить: «Она всегда такая. Ее должность обязывает. Всё равно решать будут в другом месте».

Вскоре я поняла, что коллегия часто перестраховывается. Их поставили блюсти идеологию. И они блюли. Если автор и режиссер оказывались настойчивыми, умели заручиться поддержкой какого-нибудь высокого начальства, то после доработок и переработок сценарий в конце концов запускался в производство. Но сразу – почти никогда. Редакторы отрабатывали зарплату. И так было всегда. В разные периоды по-разному, но почти не помню случая, чтобы принимали без поправок.

Поражало и другое – обстановка, в которой принимались фильмы. Обычно это происходило в «директорском» зале на четвертом этаже. Начальство сидело на последнем ряду у самой стенки, прямо под окнами кинобудки.

Заканчивался просмотр, зажигался свет, и все поворачивались к руководству. Кресла в зале были неподвижные. Поэтому приходилось выворачивать корпус, тянуть шею – поза незабываемая и какая-то унизительная.

Когда начиналось обсуждение, каждый выступающий вставал – лицом к начальству, спиной ко всем остальным, включая создателей фильма. Было что-то отвратительно подобострастное в этой мизансцене.

Режиссер во время обсуждения стоял сбоку около стены, чтобы хоть так не сливаться со всеми и всех слышать. Потом, когда я уже работала на киностудии, я тоже стояла у стены – из солидарности.

Боже, как это было страшно и грустно – видеть эти спины, непроницаемые лица начальства, слышать эти голоса. Всё, над чем ты бился, чему отдавал силы, вдохновение, время, испытывая радость созидания, становилось игрушкой, мячом в руках этих чужих людей, способом выслужиться. Разные, конечно, бывали сдачи фильмов, разные времена и разные люди. Но в целом осталось именно такое впечатление.

Забегая вперед, расскажу еще одну историю. Прошло много лет. Настали другие времена. Шел семинар редакторов в Доме творчества в Болшево. Люди съехались со всего Союза. В один из дней на заседание прибыло руководство – Б. Павленок, тогдашний заместитель министра, Д. Орлов – главный редактор. Еще кто-то. Мы – несколько человек, в том числе замечательный Александр Хмелик, договорились дать им бой, высказать всё, что

накопилось на душе. Даже распределили роли – кто какую тему затронет, в каком порядке будем говорить.

Первой выпало выступать мне. Подхватить должен был Хмелик.

Я очень волновалась: выступления, речи – не моя стихия. Говорила горячо и, наверное, сбивчиво. Среди прочего сказала об атмосфере обсуждения фильмов. Это было в самом конце, Саша Хмелик даже уже встал, чтобы продолжить.

Но тут меня перебил Павленок. Он зацепился за, в общем-то, неважное в свете остального разговора. Сказал, что они учтут замечание об унизительности мизансцены и будут впредь обсуждать фильмы не в зале, а в другом помещении.

Остального он как бы не услышал. Начал говорить пространно и многословно о положении в кино вообще, о роли редактора. Приводил примеры, описывал случаи, произошедшие на различных студиях страны, в том числе на периферийных. Говорил долго и обстоятельно.

Хмелик стоял, стоял, потом сел, чувствуя, что разговор пошел совсем по другому руслу. Тем более что редакторы из провинции принялись задавать вопросы, возражать, выяснять что-то важное для них. В общем, другим из нашей команды так и не удалось выступить.

Мы потом долго восхищались, обсуждая между собой эту встречу с начальством. Восхищались их невероятным умением свернуть разговор, почувствовав опасность. Их хитростью, ловкостью, фантастическим умением уходить от острых ситуаций.

50

Когда закрыли Сценарную студию, нас всех пристроили, кого куда.

Меня определили на телевидение, в редакцию внутрисоюзного обмена. Это было странное учреждение. Занималось тем, что рассылало по периферийным студиям телевизионные сценарии и передачи, сделанные в центре. Приходилось много читать и смотреть большей частью малоинтересные произведения. Единственное, что запомнилось – поездка в Челябинск для просмотра спектакля, поставленного в местном театре заезжим ленинградским молодым режиссером. Надо было решить, записывать ли спектакль на пленку для показа на ЦТ и рассылки по другим телестудиям. Я горячо поддержала эту идею.

Ни за что бы не пошла на такое скучное место. Попробовала бы искать другую работу, хотя это тогда было нелегко, или уйти на вольные хлеба и писать. Но еще во время пребывания на Сценарной студии я вышла замуж и ждала ребенка. Надо было где-то получить декретный отпуск. На телевидение меня трудоустроили официально, и они не могли меня не взять. А в других местах вряд ли что-нибудь светило.

В апреле 1959 года я родила сына Владимира. Декретный отпуск тогда был небольшой – два месяца до родов и два после. Но разрешалось взять около полугода за свой счет. Я и взяла, как ни трудно было материально. Таким образом, из полутора лет на телевидении десять месяцев я отсутствовала. Я очень тосковала на этой работе. Но судьба оказалась ко мне благосклонной. В марте 1960 года меня неожиданно пригласили работать на киностудию «Мосфильм».

Оглядываясь на прожитую жизнь, я заметила, что всё хорошее ко мне приходит помимо моих усилий, как-то само. И наоборот, если я начинала хлопотать, чего-то добиваться – всё срывалось, не получалось.

У меня были знакомые и друзья, которым всё доставалось через борьбу, например, замечательная человек и режиссер Ина Туманян. Наверное, это были более достойные люди, чем я. Они знали, чего хотели, и добивались этого. Мною же как будто кто-то руководил свыше и руководил мудро. Мне кажется, я всю жизнь занималась именно тем, к чему была приспособлена. Я благодарна своей судьбе и своей жизни. И даже в тех немногочисленных случаях, когда казалось, что всё идет неправильно, когда обрывалась одна полоса жизни и начиналась другая, поначалу представлявшаяся худшей, – оказывалось, что она лучше, интереснее. Об этом замечательно сказала Лиля Лунгина в фильме Олега Дормана «Подстрочник», не буду повторяться.

На «Мосфильм» меня пригласил Александр Лукич Птушко, с которым я не была знакома. Он создавал объединение детских и юношеских фильмов, набирал команду редакторов. Установка его была – молодые, не хлебнувшие студийной рутины. Кто-то, кажется, режиссер Володя Бычков, сказал: «А вот была одна, я с ней учился, правда, где она сейчас, не знаю». Но для Птушко, или Лукича, как мы потом его между собой звали, не было ничего невозможного. Он позвонил Габриловичу, навел справки обо мне в других местах, потом дал команду, и меня разыскали.

Когда я предстала перед ним, обрадованная и недоумевающая, Лукич на какое-то мгновенье заколебался, несмотря на свою установку: «Уж больно молода». А было мне в

то время двадцать шесть. Но, вероятно, я выглядела моложе и более сконфуженно, чем полагалось редактору на такой студии, как «Мосфильм». Хотя незадолго до этого туда уже был высажен десант вчерашних вгиковцев – Леонид Нехорошев, Анатолий Степанов, Валентин Карен, Алексей Грошев и, кажется, Никита Орлов.

Все-таки мы как-то сговорились с Александром Лукичом, и я стала работать в объединении. Одновременно со мной пришли Наталья Лозинская и Светлана Бахметьева.

Так определилась моя судьба на долгие годы, хотя я полагала тогда, что на время. Я всё еще мечтала писать сценарии и наивно верила, что у меня получится. Но сын был совсем маленьким, меньше года. Муж-художник зарабатывал мало, картины его никто не покупал, хотя он был человек одаренный и трудолюбивый. Два раза в месяц он откладывал этюдник, с которым обычно не расставался, и расписывал пластмассовые тарелки. Делал это виртуозно. Сначала ладонью, которую окунал в разведенную краску, наносил фон, потом рисовал какой-то незамысловатый пейзаж – домик, речка, деревья. Тарелки он сдавал в какую-то артель. Вероятно, потом их продавали на рынках или в магазинах. Платили очень скудно. До меня, пока он жил один, ему едва хватало на жизнь. А ведь нужно было еще покупать краски, кисти, холсты.

В общем, мне надо было где-то постоянно работать. И конечно, «Мосфильм» был несравним с редакцией на телевидении. Он был пределом мечты почти каждого кинематографиста.

51

Вокруг Объединения детских и юношеских фильмов собралось много режиссеров – молодых и не очень. Салтыков, Митта, Бычков, Кремнев и Гаврилов, Лукашевич, Журавлев (создатель когда-то очень популярного фильма «Пятнадцатилетний капитан», где школьником снялся Яков Сегель, впоследствии знаменитый режиссер, соавтор фильма «Дом, в котором я живу»). У нас делал свою первую производственную картину «Каток и скрипка» Андрей Тарковский; снимал ее Вадим Юсов. Вот такая компания.

Первым фильмом, на котором я работала редактором, был «Друг мой, Колька!..» – дипломная работа двух режиссеров, Александра Митты и Алексея Салтыкова. Оба были в те поры искрометно талантливы, восхищая и заражая щедрой

изобретательностью, веселой одаренностью и радостью творчества.

Редактор я была тогда еще никакой – робкий и неуверенный. Но работать было чрезвычайно интересно. Фильм снимался по сценарию Александра Хмелика: экранизация его одноименной пьесы, которая в постановке Анатолия Эфроса в ЦДТ имела огромный успех в Москве. Поэтому, когда собрался первый худсовет, я с большим любопытством смотрела на вошедшего в комнату высокого, очень худого, стройного молодого человека, который непринужденно поздоровался и свободно опустился в кресло, закрутив винтом длинные ноги. У него было подвижное, привлекательное лицо, живые, чуть насмешливые глаза. Он тут же закурил, и Лукич, который обычно нещадно гонял всех нас, курильщиков, благосклонно промолчал. Какое-то особое обаяние исходило от этого раскованного человека. Кажется, Ольга Фриденберг в письме к Пастернаку написала про молодого пианиста, что он играл «как человек, имеющий право». Вот и Хмелик удивительным образом держал себя как «имеющий право». И все это сразу почувствовали, как чувствовали и потом, всю нашу не очень долгую, но очень бурную и счастливую совместную жизнь и работу.

Тогда он сразу честно признался, что сценариев никогда не писал, и было решено дать Хмелику в помощь опытного кинодраматурга. Им стал Сергей Александрович Ермолинский. Союз этих двух людей – отдельная песня. Они сделали вместе два сценария и относились друг к другу с глубокой симпатией и уважением. Но трудно представить в одной упряжке двух более разных людей. Ермолинский – сама точность и обязательность. Хмелик – веселое разгильдяйство, отлынивание от работы, а потом вдруг запойное сидение за письменным столом.

Письма Ермолинского полны жалоб на то, что время уходит, а всё не удается сесть за работу, потому что Хмелик опять куда-то пропал, или занят, или загулял. Это он писал жене из Гагры, куда они уехали специально работать над сценарием. Впрочем, это уже был второй сценарий. На первом Хмелик еще старался соответствовать срокам.

А сроки были короткие. Объединение хотело как можно скорее заявить о себе. Митта и Салтыков тоже торопили. Им не терпелось снимать, энергия и ощущение собственных сил переполняли их.

И вот первый материал. Сколько их потом было в моей жизни – не счесть. Но этот не забуду никогда.

Сначала я была обескуражена. Какие-то фрагменты, проходы, люди на трибуне в надвинутых по уши шляпах, и вдруг кусок

разговора – живой, веселый, убедительный. И, несмотря на сумбурность и отрывочность, ловишь себя на радости – как талантливо, свежо, неординарно.

Началось обсуждение. Я – редактор фильма – не могла выдавить из себя ничего, кроме всхлипов: мне нравится, очень хорошо, продолжайте в том же духе.

Ермолинский сделал несколько дельных замечаний. Александр Лукич почему-то взъелся на оператора, единственного опытного в этой команде человека, но, как мы впоследствии убедились, довольно скучного и вялого профессионала.

Хмелик отмалчивался, мастерил самолетики из бумаги. Наконец Птушко обратился прямо к нему: «Что скажете?»

Хмелик отложил самолетики и четко, ясно высказал свои соображения. Он безоговорочно поддержал ребят, но не пропустил ни одной неточности, ни одного пижонского кадра, снятого «на публику», сделал несколько предложений, которые тут же подхватили режиссеры. И дальше разговор пошел только между ними. Мы оказались как бы ни при чем.

Позже мы поняли, что это вообще его манера – молчать до поры до времени, слушать других, рисуя что-то или создавая свои бесконечные эскадрильи, а потом, когда к нему обратятся, разразиться блестящей эскападой соображений и предложений, иногда переворачивающих все наши представления об увиденном или прочитанном. Нередко его заносило, и он на ходу сочинял собственные сценарии или фильмы, мало имеющие отношение к обсуждаемому, но всегда интересные и будоражащие воображение. Тогда обычно кто-нибудь из наших стариков, членов худсовета, чаще всего Вольпин или Ермолинский, люди, которых он, безусловно, уважал и с которыми очень считался, говорили ему: «Саша, уймись».

И он умолкал, ворча себе под нос что-то насчет бисера…

52

Жизнь моя понеслась по совершенно другому руслу. Сейчас мне кажется, что это были лучшие годы. Я шла на работу как на праздник. Интересные люди, каждый день что-то новое, постоянное движение вперед – просмотр материала по картинам, чтение и обсуждение сценариев – жаркие споры, блистательные высказывания.

Особенно интересно стало, когда в 1963 году сменилось руководство. Птушко покинул свой пост: он хотел снимать, а совмещать съемки с руководством стало трудно – возраст, силы

не те. Он был неплохим худруком, правда, несколько субъективным и старомодным, как нам тогда казалось, но человечески справедливым и отзывчивым. Помню, когда А. Митта начинал первую самостоятельную картину (без Салтыкова) по сценарию С. Лунгина и И. Нусинова «Без страха и упрёка», на одну из не главных, но заметных ролей пробовалась театральная актриса. Птушко она не понравилась, он не хотел ее утверждать. Сценаристы отозвали его в сторону и сказали, что она хорошая актриса, но в театре у нее последнее время дела не складывались, она была мало занята в репертуаре. Для нее очень важно сняться в кино. Это ей поможет и морально, и материально. Лукич отреагировал мгновенно: «А, тогда другое дело. Утверждаю».

Или другой эпизод, немного смешной. Он зашел в нашу редакторскую комнату и велел идти в зал – смотреть материал того же Митты. Мы быстро собрались и пошли всей компанией в зал, который был ниже этажом. Спускаемся по лестнице, а навстречу Митта. «Куда это вы идете?» – спрашивает. «К тебе, смотреть материал». – «А я вас звал?» Мы обескураженно повернули назад. В коридоре нас встретил Александр Лукич. Поинтересовался, почему возвращаемся. Мы ему рассказали. Он налился кровью, поднял палку, с которой не расставался, и понесся вниз по лестнице. Через некоторое время к нам зашел Митта, тихий и благостный. Попросил прощения, пригласил на просмотр.

Лукич был вспыльчив, характер нелегкий. Гораздо позже я была редактором на одной его картине – «Сказка о потерянном времени». Это оказалась самая тяжелая работа за всю мою жизнь. Он не принимал ни одного замечания, сердился, говорил резкости. Слушался только своих ровесников – членов худсовета, и то не всегда. И все же я вспоминаю его с симпатией и благодарностью.

На смену Птушко пришел Александр Григорьевич Зархи. А главным редактором объединения стал Александр Григорьевич Хмелик. Так что нами руководили сразу два Александра Григорьевича. Сменилось и название. Мы стали называться коротко: объединение «Юность».

Главным человеком, вокруг которого всё жило и творилось, был Хмелик. Один из самых блестящих и деятельных людей, каких я встречала в жизни.

У него была удивительная способность привлекать к себе людей. В его кабинете было всегда полно народу. Приходили по делу и просто так – поговорить, побыть рядом, послушать и поспорить.

У Хмелика был верный и азартный глаз. Он умел и любил

рисковать. У нас, кроме тех, кого я уже назвала, сделали свои первые работы Элем Климов, Эдмонд Кеосаян, Эдуард Гаврилов и Валерий Кремнев, Александр Светлов, Геннадий Полока, Семен Туманов, Георгий Щукин, немецкий режиссер Зигфрид Кюн и многие другие. А сколько сценаристов дебютировали со своими экранными работами! Назову хотя бы Александра Володина.

Впрочем, в этих открытиях Хмелика тоже иногда заносило. Помню, собрал кучу народу, чтобы показать нам фильм «жутко талантливого режиссера», как он выразился. Фильм оказался невнятный, претенциозный и бестолковый. На обсуждении все так и высказались. Хмелик приуныл, не стал спорить, чувствуя, что мы правы. Только неуверенно сказал:

– А вдруг он гений?

– Ничего, один раз промахнемся, – ответил кто-то.

Саша засмеялся, и на этом обсуждение закончилось.

Во главе объединения стояла тройка – худрук, главный редактор, директор. Потом шли мы, редакторы. Но были еще и так называемые внештатные члены сценарно-редакционной коллегии. Уже при Птушко у нас работали Ермолинский и Михаил Давыдович Вольпин. Правда, тогда они числились консультантами. С приходом Хмелика появились Бенедикт Сарнов, Михаил Львовский, Юрий Тимофеев, Михаил Шатров. Всё это были люди яркие, свободные, эрудированные. Когда Хмелик придумал эту систему «внештатных членов коллегии», Владимир Крепс, кинодраматург и известный насмешник, сказал: «Всё правильно. В искусстве надо действовать бандами». Не знаю, как насчет банд, тогда это еще не имело такого конкретного смысла, но компании вокруг основного ядра – директор, худрук, главный редактор – складывались яркие и своеобычные, не похожие друг на друга. Как правило, это были опытные кинематографисты, эрудиты, остроумцы, знавшие и любившие свое дело, готовые в сложную минуту, когда фильм не складывался или заходил в тупик, прийти на помощь не только советом, но и сесть в монтажную, подсказать новый ход, выправить текст. Мы, молодые редакторы, учились у них и профессии, и отношению к кинематографу, и ответственности, и просто стилю жизни. Каждое заседание сценарно-редакционной коллегии превращалось благодаря им в праздник ума и таланта. А был еще и более широкий круг – авторов, режиссеров, художников. Незаурядные люди – Н. Эрдман, К. Исаев, С. Лунгин, И. Нусинов, В. Аксенов, И. Меттер, Р. Быков, Г. Полока, Л. Шенгелия – всех не перечтешь. Они входили в художественный совет, они создавали среду, в которой рождалось искусство тех лет.

Как много они нам дали! Особенно люди старшего

поколения, принесшие с собой прежнюю культуру, внутреннюю свободу, которую никакие злоключения сталинского времени до конца не погасили. Замечу, к слову, что тогда не было такой резкой границы между поколениями, как сейчас. И мы многое переняли у них, чего не скажешь о нынешних молодых, внутренне нас не принимающих и отдаленных.

53

Однажды снежным январским днем я встретила Михаила Давыдовича Вольпина на дороге, ведущей от метро к его дому на улице Черняховского. Вольпин был весь засыпан снегом. Наверное, и я выглядела не лучше, потому что он засмеялся и сказал:

– Снегурочка.

Настроение у меня было скверное, и я мрачно возразила:

– Снежная баба.

Он внимательно посмотрел на меня и спросил без нажима:

– Случилось что-нибудь?

– Просто настроение плохое, – помнится, ответила я.

Он взял меня под руку, при этом с его плеча на моё сполз целый сугроб влажного снега, что неожиданно развеселило нас, и, изменив свой маршрут, пошел провожать, даже не спросив, куда я иду.

А шла я в писательский дом на Красноармейской улице разносить сценарии к очередному худсовету, поскольку в то время выполняла функции редактора-организатора, наряду с основной должностью редактора. Делать этого я не любила – надо было звонить в чужие квартиры, стоять в дверях, извиняться, вручать сценарии, отказываться от чая и следовать дальше, оставляя мокрые следы в подъездах под косыми взглядами консьержек. Мне тогда казалось, что это меня унижает. Может, потому и была мрачной.

– А вот этого не надо, – забирая у меня тяжелую сумку, сказал Михаил Давыдович. – Плохого настроения не надо. Не имеете права.

Я относилась к нему с почтением, смотрела снизу вверх. Но тут возмутилась.

– Почему это не имею права? Что, теперь и на настроение запреты?

– Потому что молодая. Потому что идет снег. Потому что на самом деле всё у вас хорошо. И разносить сценарии вовсе не унизительно. Такая же работа, как все остальные. Можете мне

поверить, я всякие работы перевидал.

Я удивленно подняла на него глаза. Ну откуда он знает? Как догадался? Я никак не могла привыкнуть к этой его особенности – читать чужие мысли. От его внимательного взора ничто не ускользало. Вроде бы занят своими думами, погружен в себя, рассеян, а всё видит, примечает, понимает. И легко пошутит или бросит вскользь замечание, а ты потом его долго перевариваешь, ворочаешь внутри себя, споришь или, чаще, соглашаешься, а еще чаще что-то открываешь для себя.

Вот и в тот раз мы довольно долго прохаживались по улице и говорили, говорили. Сейчас уже не припомнить, о чем. Памятно только, что настроение мое круто изменилось, глаза открылись, и я увидела всё сразу – и эту заснеженную улицу с бесшумно пролетающими машинами, и прохожих, спешащих по своим делам, и низко нависшее белесое небо, и прекрасного человека, от которого исходило тепло, спокойствие и ироническая уверенность.

В дни худсоветов он приходил загодя и усаживался в свободное кресло, чаще всего под нашим импровизированным «баром», как мы это называли, а на самом деле просто закрытой полкой, где стояли кофеварка и чашки, а на откидной крышке красовалась наша забавная радость – подписи многих знаменитых людей, сделанные размашистыми разноцветными фломастерами. (Где теперь эта веселая доска из древесно-стружечной плиты? Исчезла в бездонных недрах «Мосфильма» после нашей ликвидации. А жаль – там были, например, уникальные в наших широтах автографы Раджи Капура и Наргис. И еще какие-то подписи мировых знаменитостей.)

– Чай, кофе? – светски спрашивал кто-нибудь из нас, дежурный по кофеварке.

Но Михаилу Давыдовичу не хотелось ни чая, ни кофе. Ему хотелось общения. Его он ценил дороже всего.

Однажды мы спорили с ним о споре.

– Ваше поколение не умеет и не любит спорить, – утверждал Вольпин.

Я пожимала плечами:

– А что тут любить? Всё равно каждый остается при своем мнении. Только воздух сотрясать.

– Как ты не понимаешь! – заводился он. – Самое ценное в споре не победа, а возможность высказать, а иногда и попутно выработать, отшлифовать свою точку зрения и оценить позицию другого. Это же захватывающе интересно. Это же открытие духовной глубины и познание иной личности. Общение!

Ах, это «общение», кодовое слово! Как мало мы тогда

придавали значения этому подарку судьбы. Мы были так богаты им, что почти не замечали. Никто ничего не записывал, да и не запоминал толком. Удивительные рассказы Михаила Давыдовича! Они лились легко и непринужденно. К случаю, без случая. Передаю их так, как запомнились. За точность не отвечаю.

– У меня с твоим отцом было одно неприятное столкновение. Я пришел на вечеринку с девушкой. Она вроде ко мне очень благосклонно относилась. И тут появляется Володя Луговской, тогда уже известный поэт, как всегда, красивый, как всегда, обаятельный и победительный. Через короткое время я обнаружил, что моя девушка уже его девушка. Вся порозовела, разговаривает только с ним, неестественно смеется, а меня не замечает. С горя я напился. Сквозь туман заметил, что они исчезли. Я нагнал их на улице и полез на него с кулаками.

– Миша, – умолял он, – не лезь. Я же боксер. Я же тебя с одного удара уложу.

И уложил, потому что я не мог уняться.

А потом поднял, отряхнул, доставил на место и щедро возвратил мне мою девушку, несмотря на ее недовольство.

Но я всё равно не мог простить ему своего унижения. Мы много лет не разговаривали и не здоровались. А потом однажды где-то подошел ко мне и сказал:

– У грузин есть такой обычай: под утро, когда все уже устали и израсходовались, женщины убирают со стола, стелят чистую скатерть, расставляют новые блюда, и всё начинается сначала, заново, как впервые. С чистого листа. Давай и мы начнем наши отношения с этого чистого, белого, нетронутого листа.

– Вот так, – заключал рассказ Михаил Давыдович, – и помирились. Раз и навсегда.

Или вот еще:

– Когда арестовали Берию, один наш с Колечкой приятель, он теперь на пенсии, а когда-то служил в органах и сохранил там связи, уезжал из Ленинграда. Билет ему достали тамошние друзья, они же провожали на вокзал и шепнули ему насчет ареста Лаврентия Павловича, о котором пока еще нигде не объявляли. Ну, простились, входит он к себе в купе, в СВ, конечно, а там важный генерал сидит, кагэбэшник. Хмурый, высокомерный, неприветливый. На приветствие не отозвался, молчит, только пиво беспрерывно пьет – денщик ему целый ящик притащил. Пьет и не угощает, как будто в купе больше никого. Приятель наш разозлился и говорит: «Берия ваш – подонок, изверг, руки по локоть в крови. И вы, его приспешники, не лучше, вам тоже отольется». Тот молчит, кровью наливается, пиво пьет. А в Бологое вышел. Долго отсутствовал, вернулся тихий, ласковый.

«Пива, – говорит, – хотите?»

Особенно много историй было связано с арестом, тюрьмой и лагерем, куда они с упомянутым «Колечкой» – Николаем Робертовичем Эрдманом, ближайшим другом, соответчиком, а потом и соавтором – ухитрились попасть раньше многих, когда еще не было поголовного сажания.

– Мы долго не могли понять, за что нас арестовали. Наконец следователь сжалился и сказал: «Неужели не понимаете? Нам нужно приструнить интеллигенцию. Горького посадить не можем, какого-нибудь Пупкина сажать бесполезно – кто его знает, никакого резонанса. Вы нам как раз подходите». И мы так обрадовались! Всё стало понятно. Смысл появился.

Или еще:

– Когда меня первый раз освободили (их арестовывали, насколько помню, несколько раз), я вышел на волю, купил билет и поехал в Москву. А у меня были очень хорошие отношения с начальником лагеря, он помог достать место в литерном вагоне. Вхожу в купе, сидит какой-то человек, перед ним бутылка водки, он уже изрядно принял. Посмотрел на меня и сразу определил: «Зек?» Я не отрицал, чего таиться. Налил мне водки и давай советскую власть ругать, да так откровенно, зло. Я похолодел. Думаю – попал. Ясно же, провокатор. Сейчас второй срок накрутят. Вышел покурить, стою в тамбуре, руки дрожат, спичку зажечь не могу. Вдруг смотрю – мой начальник идет. Он в соседнем вагоне ехал. Посмотрел на меня, спрашивает: «Что случилось?» – «Да какой-то странный сосед попался», – осторожно говорю я. Он, недолго думая, приоткрывает дверь купе, посмотрел, усмехнулся, закрыл, вывел меня снова в тамбур. «Ничего не бойся, – говорит. – Это знаешь кто? Это – палач. Исполнитель, так сказать. Ему всё можно».

Или еще:

– В первые недели войны мы с Колей попали в армию. И нас послали в оставляемую нашими войсками деревню – агитировать население. Стоим мы, вокруг дети, старики и бабы. Смотрят с тоской. Что скажешь? Начали что-то невразумительное. Тут вдруг какая-то баба вперед вышла, нас отодвинула и говорит скорбно и твердо: «Ну что тут толковать. Хоть и го…ая власть, а своя». Лучший агитатор.

И последнее:

– У нас были друзья – покровители в органах, там тоже люди встречались. С кем-то поговорили, кого-то попросили, и определили нас в ансамбль НКВД. Не петь, конечно. Тексты песен сочинять. Поставили на довольствие, форму выдали – всё как положено. Коля надел форму, подошел к зеркалу, посмотрел на

себя и говорит: «Кажется, за мной пришли».

Самое поразительное – все его истории были скорее смешные. Никак не ужасные. Свойство памяти? Или свойство натуры – никого собой не нагружать? Но один рассказ помню очень грустный – и очень светлый: о смерти Николая Робертовича в 1970 году. Не смею передавать его в прямой речи. Помню только, что, когда Николай Робертович перестал дышать, все ушли, а Вольпин долго сидел возле него и не отрываясь смотрел на его лицо, которое всё молодело, успокаивалось, разглаживалось, становилось всё более спокойным и радостным. А потом вдруг перестало изменяться, застыло. «Душа отлетела», – сказал неверующий Михаил Давыдович.

Эта смерть была для него большим горем. Он очень любил Эрдмана, относился к нему с нежностью, почти как к ребенку или девушке. Себя считал менее талантливым, менее ярким и, уж конечно, гораздо менее обаятельным. Не знаю, может, так и было. Для всех, но не для нас. Мы-то любили именно Михаила Давыдовича, такого, каким он был. А Николая Робертовича, который и вправду отличался редким даром сокрушительного обаяния, воспринимали только как друга нашего друга.

На жизнь каждого, а вернее сказать, каждой из нас, потому что редакторы в «Юности» были исключительно женщины, молодые и впечатлительные, особенно поначалу, Михаил Давыдович оказал огромное влияние. Вольпин был автором множества сценариев художественных фильмов (почти всех в соавторстве с Эрдманом), мультфильмов, песен, цирковых реприз и эстрадных номеров. Он был по-настоящему талантливым и разносторонним человеком. Но для меня он – больше всего, что создал, потому что был неповторимой личностью несказанной доброты, масштаба и обаяния. Из тех, встреча с которыми меняет и определяет всю дальнейшую жизнь. А она, как я теперь понимаю, была щедра к нам на людей и встречи.

Однажды возвращались из Одессы, с семинара по детскому кино. Поезд подходил к Москве. Я выглянула из купе и увидела, что возле всех окон стоят мои соратники и вчерашние веселые товарищи по диспутам и застольям. Все уже в пиджаках, при галстуках, отчужденные, немного замкнутые и грустные. Потянулись московские окраины, пустые поезда на запасных путях.

– Михаил Давыдович! – окликнула я.

Он повернул ко мне голову и невесело сказал:

– Праздник кончился. Наступают будни.

Пожалуй, самым известным и ярким фильмом, снятым в нашем объединении, была картина «Звонят, откройте дверь». Делал её А. Митта по сценарию А. Володина.

Володин принес заявку под названием «Происшествие, которого никто не заметил». (Через много лет он сам в качестве режиссера снял картину с таким же названием, но к давнему замыслу она не имеет отношения.) В заявке рассказывалась история мальчика, который каждое утро начинал жить заново: забывал всё, что с ним происходило накануне, и вновь знакомился с девочкой, которой вчера объяснился в любви, протягивал руку врагу, который его тяжело оскорбил.

Заявка всем понравилась. Митта очень хотел работать над таким фильмом.

Замысел сценария был связан с детьми, и Володин отправился в школу. Сидел на уроках, разговаривал с ребятами.

Увиденное и услышанное неожиданно натолкнуло его на совершенно иные проблемы и размышления.

И через некоторое время объединение получило от Александра Моисеевича сценарий под названием «Звонят, откройте дверь». Рассказывал он о девочке. О её первых открытиях, надеждах, разочарованиях. На мой взгляд, это был один из самых совершенных сценариев Володина.

Но совсем не то, что ожидал Митта. И он решил отказаться от постановки. Уговаривали всем объединением. Поначалу упорно сопротивлялся, потом сдался.

Фильм принес ему мировую славу и множество призов. В том числе главный приз в Венеции, Золотого льва св. Марка за лучший фильм для детей в 1966 году.

А еще у нас снимались знаменитые «Неуловимые мстители». Совершенно не помню, кто предложил, может быть, даже я – скорее всего именно я, потому что я одна из всех наших редакторов окончила ВГИК и помнила фильм «Красные дьяволята» по известной повести Бляхина: «Давайте попробуем сделать современный вариант? Приключенческая картина для детей. Давно не было».

Перечитали повесть. Идея понравилась. Показали режиссеру Эдмонду Кеосаяну. Он до этого снимал у нас картину «Где ты теперь, Максим?». Картина, честно говоря, была довольно средненькая. Но там и сценарий не очень вдохновлял. А тут он загорелся.

Сценарий «Неуловимых» написали Ермолинский вместе с Кеосаяном. От повести Бляхина мало что осталось. Может, только сама идея. Даже герои поменялись.

В сочинении активно участвовал Хмелик. Именно ему

принадлежит вошедшая в фольклор реплика, которую в фильме произносит Крамаров: «И мертвые с косами стоят». Помню, как мы хохотали, когда Хмелик ее придумал. Вообще смеялись много, придумывалось всё как-то легко и радостно, и я бы даже сказала, довольно безответственно. Может, поэтому фильм имел такой шумный успех.

Он и делался легко и весело. Вот, например, такая история.

Натуру снимали в Запорожье. Я прилетела в Полтаву. Меня встретила машина, чтобы везти к месту съемок. По пути машина сломалась. Шофер долго голосовал на дороге, пока какой-то военный грузовик не сжалился над нами и взял на буксир.

Уже стемнело. Грузовик довольно беспечно мчался вперед на большой скорости. Мы мотались сзади, то и дело пересекая разделительную линию, вылетая на встречную полосу, по которой двигался поток машин. Шофер матерился и гудел. Грузовик не обращал никакого внимания. Я закрыла глаза и тихо прощалась с не очень удавшейся, на мой тогдашний взгляд, жизнью. Жара, несмотря на поздний час, липкая дорожная пыль и щемящее ощущение полной покорности судьбе.

Наконец нас еще раз основательно мотнуло, трос ослаб, и мы по инерции чуть не врезались в затормозивший грузовик.

Шофер остался выяснять отношения, а я, подхватив сумку, на негнущихся ногах пошла к дверям темневшей впереди гостиницы.

Администраторша, зевая, выдала ключи от номера и сообщила, что киношники меня не дождались и легли спать в полном составе – завтра чуть свет выезжать на съемку.

Я поднялась к себе. От усталости и пережитых волнений я плохо соображала. Поставила сумку и кинулась в душ – смывать грязь и стресс.

Когда я вышла, мокрая и обновленная, я была уже другим человеком. Я почувствовала легкую прохладу, увидела занавеску, парусом взлетавшую над окном, услышала плеск реки где-то совсем рядом. Назавтра выяснилось, что гостиница стоит на самом берегу Днепра, а из окна видны такие дали, что дух захватывает. Но пока что я вышла на балкон и увидела только южное небо над головой с низкими яркими звездами и кроны деревьев, на которые падал свет из моего окна. Меня окутали тишина и прохлада летней ночи, покой, благость и несказанное счастье.

А тут еще внизу запели. Какие-то, мне показалось, ангельские голоса на незнакомом языке слаженно пели церковный хорал. Я стояла, боясь пошевелиться.

Когда они замолкли, я обнаружила, что лицо мое залито слезами, а руки, вцепившиеся в перила, занемели. Такие минуты

редко выпадают на долю простых смертных. Забыть их невозможно – я и не забыла, как видите, хотя вряд ли мне по плечу передать радость и полноту жизни, которые я тогда испытала.

Утром, действительно, чуть свет, меня разбудил громкий стук в дверь. Конечно, это был сам Эдмонд Кеосаян, он же Эдик, наш бурно темпераментный, громкоголосый и страстный режиссер. Объятия, поцелуи, приветственные возгласы. Этот ритуал на самом деле почти ничего не значил. Просто выплеск энергии и восточная орнаментальность. Впрочем, тогда я этого еще не понимала.

– Быстро завтракать и в машину! – заключил он. И исчез.

Тряская дорога, утопающий в зелени город и, наконец, степь, опаленная солнцем. Конечный пункт – ее отрезок, зажатый холмами так, что получалось как бы ущелье, на дне которого проложены рельсы. Приглядевшись, я поняла, что железная дорога никуда не ведет. Она обрывается сразу за холмом. Дорога была специально построена для съемок одного из центральных эпизодов фильма – погони «неуловимых» за поездом. На экране он сопровождался песней «Погоня, погоня, погоня в горячей крови!» на слова Роберта Рождественского и неизменно вызывал бурные аплодисменты юного зала.

Когда эпизод только разрабатывался в режиссерском сценарии, наши консультанты, опытные каскадеры-конники, в один голос предупредили, что такие трюки исполнить невозможно. В какой-то момент ребята соскакивали на лошадях с платформы движущегося поезда.

– Лошади никогда не прыгнут на ходу! – твердо заявили консультанты.

Но надо было знать Кеосаяна. Он всегда добивался того, что задумал. Препятствия вызывали в нем только дополнительный азарт.

Он посадил нас в темный зал, запустил склеенный в кольцо эпизод из американского фильма, в котором был подобный трюк, и заставил смотреть снова и снова. Сам, конечно, тоже смотрел с нами, пытаясь разгадать, как это сделано. Под конец все изнемогли и отупели. И вдруг кто-то воскликнул:

– Смотрите, да она стоит!

И тут мы все увидели, что платформа, действительно, стоит, а двигаются кусты, очевидно, тоже поставленные на платформы или дрезины.

Так или примерно так решался почти каждый эпизод «Неуловимых» с конями и трюками. Ведь опыта не было почти никакого. Многое приходилось осваивать впервые.

В степи проложили рельсы, и паровозик с несколькими вагонами и платформой, разогнав пары, курсировал до определенной отметины, потом медленно сдавал назад. Пиротехники колдовали над зарядами. Всадники то красиво вырисовывались на гребне холма, то не менее красиво мчались вниз.

А мы, киногруппа, расположились под красочными зонтиками на противоположном пологом склоне вокруг стула с надписью «Режиссер». Стул в основном пустовал. Поэтому надпись была хорошо видна, и она сплачивала нас. Сам же Кеосаян в кепке с длинным козырьком и шортах находился везде одновременно – давал указания машинисту, измученному жарой и бестолковостью киношников, руководил невозмутимыми пиротехниками и отчаянно махал руками всадникам, которые в ответ поднимали лошадей на дыбы. Что это значило, никто не знал. Может, и всадники тоже.

Колдовское варево съемок кипело и булькало. Всё время что-то происходило и не происходило ровным счетом ничего. Дело близилось к полудню, жара становилась невыносимой. Еще ни один кадр не был снят.

Вдруг Кеосаян замер с поднятыми руками, паровоз остановился, всадники застыли, как изваяния, на вершине холма. Все головы повернулись в одну сторону. Я проследила за взглядами и увидела, что над нами, на гребне холма, остановился автобус, и из него появились девушки в красочных платьях и пышных юбках по тогдашней моде.

Оживленно перекликаясь мелодичными голосами на неизвестном мне языке, они разноцветным драже посыпались по склону прямо к нам, не оставляя сомнения, что именно ради нас и прибыли из своего сказочного ниоткуда.

Замыкали неправдоподобное явление священник в черной сутане и немолодая полная женщина, тяжело отдувающаяся от жары.

Женщина посмотрела на меня и всплеснула руками:

– Мила! – воскликнула она. – Вы-то как здесь?

Все головы повернулись ко мне. Я глупо улыбнулась.

– Здравствуйте. Мы, кажется, где-то встречались? – самым светским из моих голосов пробормотала я.

– Встречались! – захохотала она. – Преимущественно у вас и у меня дома.

И тут я ее узнала. Это была Инна, жена одного известного в то время поэта, у которого я несколько раз бывала с моим армянским другом Акопом Салахяном. А они с мужем, в свою очередь, заходили к моему отцу, и там мы в самом деле не раз

встречались.

Оказалось, перед нами – делегация общества франко-советской дружбы из провинции Шампань во главе с председателем общества и одновременно регентом церковного хора, почему-то состоявшего из одних девушек, который он и вывез в полном составе к нам в страну – дружить и смотреть, смотреть и дружить. Чем они, по всей видимости, занимались с большим удовольствием. А Инна была у них переводчицей.

Это они-то и пели накануне вечером под окнами гостиницы, когда я думала, заливаясь слезами, что попала в рай.

Очевидно, им захотелось посмотреть, как в России снимают фильмы.

Кеосаян преобразился. Он улыбнулся девушкам, сказал им несколько слов через переводчицу и стал отдавать отрывистые команды. Члены съемочной группы разбежались по своим местам.

Взмах рукой, и паровоз тронулся, всадники помчались с холма и начали нагонять поезд. Выглядело очень эффектно. Первый кадр, наконец, был снят.

Вечером французы пригласили меня, Кеосаяна и исполнителя главной взрослой роли Трещалова к себе. Ребят-героев, которые их так восхитили на съемочной площадке, не позвали. Вскоре мы поняли почему.

Регент раскрыл портплед, внутри которого оказалось множество карманчиков и в каждом – маленькая бутылочка: вина разных сортов, которые производит их знаменитая провинция. Не только шампанское.

Регент предложил нам отведать всё. «Снять пробу», как перевела Инна.

Каждый делал маленький глоточек и передавал следующему. В результате мы так опьянели, что я и Трещалов стали исполнять русские народные песни, а Кеосаян армянские. Кажется, одновременно.

Девушки смеялись и подпевали. Регент снисходительно и даже довольно улыбался.

На следующий день, рано утром, когда мы еще спали, они уехали. Исчезли, как не бывало.

Иногда это воспоминание кажется мне сном: ангельское ночное пение, вдруг расцветший холм, веселые голоса, перекликающиеся на чужом мелодичном языке в мареве запорожской степи.

Хотела рассказать о фильме, а получилось о себе. Впрочем, так часто бывает.

Группа потом еще долго снимала в этом проклятом пекле. Фильм получился очень успешный, страшно популярный. На

гребне успеха Эдмонд снял еще две картины – продолжения: «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи» с теми же героями. Но я там уже не работала. И Ермолинский тоже. Может, я необъективна, но мне продолжения нравились гораздо меньше, чем первый фильм, – в них не было легкости и радости.

Вообще, по моим наблюдениям, продолжения удачных фильмов редко получаются удачными. В них нет веселья открытия. Впрочем, бывают исключения. Но не стану углубляться, я пытаюсь писать воспоминания – не больше.

55

В «Юности» снимались не только дебюты. Здесь снял свои главные детские фильмы Ролан Быков: «Пропало лето», «Айболит-66», «Внимание, черепаха!», «Телеграмма», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Чучело». Ролан был не просто талантлив. Он был невероятно одаренным человеком во всех областях жизни. Об этом столько написано, что трудно не повториться. Попытаюсь рассказать, каким его видела я.

Почти всегда немного взвинченный, играющий на публику.

Дело под вечер. Мы уже собираемся домой. Открывается дверь, входит Ролан, очень озабоченный. «Девочки, нет у вас случайно стакана вина?» Немая сцена, как в «Ревизоре». Откуда у нас вино на работе? Он тут же теряет к нам интерес и исчезает.

Возвращаемся из Ленинграда, с какого-то показа в Доме кино. Стоим на вокзале, ждем поезда. Вдруг появляется Ролан, он был в Ленинграде по своим делам. Видит нас, бурно радуется. Через секунду понимаем, что он в хорошем подпитии. Выясняется, что тоже едет в Москву, но другим поездом, раньше нас. Его состав уже стоит, готовый к отправлению. А Ролан заявляет, что поедет только с нами. Мы уговариваем, но он уперся, как упрямый ребенок. Сердиться на него невозможно. Он трогателен в своем упорстве. Все смеются. Я обнимаю его за плечи и буквально волоку к вагону. Сдаю на руки проводнице, прошу приглядеть. Она понимающе кивает. Последнее, что я вижу, – маленький Ролан, прислонившийся к проводнице, которая выше его на голову и довольно крепко, но нежно держит его одной рукой где-то в районе шеи. В другой руке флажок отправления. Поезд удаляется.

Ролан не был пьющим человеком. Просто снимал напряжение, в котором жил постоянно.

Иногда он бывал очень грустным – по поводу или без повода.

Мы ехали в машине из Комитета после очередной попытки запустить какую-то его картину (кажется, «Чучело»). В Комитете Ролан был на высоте – проигрывал целые сцены из будущего фильма, блестяще и увлекательно рассказывал, как будет снимать. Я смотрела на лица принимающих – они были покорены. И всё же не утвердили. Слишком необычно им это показалось, наверное. Необычно – значит опасно. Спокойнее всего там проходила посредственность.

Машина была завалена эскизами декораций и костюмов, фотопробами. Ролан сел среди них на заднем сиденье, я – впереди. Обернулась. У Ролана в глазах стояли слёзы. «Факт искусства у нас непростителен», – сказал он.

И все же он почти всегда добивался своего. В нем было такое упорство и настойчивость, даже одержимость, что он в конце концов побеждал. И «Чучело» он снял.

Впрочем, помню один случай, когда победить не удалось. Его пригласили сыграть Пушкина в пьесе Л. Зорина «Медная бабушка». Готовясь к спектаклю, Ролан показывал нам сцену за сценой. Это было блестяще. Перед нами был живой поэт, ни на кого не похожий человек, удивительно обаятельный. Но его не утвердили какие-то вышестоящие инстанции. Мы все ему очень сочувствовали и горевали вместе с ним. А Пушкина потом сыграл Олег Ефремов. Наверное, интересно, талантливо. Я не ходила смотреть из солидарности.

Однажды оказались с Роланом в Армении, в горах. Там проходил какой-то очередной семинар по детскому кино. Их проводили довольно часто, мы охотно ездили – повидаться с коллегами из других городов и республик, поговорить о насущном. Дни были заняты до отказа, а вечера иногда выпадали свободные. И вот как-то раз мы с Роланом отправились погулять, посмотреть на окрестности.

Он был очень грустным и тихим. О чем-то неспешно разговаривали. И вдруг он сказал: «Мила, беги из кино. У тебя еще есть время. Нет ничего более увлекательного и более сжирающего жизнь, чем этот проклятый кинематограф». – «И куда я побегу, Рол? Где меня ждут? Что я еще умею?» – «Да, – сказал он. – Мы уже навсегда прикованы. Как Прометей».

Больше всего мы любили ходить к нему на съемки. Это было неповторимо – целое представление.

Никогда не забуду, как на «Айболите» он в гриме Бармалея, стоя по горло в воде, давал режиссерские указания.

Однажды я написала репортаж для журнала «Пионер» со съемок фильма «Внимание, черепаха!» Вот маленький фрагмент.

«Декорация представляет из себя учебный класс. Рядком

стоят парты, за партами дети. Всё как на самом деле. Только на полу лежат рельсы, и по ним ездит тележка, на которой закреплена съемочная камера. И еще по классу расхаживает длинный, как журавль, оператор Анатолий Мукасей, специальным прибором проверяя освещенность. Вот он отозвал в сторону Ролана Быкова. Вместе они смотрятся просто прелестно – невысокий Ролан достает ему только до груди».

(Перебью саму себя. Когда они спорили, Ролан говорил: «У длинного всегда недлинный виноват!»)

«Режиссер и оператор совещаются. Юные актеры резвятся. Упал в проход портфель. С парты на парту плывет записка. Шум и гам. Всё как в настоящем классе.

– Тихо! – отрывается от беседы Быков. – Дайте с человеком поговорить.

На минуту становится тихо. А потом опять начинается. Быков вздыхает. Входят взрослые актеры. Бабушка Вовы Васильева – главного героя – актриса Лилия Малкина, учительница Анна Сергеевна – Ирина Азер.

Начинается репетиция.

– Так, Лиля, – обращается Быков к Малкиной. – Ты пойдешь к окну, скажешь: „Душно тут у вас“ – дернешь за веревку. Веревка должна оборваться.

Для проверки он дергает за веревку сам. Веревка не обрывается. Дергает сильнее. Стенка декорации шатается. Веревка не поддается. Подбегает постановщик, начинает возиться с проклятой веревкой. Ролан с Малкиной идут по классу. Останавливаются у последней парты.

Бабушка Вовы – тренер, она в спортивном костюме – прямо со стадиона. В класс она должна входить бодро, энергично, шумно. Заставляет ребят размяться, попрыгать, побегать. Здесь у каждого маленького актера своя задача.

– Вот ты, – говорит Ролан, обращаясь к девочке на последней парте, – ты танцуй твист. Бабушка смотрит на тебя и тоже начинает танцевать.

– И я тоже умею твист, – высовывается ее сосед, исполняющий роль мальчика с вечно измазанным чернилами лицом.

– А ты сиди, до тебя очередь еще не дошла, – говорит Быков. – Ну, попробуем.

Девочка танцует твист. Мальчик с измазанным чернилами лицом – тоже.

– Стоп, – говорит Ролан. – Я же тебе сказал: сиди. Что ты мешаешь?

– Я не мешаю, я твист танцую.

На помощь Быкову бросается второй режиссер Лика Ароновна Авербах.

– Ты слушайся Ролана Антоновича, сиди тихо. Дойдет до тебя очередь, тебе дадут задание.

Ролан дает команду: „Начали!“

Танцует девочка, танцует Малкина, танцует мальчик. Назревает скандал.

Мальчика пересаживают на другую парту. Но там уже сидят двое. И никто не хочет уходить. Сейчас начнутся слёзы.

В это время постановщик дергает за веревку. Веревка, наконец, обрывается. Фрамуга тоже. Грохот, крики. Ролан держится за сердце.

Вот так снимается один из эпизодов этого веселого фильма.

Но мы не будем спешить уходить. Мы еще посмотрим, как Ролан репетирует с остальными первоклашками. Он поразительно меняется сам. То он тихий Ёга, то жеманная Элла, то вздорная Белла. И дети смотрят на него влюбленными глазами, повторяя каждое его движение, и, наверное, вправду верят, что он немножко волшебник».

Эта зарисовочка, к сожалению, не раскрывает подлинную глубину его серьезной и талантливой работы, описать которую я не берусь за давностью лет. И, пожалуй, еще потому, что для этого нужно было находиться на съемочной площадке изо дня в день – наблюдать, сопоставлять, делать выводы. А у меня такой возможности не было. Я ни разу не была редактором на его картинах. Он работал всегда с Натальей Лозинской – строгим, прямым и очень профессиональным человеком. А я только забегала, чтобы прикоснуться, полюбоваться и потешиться. Но результат этих съемок был для меня доступен, как и для всех остальных на свете. Мне очень нравились его картины. Для меня они всегда становились событием, явлением.

Я где-то прочла, что Быков пришел в детское кино потому, что во взрослом в те времена нельзя было говорить в полный голос. Может, это и правда; но не вся правда. Я уверена, что кино для детей было для него органично. У него не было своих детей, но он, как никто, понимал и любил высокую природу детства – его открытость миру, его чистоту и надежду на будущее. Это чувствуется даже в такой трагической картине, как «Чучело». Я считаю, что Ролан был одним из самых талантливых и значительных людей, которые работали когда-либо в кино для детей.

И еще одну историю мне хочется рассказать, потому что в ней он виден таким, каким был – незаурядным, чуть обделенным судьбой, но никогда не сдающимся.

Дело было во время очередного пленума комиссии детского кино Союза кинематографистов. Как всегда на таких мероприятиях, сначала Белый зал был полон, доклад выслушали с вниманием, отмечая про себя, кого похвалили, кого поругали, какие тенденции на тот момент считаются основополагающими.

Это была официальная точка зрения, а в жизни каждого из сидевших в зале она имела немалое значение.

Потом начались прения, и все потянулись в фойе – покурить, поговорить со знакомыми, выпить чашку кофе. К концу третьего часа в зале остались самые стойкие, и те тихо засыпали.

И вдруг председательствующий объявил: «Слово просит Ролан Быков».

Спины выпрямились, лица оживились, из фойе в зал потянулись любопытствующие.

Ролан спустился откуда-то сверху, упругой походкой подошел к сцене, поднялся по ступеням и, еще не доходя до кафедры, стоявшей сбоку, энергично начал речь:

– Я прочел в наших газетах, что дела в Японии идут неважно.

Последние слова он произносил, уже стоя за кафедрой. И тут выяснилось, что из-за этого величественного сооружения выглядывает только его макушка, а слова тонут, упираясь в закрытое пространство.

Из зала крикнули: «Не видно!»

Ролан не растерялся, обошел кафедру слева и повторил, уже стоя рядом с ней:

– Я прочел в наших газетах, что дела в Японии идут неважно.

Из зала пошел смешок, и кто-то снова крикнул: «Не слышно!»

Ролан запнулся и оглянулся на президиум, который сидел здесь же, на сцене, вокруг маленького столика с микрофоном.

Семен Листов встал, широким жестом указал на свое кресло и сказал: «Ролан, садись сюда. Будет и видно, и слышно».

Ролан сел в кресло, придвинул к себе микрофон и в свойственной ему стремительной, напористой манере в третий раз повторил всё ту же таинственную фразу: «Я прочел в наших газетах, что дела в Японии обстоят неважно».

В это время кресло, в которое пересел Листов, с грохотом развалилось, и Семен очутился на полу.

Лежа среди обломков, он грустно констатировал: «И у нас тоже».

Что делалось с залом, не поддается описанию. Скуки как не бывало. В фойе не осталось никого. Казалось, в такой обстановке остается только одно – рассмеяться, махнуть рукой и спуститься по ступенькам в веселящийся зал.

Но Ролан не был бы Роланом, если бы позволил ситуации

диктовать ему условия. Он встал, вынул микрофон из зажима, вышел с ним вперед и в четвертый раз бросил в публику трагическое сообщение о Японии. Только на этот раз он не позволил себе ни малейшей паузы и сразу перешел к сути. Оказывается, на улицах тамошних городов такая загазованность, что полицейским приходится надевать противогазы. Выяснилось, что это была метафора. Плохо обстояли дела не только в Японии, но и во всем мире, и в кино в первую очередь. Душно было в этом мире и в этом кинематографе. И только детское кино являло собой глоток кислорода, оно несло с собой свежесть, обновление и надежду. «Кинематографом надежды» назвал Ролан кино для детей.

Через мгновенье он уже полностью овладел аудиторией и говорил еще минут сорок при полной тишине и внимании зала.

Многое могла бы я еще рассказать о Ролане. Значительная часть наших жизней прошла рядом. Иногда сближало, иногда отдаляло. Не могу сказать, что мы дружили, скорее симпатизировали друг другу. А точнее – он мне симпатизировал, а я была попросту влюблена в него, как в человека талантливого, близкого к гениальности. Хотя иногда и раздражалась, потому что характер у него был непростой, временами тяжелый.

Но остановлюсь в своем рассказе: боюсь повториться. О нем столько написано.

Годы в объединении «Юность» – самое плодотворное, хотя и нелегкое время моей жизни. Я растила двоих детей, работала каждый день с десяти до шести, пыталась писать. Устроить детей в ясли и детский сад тогда было очень сложно. А в районе, где я жила с моим вторым мужем, просто невозможно. Помог «Мосфильм». У студии было и то, и другое – совсем рядом, на соседней с «Мосфильмом» улице. Жила я не близко. И вот каждое утро начиналось с торопливых сборов, потом мы ехали на метро с пересадкой в часы «пик», поскольку детские учреждения начинали работу раньше взрослых – в восемь или девять часов. Один ребенок на руках, другого крепко держишь за руку. Толкотня, давка. Помню, как Галка с высоты моего роста вертела головой и радостно говорила: «Сколько народу!» А я готова была проклясть и эту толпу, и эту Москву с ее суетой и многолюдством. А потом еще нужно было дожидаться троллейбуса и ехать минут двадцать.

Сдашь их – Галю в ясли, Вову в садик – и не спеша идешь на студию. Там еще никого. В кабинете тишина, покой. Этот час казался мне самым счастливым за день. Я писала или читала. Никто не дергал, не вовлекал в дела или разговоры. Я всегда любила одиночество, но в те времена неосознанно – просто как передышку.

Потом начинался рабочий день. Приходили люди, жизнь кипела. Мне это тогда было интересно.

Был еще один тихий час в моей жизни – ночью, когда дом засыпал и можно было принадлежать самой себе. Я всё растягивала и растягивала это время. Так и осталось на всю жизнь – ложилась позже и позже, теперь редко раньше пяти укладываюсь. Ночь мне всё больше нравится своей тишиной, покоем и отъединенностью от мира.

Работа редактора увлекла меня. Когда у тебя на глазах вырастает, становится живым и объемным то, чего вчера еще не было, и ты принимаешь в этом посильное участие, это завораживает. Кино затягивает как мало что на свете. Это удивительное движение – от нескольких страниц замысла к сценарию, в котором уже существуют живые люди со своими характерами, судьбами, встречами, расставаниями. Читаешь и радуешься. Или огорчаешься. Чужие поступки, радости и печали завораживают, заставляют задуматься, вызывают протест или сочувствие. Каждый раз заново постигаешь жизнь. Конечно, если

сценарий удачный и автор интересный. А потом, если сценарий пошел в производство, у этих людей появляются лица, иногда неожиданные и даже парадоксальные. Они живут на экране, двигаются, меняются. И всё приобретает новую глубину и неожиданность. Конечно, я немного преувеличиваю. Ведь сначала видишь пробы, читаешь режиссерскую экспликацию или режиссерский сценарий. Разговариваешь с создателями, смотришь разрозненный материал. Но всё равно: талантливая готовая картина – всегда открытие. Сколько раз в жизни я испытывала это потрясение.

Конечно, бывали в моей редакторской работе и столкновения, и непонимание, и даже отвращение к тому, что делается. Но в главном мне и сейчас эта работа кажется очень существенной, важной – и моей по сути.

Маршак сказал «Редактор – это человек, который надувает ветром чужие паруса». Почти у каждого автора должен быть оппонент. Человек, задающий вопросы. «А почему? А разве? А зачем?» Доброжелательно сомневающийся. Порой удивляющийся. Иногда это могут быть жена, муж, друг. Но всегда лицо заинтересованное. Идеальный редактор таким и должен быть – любящим, откликающимся на неточность, умеющим подсказать и поддержать.

Мне кажется – может быть, я ошибаюсь, – что сейчас таких редакторов почти нет. Их работа сводится к простому ответу «да», «нет», «берём», «не берём». И если «да» – к отправке автора дальше по инстанциям. Если я права, то надеюсь, что это не навечно. Должна же вернуться кропотливая и спокойная работа по доведению текста до возможного идеала.

Случались моменты, когда я была по-настоящему счастлива – когда удавалось что-то подсказать или, наоборот, убедить в неправильности, неточности. Вероятно, причастность к творчеству, к созиданию, как и само творчество, – прекрасные вещи, за которые, правда, зачастую приходится расплачиваться горечью, муками и даже отчаянием.

Когда-то раз я написала о своей работе так.

МОЙ АВТОР (Монолог редактора)

Вот сидим мы друг против друга в вечном, неистребимом единении. Я смотрю на него с нежностью и раздражением. Мой закадычный враг, мой заклятый друг. Обольстительный и коварный. Одинаково обещающий радости и неприятности.

Что скрывается на этот раз за его загадочной загадочностью?

Что таится в его потертом дипломате?

Готовый сценарий или заявление о пролонгации?

У вас товар, у нас купец.

Пока он улыбается и справляется о здоровье, не скупясь на медицинские советы, я должна, как шахматист перед очередным туром или Наполеон перед Ватерлоо, просчитать возможные варианты. Если новая заявка, то как отклонить. Если сценарий, то кому направить на консультацию. Если просьба о пролонгации – проблем нет: решительный отказ с взысканием аванса.

Ты ждешь, когда он перейдет к делу, а он всё про искусство, про искусство. И ты, как бы ни была опытна и хитра, на какой-то момент потеряешь бдительность, благодушно расположишься в кресле, и не успеешь оглянуться, как заявку ты приняла, пролонгацию подписала, а сценарий уже лежит у тебя на столе, и ты его почему-то поглаживаешь.

Ты уже побеждена, но это только начало. Нет таких крепостей, которые не взяли бы сценаристы.

Твой дом для них не крепость. Для тебя тоже. Только успеешь надеть тапочки, поставить сковородку на плиту, отвесить подзатыльник сыну или дочке и приступить к исполнению домашних обязанностей, считающихся отдыхом после трудового дня, как раздается звонок телефона. Вкрадчивый голос предупредительно спрашивает: «Вы не очень заняты?» – «Не очень», – с тоской отвечаешь ты. – «Я отниму у вас буквально две минуты».

Масло шипит и перегорает на сковородке. Радостные дети понимают, что на сегодня с воспитанием покончено, а спать можно ложиться, когда захочешь.

Хмурый муж, наоборот, укладывается спать. А ты всё внимаешь бессмертным строкам или рассуждениям о судьбе героев и внезапных поворотах сюжета.

А видели ли вы когда-нибудь редакторский стол? О, вы не видели редакторского стола!

Если смотреть на него сторонним взглядом, то сразу вспоминается великий Чехов, который всё знал о жизни: «Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю».

Сколько они пишут! Ах, сколько они пишут, эти невозможные сценаристы, именуемые в дальнейшем «авторы»!

И всё же, и всё же! Начинается новый день, открывается дверь, и опять входит ОН – мой коварный, мой плодовитый, мой многократно пролонгированный, мой всегда пишущий не то, что требуется, мой ненаглядный, мой обожаемый автор.

И куда я без него? И куда он без меня?

Я встаю ему навстречу. Сердце моё радостно стучит, и я

говорю ему:

– Здравствуй!

57

Я вполне была довольна своей работой, но все-таки мечтала писать сама, и не то чтобы прославиться, на это я не рассчитывала, а хотя бы стать приличным сценаристом и, может быть, писателем. Всё время думалось, что главное в жизни проходит где-то рядом, что какие-то существенные движения души и ума остаются невостребованными. И я сочиняла потихоньку рассказы, даже начала небольшую повесть, но так ее и не закончила. (Я никогда не хотела быть режиссером. Чудовищное напряжение, постоянная отдача, необходимость подчинять себе других. По секрету сказать, они мне все кажутся немного умалишенными. Зачем мне это? Другое дело – лист бумаги или теперь экран компьютера. Это своего рода волшебство, в котором ты никого не угнетаешь и ни с кем не взаимодействуешь. Ты и он – чистый лист, который выжидательно на тебя смотрит.)

Однажды я разговорилась с Сашей Хмеликом и в очередной раз пожаловалась на судьбу, которая сложилась не так, как я хотела.

Он хмуро поглядел на меня и неожиданно жестко сказал: «Что ты всё ноешь и ноешь. Возьми и напиши сценарий!»

– Как? – обиженно ахнула я. – Ты же знаешь мои обстоятельства.

– У всех обстоятельства. Есть что сказать – пиши. А нет – сиди и помалкивай.

Я была обескуражена и задета. Даже рассердилась на него за непонимание и резкость. Но через несколько дней Хмелик вызвал меня в свой кабинет и сказал:

– Мы задумали сделать фильм по морским рассказам Бориса Житкова. Режиссеры – Сахаров и Светлов. Будешь писать?

– Буду! – не задумываясь бухнула я. Житков мне нравился в далеком детстве. С тех пор не перечитывала. Но самолюбие не позволило отказаться.

Я довольно быстро написала сценарий из нескольких новелл, предварительно согласовав их с режиссерами. В объединении сценарий понравился, режиссеры тоже не возражали. Всё складывалось как нельзя лучше. Хмелик хмыкнул: «Ну вот видишь. А то на судьбу валила».

И вдруг меня вызвал тогдашний главный редактор студии

Рекемчук, довольно известный писатель, неглупый и приятный человек. На столе у него лежал мой сценарий.

– Что это такое? – спросил он, ткнув в него пальцем.

– Сценарий, – тупо сказала я, похолодев.

– Как можно позволять себе писать сценарии в объединении, где вы работаете редактором? Это же неприлично. Я себе не позволяю писать для «Мосфильма». Заберите и больше никому не показывайте.

Я забрала. Вышла в коридор и расплакалась.

Хмелик пробовал протестовать, ходил к Рекемчуку, но тот был неумолим: «Одной разрешишь, все начнут писать». Замечу в скобках, что потом так и было. После ухода Рекемчука спустя некоторое время многие стали писать сценарии в свои объединения. И никого это уже не волновало.

Сценарии к фильму «Морские рассказы» написали сами режиссеры, выбрав другие новеллы, благо их там было достаточно. Фильм получился очень неплохой, хотя теперь, вероятно, прочно забыт.

Эта история имела удивительное продолжение. Когда фильм был закончен и принят, режиссеры (они же сценаристы) получили постановочные и потиражные. Потиражные платили за сценарий.

Как-то раз мы собрались идти обедать в наш так называемый творческий буфет. Я полезла в стол за кошельком, взяла его и вдруг почувствовала, что он какой-то странно тяжелый. Открыла и обомлела. В кошельке лежали огромные деньги, каких я никогда в руках не держала.

– Катя, что это? – испуганным голосом спросила я свою соседку по редакторской комнате Катю Лебедеву.

Она подошла, посмотрела и хмыкнула:

– Не знаю. Тут за вашим столом, когда вас не было, всё Сандрик Светлов вертелся. Наверное, он положил.

Я сразу всё поняла и побежала искать Сандрика. Вообще-то его звали Александр Михайлович – сын знаменитого в наши времена поэта Михаила Светлова, – а поскольку мать у него была грузинка Родам Амирэджиби, его с детства все звали Сандриком.

Я нашла его на одном из этажей и сразу напустилась:

– Что это такое? Вы же снимали по своему сценарию, а не по тому, что я когда-то писала. Заберите немедленно!

Он спокойно посмотрел на меня и сказал:

– В науке существует такое правило: если сделано открытие, то ученые, которые раньше работали над этой проблемой и не решили ее или решили неправильно, считаются причастными к открытию. Они отсекли лишние ходы, ошибочные решения. И тому, кто открыл, не пришлось тратить на это время.

– Ну при чем тут это, Сандрик? – взвыла я. – Вы же совсем другую новеллу делали!

Он приобнял меня за плечи:

– Мила, вы нашли интонацию. Показали, как можно компоновать материал. Вы работали, положили много сил. Мне нравилось то, что вы написали. И не ваша вина, что так всё получилось. И вообще, я грузин. Я не смогу жить, если не поделюсь с вами. У нас так не принято.

Мы долго еще препирались. Наконец я сдалась, поняв, что если не возьму, то, правда, обижу его.

Вот такой человек Сандрик Светлов, один из лучших людей, которых я знала в жизни. К сожалению, он потом забросил режиссуру по неизвестным мне причинам. Может, новые времена не приняли его. Или он их.

А мы на эти деньги поехали с мужем в путешествие на Дальний Восток. Объехали на пароходе Курильские острова, Сахалин, Находку. Я немало поездила по свету, но это стало самым замечательным путешествием в моей жизни.

58

В нашей редакторской комнате вдоль одной стены тянулись полки, забитые папками со сценарными делами. Внизу у полок была такая приступочка, на которую приходящие обычно ставили свои портфели и дипломаты, как тогда называли маленькие прямоугольные чемоданчики для книг и рукописей.

Однажды в комнату набилось столько народу, что стульев не хватило, и кто-то из более молодых присел на эту приступочку. Мой стол находился у противоположной стены. В какой-то момент я подняла глаза и увидела, что полки медленно наклоняются вперед. Медленно-медленно, но неотвратимо. Я даже не вскрикнула, а как завороженная смотрела на это движение. Через несколько секунд посыпались папки. Некоторые раскрывались на лету. Другие падали на головы и колени сидящим. В первую минуту было даже страшно, а потом почему-то смешно.

Первым опомнился Хмелик. Бросился вперед и руками пытался подпереть падающие доски. Вася Аксенов пришел ему на помощь. Потом опомнились и остальные. Только Володя Амлинский совершенно потерял самообладание от страха. Потом выяснилось, что он на днях вернулся из Средней Азии, где попал в страшное Ташкентское землетрясение и навидался там такого, о чём забыть невозможно. А мы, редакторы, выскочили в коридор и

начали хохотать – неостановимо и необъяснимо. Наверное, на нервной почве.

Полки, уже пустые, кое-как прислонили к стене. Потом рабочие их приколотили покрепче. Мы несколько дней разбирали завал и выбрасывали осколки посуды.

До сих пор у меня перед глазами стоит фигура тощего, как палка, Хмелика, который, как Атлант, держит на себе эту тяжесть.

Какое же это было счастливое и плодотворное время! И во многом благодаря Хмелику, веселому, талантливому, необычному человеку, который жил атмосферой творчества. Он был новатором. И именно поэтому не сгодился иным временам, пришедшим на смену оттепели, которым милы были серость, ординарность и вялое спокойствие. Сначала его довели до того, что он подал заявление об уходе из объединения. Потом постепенно стали вытеснять из драматургии и добили окончательно уже в начале перестройки, когда он воспрял, согласился на предложение стать главным редактором киностудии имени Горького и уверенно начал работу, которая оборвалась внезапно надуманным, сфабрикованным делом о недоплате партийных взносов. Его чуть не исключили из партии, и Хмелик снова вынужден был уйти, оставшись почти номинально руководителем созданного им киножурнала «Ералаш».

Всё это в конце концов сломило его. Пошли болезни, печали, уединение. Он перенес тяжелую сердечную операцию и исчез, осел в Красновидово под Москвой. Ничего, насколько знаю, не писал, ни в чем не принимал участия, ни с кем не общался, кроме соседей по даче.

Вероятно, он крепко обиделся на жизнь и на всех нас, потому что, умирая, просил, чтобы на похороны никого не звали и даже не пускали. Прорвался только решительный Валерий Кремнев. Он говорил мне потом, что это были одни из самых печальных похорон, какие он видел в жизни.

Я болела тогда и всё равно не могла бы поехать, но сразу сказала себе, что должна написать об Александре Григорьевиче, о Саше, как мы между собой его называли. Должна не из чувства долга и вины, а потому что нужно восстановить равновесие и справедливость. Смена эпох, его отход в тень и забвение не имеют права заслонить от нас тот непреложный факт, что это был один из самых блестящих людей, творивших время и создававших атмосферу эпохи. Когда-нибудь историки расставят всё по своим местам. Мы слишком субъективны и эмоциональны, наши дети и внуки – те, кто пришел за нами, – тоже, только с другим знаком. Где же истина? Она откроется потом. Наше дело – быть

свидетелями, так сказать, ловцами фактов и выразителями правды в той части, в которой она для нас открыта.

59

В нашем объединении было снято много незаурядных фильмов: «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен» Элема Климова, «Мимо окон идут поезда» Эдуарда Гаврилова и Валерия Кремнева, «Без страха и упрёка» и «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты и другие.

Но именно поэтому над «Юностью» стали собираться тучи.

Комитет по кинематографии не жаловал наше объединение. Мы почти всегда делали не совсем то или совсем не то, что они хотели. Кончилось крупным скандалом – теперь не припомню, по какому конкретному поводу. Хмелик подал заявление об уходе. Заявление охотно приняли. На какое-то время мы остались без главного редактора. Потом пришел Сергей Тарасов. Человек симпатичный, но руководитель, во всяком случае, для нашего объединения, никакой. На конфликты не шел, своей программы не имел. Впрочем, пробыл на посту недолго. Ушел в режиссуру. И мы опять зависли. Обсуждались какие-то кандидатуры, но ни одна не казалась нам интересной и «нашей».

И тут случилось неожиданное.

Я была в Доме творчества «Репино» на очередном семинаре. Внезапно туда приехал Юрий Федорович Солдатенко – бывший комсомольский работник, руководивший нашим объединением с момента создания. Приехал лично ко мне, как он заявил с порога. Я испугалась. И не зря. Он предложил мне занять пустующий пост главного редактора, сказав, что это единодушное решение всех штатных и внештатных членов коллегии и что всё уже согласовано с руководством студии и Комитета.

Я решительно отказалась. Я не хотела быть никаким начальником. Мне это не нравилось. Я была не уверена в себе. К тому же семья, дети, и еще я училась в аспирантуре ВГИКа – чтобы, получив ученую степень, не зависеть от единственного места работы. Надеялась писать. В общем, становиться руководителем было мне ни к чему.

Отбивалась изо всех сил, хотя было немного неловко, что человек специально приехал, уговаривает. Мне всегда было трудно отказывать, когда очень просят. Но тут я упиралась, говорила, что не справлюсь, не смогу, не сумею командовать людьми, моими товарищами по работе. И вообще, после Хмелика…

Тогда Солдатенко, которого мы между собой звали просто Солдат, выложил последний аргумент. Он сказал, что, если я не соглашусь, пришлют человека из Комитета, а это означает, что объединение, где нам так хорошо и радостно работалось, практически закончит существование в том качестве, в котором мы его любили.

И тут я дрогнула. Я поняла, что на мои плечи ложится огромная ответственность и я не смогу себе простить отказа. Сказала, что еще подумаю и утром дам ответ.

Я проплакала всю ночь, думая о непосильном бремени, которое на себя беру. А утром дала согласие.

Так в очередной раз изменилась моя судьба. Теперь уже до конца рабочих дней. Изменилась помимо моего желания, как бы свыше.

Я не испытывала никакой радости, даже радости самолюбия. Только тяжесть и страх.

Это случилось в мае 1972 года.

60

Каким я была руководителем объединения, не мне судить. Во всяком случае, старалась изо всех сил. Ничего не понимала в финансах и мало что в производстве. Николай Трофимович Сизов, тогдашний директор «Мосфильма», прикрепил ко мне экономиста, чтобы помогал, и отдал распоряжение, чтобы меня в кабинет директора пускали без доклада и очереди.

Что такое Сизов, расскажу в одной сцене.

Митта готовился снимать совместно с японцами картину «Москва, любовь моя». Японцы приехали в Москву для предварительных переговоров. Собрались у Николая Трофимовича. Обсуждался проект договора, подготовленный нами. Встал молодой, стройный и в отличие от остальных довольно высокий японец – продюсер. Я тогда еще смутно представляла, что такое продюсер. Он произнес (через переводчика, конечно) длинную и жесткую речь, диктуя свои условия, резко отличавшиеся от наших. Высказался и сел. Наступила тишина.

Сизов довольно долго молчал, потом поднял свой тяжелый взгляд. Обвел всех глазами и остановил взор на своем помощнике. «Так, – сказал он, не повышая голоса. – Немедленно едешь на аэродром и покупаешь им всем билеты на ближайший самолет. Переговоры закончены». Переводчик перевёл. Продюсер побледнел. Потом вскочил и начал что-то лепетать. Японцы

приняли все условия советской стороны.

Солдатенко улетел в Японию со съемочной группой Митты и совершил там некий административный проступок, злоупотребил свободой. Сизов был в гневе. Вернувшись, Солдатенко попал в больницу. Однажды позвонил мне оттуда, попросил приехать. Я приехала. Мы ходили по двору, он расспрашивал о делах, рассказывал о Японии, а потом вручил мне письмо и попросил передать Сизову.

На следующий день я пошла к Николаю Трофимовичу. Вошла (без доклада) к нему в кабинет и положила на стол письмо. «Это вам просил передать Солдатенко». Сизов схватил письмо, швырнул его в угол и заорал на меня: «Зачем ты к нему ездила, зачем привезла мне это? Слышать о нем не хочу!»

Прошло много лет. Наступили другие времена. Я давно уже не работала на «Мосфильме». Сизова сняли с должности директора. Я по каким-то своим делам приехала в Дом ветеранов кино в Матвеевском. Пришла в столовую и вдруг увидела Николая Трофимовича. Он был неузнаваем. Очень состарившийся, согнутый, плохо и небрежно одетый – брюки сползли, мотня качалась в районе колен. Я поздоровалась. Он посмотрел на меня мутным взором и не ответил. «Он никого не узнаёт, – сказали мне. – Сломался».

Я была потрясена. Такой сильный, жесткий человек, и так его раздавило.

Но возвращаюсь к своей истории.

Солдатенко уволили. А «Юность» вскоре расформировали.

Меня назначили главным редактором во Второе объединение, бывшее Пырьевское, которым теперь руководил Лев Оскарович Арнштам.

61

Это была совершенно другая компания. Ни той открытости, что была в нашей «Юности», ни безалаберности, помноженной на энтузиазм, ни свободы высказываний, ни горячих, хотя зачастую и бесполезных споров. Всё достойно, чинно, разумно. И чуть скучно.

Лев Оскарович – очень приятный, интеллигентный человек. В свое время окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепьяно. Заведовал музыкальной частью театра Мейерхольда. В кино начинал как звукорежиссер. Поставил несколько известных фильмов, в том числе знаменитую «Зою» – о Зое Космодемьянской, с Галиной Водяницкой в главной роли. За эту

картину Арнштам получил Сталинскую премию и Водяницкую в жены.

В их дружной и милой семье я любила бывать. Казалось, прикасаешься к иной жизни, не такой судорожной, как моя. Какое-то внутреннее спокойствие, доброжелательность, культура отношений.

Но работать с ним было мне непросто. У нас нередко расходились мнения. А главное, он, как и многие другие, прошедшие через страшные сталинские годы, был в чем-то человеком надломленным и компромиссным. Говорил много и обтекаемо. Часто уклончиво. Любил, чтобы за него решения принимали другие – что называется, большинством голосов.

Никогда не забуду (и не прощу себе), как на каком-то большом студийном собрании он выступал долго и обстоятельно и ничего не сказал важного и интересного. Закончив, сел рядом со мной и довольно спросил: «Ну, как?» И я резко ответила: «Пустая трата времени и слов. Я ничего не запомнила». Он сник, как будто силы оставили, погрустнел и ушел в себя. Зачем я это сказала очень пожилому, по тогдашним моим меркам, человеку? Он уже не мог стать другим. Да и какое право я имела, сама ничего значительного не сделавшая в жизни?

Я проработала во Втором объединении меньше года.

Из всего, что там было, запомнилось только одно.

Ко мне зашел Сергей Соловьев, тогда еще молодой режиссер, впрочем, уже поставивший несколько короткометражных и два полнометражных фильма. Лев Оскарович его любил и гордился им. Мне он тоже был очень интересен.

Сергей положил на стол объемистую рукопись и как-то не очень уверенно или, скорее, не очень настойчиво сказал: «Тут один мой приятель написал повесть. Мне кажется, по ней можно сделать фильм. Почитайте». Я вздохнула – стол был завален такими рукописями. На работе я читать почти не успевала. Взяла домой.

Дома, как всегда, хозяйственные дела, потом нужно проверить уроки у детей, хоть немного пообщаться с мужем. Я открыла рукопись, когда уже легла в постель. Думала прочесть несколько страниц, чтобы составить первое представление, на большее не рассчитывала. Начала читать – и не могла оторваться. Повесть называлась «Сто дней после детства».

Читала до самого утра, днем позвонила Соловьеву и сказала, что, по-моему, надо немедленно садиться писать сценарий. «Правда?» – обрадовался он.

Вскоре он познакомил меня с автором – совсем молодым и никому не известным человеком, Александром Александровым,

которому я позже посоветовала пойти на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, он их окончил и стал очень известным кинодраматургом, а две картины снял как режиссер.

Мы потом еще работали с ним несколько раз – в частности, на любимом мной фильме «Деревня Утка», сценарий которого Саша написал на курсах. Не помню, была ли это учебная работа или диплом. Зато хорошо помню, как, прочтя первый вариант, который мне понравился, я все-таки сказала ему, что сценарий какой-то незавершенный. Там действие происходило только в деревне. Мне показалось, нужно добавить город. Саша сначала спорил, потом замолчал и задумался. А через какое-то время принес уже тот сценарий, из которого потом возник фильм, снятый режиссером Б. Бунеевым, – прелестная, ни на что не похожая сказка о дружбе современной городской девочки и домового, которого потрясающе сыграл Ролан Быков.

Саша был очень талантливым человеком, но впоследствии (тогда наши пути уже разошлись) с ним произошла странная трансформация. Первые его работы – очень нежные, добрые, чуть грустноватые. А последние – довольно жесткие, я бы даже сказала – саркастические. Так, во всяком случае, мне тогда казалось. Проверить не могу: посмотреть или хотя бы прочитать сценарии негде.

Он, к сожалению, рано ушел из жизни.

И еще одно воспоминание тех времен. Крохотная, почти незначительная сценка, но почему-то запомнилась.

Я не была знакома с Василием Шукшиным. Наши пути не пересекались. Я очень любила и его прозу, и фильмы. Однажды ко мне в кабинет постучали. «Войдите». Вошел Василий Макарович с какой-то бумажкой в руке и направился к моему столу, по дороге стащив с головы кепку. Протянул бумажку. Это был счет на оплату за съемки. Я просмотрела его и с недоумением спросила: «А я при чём?» Шукшин сказал: «Тут написан номер вашей комнаты». Я вгляделась: «Так это же другой корпус». – «Ой, извините, извините». И стал пятиться, кланяясь, прижимая кепку к груди. Меня почему-то поразил этот его уход. Как будто передо мной провинциал, попавший в столицу и чувствующий себя очень неуверенно. Он – знаменитый, даже прославленный. Как это, наверное, глубоко сидит в нашем сознании – приниженность, чувство бесправности. Я тоже не раз ловила себя на том, что, оказавшись в каком-нибудь госучреждении, даже в домоуправлении по личным делам, начинаю говорить просительно, как-то жалко и фальшиво.

1974 год был для меня трагическим.

28 января умерла мама. У нее был рак. Это обнаружилось в сентябре. Мне удалось достать ей и тете Эмме путевку в Дом творчества «Репино». Ехали они радостно, предвкушая отдых на берегу Финского залива в довольно комфортных по тому времени условиях. Правда, мама уже плохо себя чувствовала, жаловалась на дурноту и боли в желудке. Но очень надеялась, что отдых поможет.

Но там ей стало значительно хуже. Почти не могла есть – после каждой еды рвало, и боли всё усиливались.

Они пробыли в «Репино» дней десять и вернулись задолго до окончания срока путевок.

В Москве мы сразу показали ее знакомому врачу Борису Риману: он был почти приемным сыном тети Эммы – другом ее погибшего сына Льва. На рентгене обнаружили опухоль, про которую Борис сказал, что она уже не подлежит операции.

Боли были очень сильные. Я приходила к маме. Она почти всё время сидела, лежать было еще труднее. Сидела с закрытыми глазами, не разрешая себе стонать. Медсестра из поликлиники делала уколы два раза в день. Ненадолго становилось легче, и мама засыпала. Мы скрывали от нее диагноз, но она, конечно, догадывалась. Хотя и не говорила нам.

Потом я забрала ее к себе на Красносельскую, где жила с мужем Андреем, детьми и свекровью. Пыталась лечить, связавшись с некой знахаркой, – говорили, она творит чудеса. Чуда не случилось.

Сима Лунгин помог устроить маму в больницу. Там ее держали на очень сильных обезболивающих. Она почти всё время была в забытьи. Я дежурила около нее каждый день с утра до вечера, пока не выпроваживали.

В один из последних дней я сидела около нее (она лежала в двухместной палате с такой же умирающей). Вдруг мама приоткрыла глаза и с трудом, продираясь через наркотическое полусознание, спросила меня: «Когда?» – «Что когда, мама?» – «Когда тебе ехать?»

Я не сразу поняла, о чём она спрашивает. Потом осенило: несколько месяцев тому назад мне предложили поехать во Францию на международную конференцию по детскому кино. О Франции я тихо мечтала с юных лет, начитавшись Хемингуэя, Эренбурга и многих других. Оформила все нужные документы, но последнее время не думала о поездке. Не могла же я оставить маму. «Десятого февраля», – машинально ответила я. «Успею», –

прошептала мама. Это были последние слова, которые я от нее слышала. С этим она ушла – со всегдашней заботой обо мне. Умерла через день, ночью. И меня не было около нее.

Во Францию я поехала. Нас было двое от Советского Союза, я и киновед Кира Парамонова. Она не раз бывала во Франции и в отличие от меня знала французский. Так что я сопровождала ее, присутствовала на заседаниях, но по большей части ничего не понимала. Переводчика не полагалось, Парамоновой было некогда, да, наверное, и не хотелось переводить. В свободные часы она общалась со знакомыми, занималась своими делами, а мне говорила небрежно: «Погуляйте по Парижу».

И я гуляла.

Наверное, это меня спасло от угнетенности и потерянности, которые наступили после маминой смерти.

Сиротство бывает не только в детстве. Мы были очень близки. Мамина любовь и постоянная забота обо мне, моя любовь и преданность ей – с этим я жила много лет. Правда, последние годы мы несколько отдалились друг от друга по моей вине. У меня очень непросто складывалась семейная жизнь, и я не хотела тревожить маму. Многое не рассказывала, скрывала, она это чувствовала и огорчалась. Однажды грустно сказала: «Мне теперь Дина (двоюродная сестра) ближе, чем ты».

До сих пор не могу себе этого простить.

Мама всю жизнь носила волосы расчесанными на прямой пробор, что придавало ее облику выражение строгое и лаконичное. Однажды, уже в старости, она поехала в Нальчик повидаться с подругами молодости. Когда вернулась, я встречала ее на вокзале. Из вагона появилась какая-то незнакомая женщина со жгуче-черными крашенными волосами, обезображенными мелкой перманентной завивкой.

– Мама! – в ужасе закричала я. – Что ты с собой сделала?

До сих пор помню, как растерянно и виновато она посмотрела на меня. Видимо, подруги убедили ее, что так она выглядит моложе и лучше. А я грубо и бестактно уничтожила иллюзию. Сердце болит, когда вспоминаю. Сколько в ней было тогда незащищенности и надежды. Больше мама никогда не красилась и не завивалась. В последние годы к ней вернулась ее детская неловкость. Мы называли ее шутя «танк» – она всё сметала на своем пути.

В этом же году летом умерла моя свекровь. Муж впал в глубокую депрессию, которая у него всегда выражалась в одном – заливал печаль водкой. И сделать я ничего не могла. Только горевать и ссориться.

Дети были в самом сложном подростковом возрасте – одному

пятнадцать, другой почти тринадцать. Работа отвлекала, но не спасала. Трудное было время. Но тут произошло непредвиденное.

Вдруг позвонили из ЦК партии, кто именно, совершенно не помню, и попросили прийти. Я, конечно, испугалась, вернее, встревожилась. Никогда ничего хорошего оттуда не ждала. Единственное удовольствие было заглянуть в их буфет. Кормили хорошо и очень дешево. Поэтому пришла чуть раньше, пообедала и, собравшись с силами, отправилась на прием.

Встретили меня очень приветливо, расспрашивали, как идут дела в объединении, а потом предложили перейти на киностудию детских и юношеских фильмов имени Горького. «Почему?» – удивленно спросила я. Мне объяснили, что у меня большой опыт работы в детском кино, а на студии создано специальное объединение именно детских фильмов. Художественный руководитель Юрий Павлович Егоров, директор Михаил Александрович Литвак. А главного редактора пока нет.

Я растерялась. Я любила детское кино. Самые лучшие годы были связаны с ним. В объединении у Арнштама мне было как-то не очень интересно. Что-то пырьевское, мне чуждое, там еще сохранялось. Но, с другой стороны, уйти с «Мосфильма», где я проработала к тому времени 14 лет, где всё было родное, привычное, даже любимое…

Я так честно и сказала. Попросили подумать, но не долго. Объединение уже начинало работать.

Вернулась домой в глубоком смятении. Вечером позвонил Егоров, с которым я была едва знакома. Где-то пересекалась, на каких-то семинарах, кажется. Он спросил, что я решила. Я повторила формулу своих колебаний. И тут он выложил неожиданный аргумент. Мой муж Андрей работал в это время заместителем директора учебной киностудии ВГИКа. Работал хорошо, но мечтал перейти на настоящее производство. А это было по разным причинам непросто. Юрий Павлович вел режиссерский курс в институте и Андрея прекрасно знал. Знал и о его мечте. И он сказал мне, что скоро собирается запускаться с новым фильмом и готов взять Андрея директором на картину.

Этот аргумент всё решил. Я тут же дала согласие и вскоре приказом Госкино была переведена на киностудию Горького на должность главного редактора объединения и одновременно, в соответствии с тогдашним порядком, заместителя главного редактора студии.

Студия мне поначалу не нравилась. Все друг друга знают, беспрерывно пьют чай и судачат. Редакторские комнаты на одном этаже. Перемывали косточки с удовольствием, правда, не злобно, скорее заинтересованно и с ощущением полного права, как в одной семье. Меня раздражала эта домашность. После «Мосфильма» студия Горького казалась провинциальной, даже какой-то унылой.

Потом я привыкла. Но до конца своей так и не стала.

Помню, однажды обратила внимание, как неторопливо люди ходят по коридорам. Останавливаются поговорить – о том о сём. На «Мосфильме» все неслись. Так и вижу тамошние длинные коридоры, напряженные спины людей, идущих впереди, приветственные улыбки на бегу. «Мосфильм» не располагал к раздумью – скорее к действию.

Я человек как раз медлительный. Казалось бы, темп горьковской студии должен больше подходить. А почему-то раздражал. Наверное, я была не права.

Однажды обронила что-то на эту тему в разговоре с Александром Моисеевичем Володиным, которого любила и уважала. Он посмотрел своими проницательными глазами и спросил: «Что, на бегу думается лучше?» Я засмеялась. Тут меня куда-то позвали, и я ушла, оставив его в своем кабинете. Когда вернулась, Володина уже не было, и я забыла об этом разговоре. Но потом обнаружила в настольном календаре надпись, которую Володин сделал, когда я выходила, и почти целый год, переворачивая очередную страницу, читала: «Думай о жизни». Сначала смеялась, потом, правда, задумалась и приняла это как напутствие замечательного, очень большого и талантливого человека. Так всё и размышляю до сих пор.

Юрий Павлович Егоров был человек непростой – обходительный, но лукавый, с хитринкой. Иногда довольно жесткий. Иногда, наоборот, мягкий, добрый, светлый. Его реакцию трудно было предугадать. Некоторые считали его двуличным. Но, думаю, ошибались. Просто он привык приспосабливаться к власти, как многие в то время.

Мне с ним неплохо работалось. Правда, иногда цапались, и довольно сильно. Бывало, наши мнения резко расходились. Но это не сказывалось на отношениях. Он часто подвозил меня до дому или до метро. И в машине, когда мы оказывались вдвоем, без посторонних, был совсем другим, чем на студии, – тихим, задумчивым, даже нежным. Много рассказывал о своей жизни, о людях, с которыми встречался и дружил. Расспрашивал и, бывало, давал точные советы; помогал, когда мог.

Объединение у нас было дружное, спокойное. Этому немало

способствовал директор Михаил Александрович Литвак, человек уравновешенный, не занимавшийся интригами и самоутверждением. И тем не менее я редко возвращаюсь мыслью к этому периоду жизни. Какое-то безразличие живет во мне по отношению к этим годам. И фильмов ярких мы не выпустили – если не считать любимую мной картину Инны Туманян «Когда я стану великаном». Но об Ине (она всегда настаивала, что ее имя пишется с одним «н») я постараюсь написать отдельно, если хватит сил и времени.

Впрочем, неплохие картины были. Та же «Деревня Утка» Б. Бунеева. «Ветер странствий» Ю. Егорова. «Усатый нянь» и «Шла собака по роялю» В. Грамматикова. «Пропал и нашелся» И. Ясуловича. Но событиями они не стали и лица объединению не сделали.

Каким-то образом, сама не знаю как, я понравилась Сергею Аполлинариевичу Герасимову, а главный редактор студии Анатолий Балихин, наоборот, понравиться ему не сумел. Там заварилась серьезная каша; я особенно не вникала, но понимала, что Балихин не угодил всем трем китам студии – Герасимову, Лиозновой и Ростоцкому – и в конце концов его сбросили обратно в Госкино, откуда он в свое время пришел.

Это было примерно за год до моего ухода со студии, во времена царствования недоброй памяти Филиппа Тимофеевича Ермаша, тогдашнего министра кинематографии. Царем он был всевластным, казнил и миловал как хотел. К тому же, подобно всем остальным монархам, был уверен, что раз его сюда поставили, то он всегда прав.

Балихин ушел, и вскоре я стала замечать, что со мной как-то особенно здороваются люди, которые прежде не обращали внимания. Я насторожилась. Это был плохой признак. И точно: доброхоты донесли, что Герасимов прочит меня на освободившуюся должность.

Меня охватила настоящая паника. В мои планы совершенно не входило подниматься по бюрократической лестнице. Я и так достаточно настрадалась с тех пор, как на «Мосфильме» под давлением обстоятельств, о которых рассказывала, дала согласие занять первую свою командную должность, надеясь, что меня спасут две маленькие буквы, стоявшие в приказе о назначении, – «и.о.» Тогда я еще не знала, что в том мире обратного пути нет, и, ступивши на первую ступеньку, ты обречен или навечно оставаться там, или карабкаться вверх, или с грохотом лететь вниз, естественно, не по своей воле. Добровольного ухода в этом мире не признавали.

Кроме того, я хорошо понимала, что студию мне не потянуть.

Она переживала не лучший период, разрываемая всякими противоречиями. «Три кита» тоже не способствовали созданию идеальной атмосферы для творчества, каждый тянул в свою сторону. Да и времена были не лучшие – 78 год, с либерализмом покончено.

Но как отвертеться от грядущего назначения, если слухи окажутся правдой? У меня уже был небольшой, но довольно впечатляющий опыт общения с начальством. Я знала, что никакие доводы в расчет приниматься не будут, а ссориться всерьез не хотелось – двое детей, только что развелась с мужем. Другой профессии у меня не было.

В голову ничего не приходило. Я понадеялась, что как-нибудь пронесет, и отправилась в отпуск.

Но не успела вернуться, даже еще не вышла на работу, как дома раздался звонок. Звонила секретарь главного редактора Госкино. Меня срочно вызывали в комитет. Поинтересовалась, сколько времени мне нужно на дорогу. Я опрометчиво ответила – не подумав, что сижу в домашнем платье, неприбранная и не готовая ни к какому разговору.

Кажется, еще и троллейбуса долго не было… В общем, опоздала минимум на полчаса. Опаздывала я частенько, но всегда переживала. Один мой друг справедливо заметил, что нужно выбрать что-нибудь одно – или не опаздывать, или не переживать. Но ему легко было говорить – он человек точный.

Вот и теперь я переживала, вместо того чтобы готовиться к разговору. Пробормотала извинения, меня отругали, что заставила ждать самого министра, и через минуту я уже едва поспевала за стремительно шагавшим по коридору и лестницам начальником, мучительно пытаясь сообразить, что же делать и как отвертеться.

И на последней лестнице, ведущей к кабинету Ермаша, меня осенило: «Я женщина, у меня свои проблемы, и нечего их скрывать. Единственный способ заставить себя слушать – говорить на простом, обычном, бытовом уровне. Они к этому непривычны. Они такого не слышат в своих кабинетах».

Мы прошли через приемную, полную ожидающих, дверь открылась, и я оказалась в святая святых – где потом мне приходилось довольно часто бывать и при этом министре, и при следующем, и при третьем.

Первый, кого я увидела, был не сам хозяин апартаментов, а его грозный заместитель Борис Владимирович Павленок. Обычно он не удостаивал меня даже кивка, а тут приветливо и радостно заулыбался. Вообще народу в кабинете было довольно много, я не всех знала в лицо.

Ермаш тоже был сама любезность. Встал из-за стола, пожал мне руку и спросил, внезапно перейдя на «ты»:

– Ну, как отдыхалось? Хорошо в отпуске?

Я не успела ответить, как Павленок хохотнул:

– А разве не видно?

Я с ужасом поняла, что со мной разговаривают, как со своей, что я как бы принята в их ряды, что всё решено и обсуждению не подлежит.

– Ну, – торжественно сказал Ермаш, – догадываешься, зачем мы тебя сюда пригласили?

Я промолчала, да он и не ждал ответа.

– Мы решили назначить тебя главным редактором киностудии.

– Какой? – глупо спросила я, чтобы выиграть время.

– Горького, разумеется.

– Нет, я не справлюсь. Там нужен мужчина, человек с характером.

– Ну, не прибедняйся, – вступил в разговор Павленок, – мы тебя знаем. (Откуда? – подумала я). Ты пользуешься авторитетом. Если что, поможем.

Все закивали. Обстановка становилась всё более торжественной. Еще секунда, и они начнут меня поздравлять, и тогда будет поздно.

Я решилась.

– Нет, не могу, – с трудом сказала я. – Я в плохой форме. Мы только что расстались с мужем, с которым прожили немало лет. У меня сын поступает в институт. Дочь в трудном возрасте. Я одна с моими проблемами – очень непростыми. Рада бы, да не могу. Извините, Филипп Тимофеевич.

Наступило растерянное молчание.

Всё, что я говорила, было правдой, и они не могли этого не почувствовать. А своих слов на этот случай у них не было.

– Да, – наконец сказал Ермаш. – Неожиданно. Ну, и кого ты порекомендуешь на это место?

Пронесло, с радостью подумала я и уже свободно, без колебаний, предложила:

– Хмелика Александра Григорьевича.

– Хмелика? – удивился Ермаш. – Нет, Хмелик не подходит. Он слишком независим. С ним трудно будет справиться.

Видно, он слишком был выбит из колеи, что высказался с такой откровенностью.

Я почувствовала, что уже можно прощаться. Приветственные улыбки исчезли. Интереса для них я больше не представляла.

И только Павленок, пожимая мне руку, сказал почти с

восхищением:

– Да, сделала ты нас, ничего не скажешь.

По дороге домой я чувствовала себя усталой, опустошенной и почему-то униженной.

«Другого выхода не было, – уговаривала я себя. – Скоро всё забудется».

И вдруг с удивлением поняла, что их растерянность была вызвана не только моей откровенностью. Просто у них не укладывалось в голове, что кто-то может не захотеть занять столь престижное и почетное, с их точки зрения, место. И поэтому они были разочарованы. И даже, может быть, обижены.

64

На студию пришел новый директор, Евгений Сергеевич Котов. Я знала Женю еще со ВГИКа, и он мне никогда не нравился. Самодовольный приспособленец, не способный и не желающий понять другого.

Тем не менее поначалу я отнеслась к назначению спокойно. С прежним директором Григорием Ивановичем Бритиковым мы не так уж много взаимодействовали. Он не вмешивался в редакторские дела, а если его что-то не устраивало, спокойно обсуждал проблему, прислушиваясь к нашему мнению и ясно аргументируя возражения.

Приступив к обязанностям директора, Котов собрал нас всех и выступил с тронной речью. Не помню, что именно говорил, но я вышла из его кабинета с решением немедленно подать заявление об уходе. Даже начала писать, но тут вдруг вспомнилось, как мама всегда говорила: «Переспи с решением. Утро вечера мудренее».

Я так и сделала – отложила написание на завтра.

Утром мне позвонили из Госкино и попросили немедленно прийти к Павленку. Борис Владимирович с ходу, без обиняков, предложил мне возглавить Центральную сценарную студию. Он ничего не знал о нашем вчерашнем собрании и о моем решении, естественно, тоже.

Я согласилась не раздумывая. Не только потому, что это был выход. Сценарная студия мне всегда казалась хорошим делом. Я там начинала, знала, как устроена работа, – мне нравилось.

Так совершилась очередная перемена в моей судьбе. Я ушла со студии Горького спокойно, тихо, без скандала и выяснения отношений: все понимали – пошла на повышение. Стала главным редактором – директором.

Я уже говорила: всё хорошее приходило ко мне безо всяких моих усилий и хлопот. Наверное, в этом и заключалось моё счастье.

65

Когда я пришла в Сценарную студию, на какое-то мгновение показалось, что я вернулась в далекую юность. Конечно, всё стало другим. Давно уже не было редакторов, с которыми я когда-то работала. Не было замечательного художественного совета. Да и место новое: прежде Студия занимала несколько комнат в боковом крыле Комитета по кинематографии, а теперь помещалась в старинном особняке в Воротниковском переулке, где когда-то у своего друга Нащокина останавливался Пушкин: об этом напоминала мемориальная доска перед входом. Там же находилась редакция альманаха киносценариев, но основные помещения принадлежали Студии. Директор, то есть я, сидел в большом кабинете, в который нужно было проходить через секретарскую комнату. Должность называлось пышно: «главный редактор – директор ЦСС». Всё было другое. И всё же… Могла ли я когда-то подумать, что возглавлю студию, с которой начинала свой путь в кинематографе?

Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что после объединения «Юность» это были самые счастливые дни моей работы.

ЦСС, как ее чаще всего называли, работала теперь не только на республики, но и на столичные студии. При мне там, например, писался сценарий В. Мережко «Родня», который поставил Н. Михалков, «Охота на лис» А. Миндадзе для В. Абдрашитова.

В студии, которой до меня руководил В. Соловьев, сложился дружный и по-настоящему творческий коллектив: М. Кваснецкая, Г. Сенчакова, Е. Котова (бывший завлит «Современника» в лучшие его годы). Самым ярким и интересным был Александр Свободин – критик и драматург. Еще один человек, за знакомство с которым я благословляю судьбу.

У него не было никаких ярких особенностей – ни запоминающейся внешности, ни блистательной говорливости. Но это был настоящий русский интеллигент. Именно русский, хоть он и был евреем.

Написала это и сама на себя разозлилась. Какая разница – еврей, русский, грузин, украинец. Русская интеллигенция – общее понятие. Не берусь его расшифровать, хотя очень чувствую. Не просто человек умственного труда, а человек, приобщенный к

культуре всем своим существом. Тонкий, одухотворенный, в чем-то, может быть, слабый, но наделенный силой особого восприятия мира. …Нет, остановлюсь. Ничего не получается.

Короче, Саша Свободин, как мы его между собой звали, был человек необыкновенный. Когда он начинал говорить, все замолкали, и на лицах появлялось выражение какого-то особого внимания и даже просветления.

Он бывал и уклончив, и празднословен. У него было достаточно своих слабостей, как у всех нас. Но в главном, в решающем – всегда точен, глубок и прозорлив. Когда мне нужно было принять решение в сложных ситуациях, которых хватало с избытком, я всегда советовалась с ним. И если даже не соглашалась до конца, всё равно учитывала его мнение, вдумывалась в сказанное им.

У Саши было очень плохо с глазами. С детства носил очки с толстенными стеклами. Однажды он оказался в заграничной командировке со знаменитым офтальмологом Федоровым. Кажется, в Англии, в каком-то небольшом городе. Они подружились. Общались, гуляли. Федоров пытливо поглядывал на Сашу и вдруг попросил – снимите очки. Тот снял, всё мгновенно расплылось перед ним, он растерянно замигал. Федоров надел лупу, долго вглядывался в его глаза. Потом сказал: «Кажется, я смогу вам помочь. Вернемся в Москву, позвоните. Вот телефон».

Но Саша не стал звонить. Не верил, что беда, сопровождавшая всю его жизнь, может быть исправлена. Да и привык, наверное.

И вдруг ему позвонила секретарь Федорова, назначила время, просила приехать. Тут уж он не смог отказать. Это было бы невежливо и нечестно.

Сашу осмотрели на новейшей аппаратуре. Федоров проконсультировался с коллегами. Назначили операцию.

Когда через несколько дней Саше сняли повязку, он испытал настоящий шок. Он всё видел без очков и видел так отчетливо, что было больно глазам. Потом постепенно освоился.

Федоров посоветовал ему купить очки с простыми стеклами, потому что лицо за много лет привыкло и как бы сформировалось под очки.

Это было просто счастье.

К сожалению, Саше недолго пришлось радоваться. Вскоре его не стало. Упал в метро и умер. Кто знает, может, такая перестройка организма вредна в немолодом возрасте. А может, просто случайное совпадение. Мне было очень горько потерять его, хотя мы уже не работали вместе и редко встречались.

Удивительное это было место, Сценарная студия. Атмосфера

почти домашняя. Собирались вместе пить чай, подолгу разговаривали, делились воспоминаниями и переживаниями. Тогда это меня немного злило. Я привыкла к более деловой обстановке. А сейчас тоска поднимается в душе, как вспомню. Сегодня, мне кажется, люди разговаривают, но не беседуют. Мало кто приоткрывает душу. А может, я просто из другого времени, и сегодняшний день для меня загадочен и чужд.

Во всяком случае, сценаристы, да и режиссеры иногда заходили к нам просто поговорить. Поделиться впечатлениями и планами. Ведь кинодраматург, в сущности, довольно одинокий и напряженный человек. Он не просто изливает в творчестве душу и раздумья, как писатель (хороший, конечно), – он работает на других, на тех, кто будет воплощать его творения.

Да простят меня мои друзья сценаристы, среди которых прошла почти вся моя жизнь, но я всегда в глубине души мечтала, чтобы самые талантливые из них писали прозу. Но почти все они уже не могли этого сделать. Действия, действия, действия. Суховатый стиль записи, работа на публику.

Пожалуй, один Борис Васильев сумел преодолеть эту ограниченность и стал из посредственного драматурга большим писателем, которого потом экранизировали, рвали друг у друга из рук.

66

Я проработала на Сценарной студии почти пять лет, содержательных и счастливых, и ушла по собственному желанию, но в результате ссоры с министром Ермашом. О которой он, вероятно, и не подозревал.

Когда меня назначали директором, Ермаш сказал: «Присмотритесь к своему заместителю. Нам он кажется мало подходящим для этой роли».

Я присматривалась довольно долго, хотя и быстро поняла, что в моем деле он слабый помощник. Заместитель заведовал финансовой частью, в которой я мало что понимала. Человек был неплохой, доброжелательный, но вялый и неинициативный. Я тянула, сколько могла, потому что очень не любила ломать жизнь людям. И все-таки наступил момент, когда я решилась. Я познакомилась с одним организатором производства, ушедшим с «Ленфильма» и переехавшим в Москву, который мне показался очень деловым, собранным и энергичным. Да я и слышала о нем много хорошего. Нарочно не называю фамилий, чтобы не задеть этих людей, пусть из далекого прошлого.

Я пошла на прием к Ермашу, изложила свои соображения и намерения. Он благосклонно выслушал и обещал найти для моего зама хорошее место – и обещание, надо отметить, выполнил. Я ушла успокоенная. Поговорила с замом, объяснила, почему мне трудно с ним работать. Он, конечно, был огорчен и обижен, но смирился.

Через некоторое время мы получили приказ о его переводе на студию Горького и назначении нового заместителя. Но вовсе не того, которого я просила, а человека, который работал в Госкино и был известен как ретроград, подхалим и просто плохой человек.

Меня поразило, что Ермаш даже не посоветовался со мной, не поставил в известность.

И я решила, что уйду со Студии. Только нужно найти новое место. Некоторое время, пока искала, я проработала с новым замом и удостоверилась, что нам не по пути.

В конце концов договорилась с ректором ВГИКа, где уже несколько лет преподавала по совместительству, что меня возьмут в штат, и подала заявление об уходе.

Приказ о моем освобождении был подписан в тот же день. Меня потрясло, что министр меня не вызвал, не поговорил со мной. Мне казалось, у нас нормальные отношения. Он много раз говорил и мне, и публично, что доволен моей работой. Но мне объяснили знающие люди, что я давно уже попала в разряд руководящих работников, а оттуда «по собственному» (т. е. «по собственному желанию», такая была формулировка при добровольном увольнении) не уходят. Или повышают, или переводят. И моё заявление было воспринято как вызов.

Кстати, приказ потом изменили. Ермашу объяснили, что я должна прежде кому-то сдать дела. Поэтому увольнение отложили на две недели. За это время я ввела в курс дела заместителя – нового директора пока не нашли.

Наконец, всё было закончено, и я пришла к Виталию Николаевичу Ждану, тогдашнему ректору ВГИКа. Пришла с заявлением о приеме на работу. Он тускло посмотрел на него и, не поднимая взгляда, сухо сказал: «У нас в штате нет мест». Я растерялась: «Как, мы же договаривались». – «За это время всё изменилось». – «За две недели?» Он промолчал. Я вышла от него растерянная и подавленная.

Дело было летом, в июне 84-го. Осенью я узнала, что больше не преподаю ни во ВГИКе, ни на Высших курсах сценаристов и режиссеров, где работала уже несколько лет. Тогдашний директор курсов И. А. Кокорева сказала мне что-то невнятное, вроде – нет мест. В институте на кафедре объявили прямо: есть указание сверху. Филипп Тимофеевич не забыл ничего.

Замечу в скобках, что когда произошла перестройка и Ермаша освободили от занимаемой должности, мы однажды столкнулись в Союзе кинематографистов. Он бросился ко мне, как к родной. Я растерялась. С одной стороны, терпеть его не могла за эту мелкую мстительность. С другой – он был уже отставной, сброшенный, с ним почти никто не здоровался. Я всё-таки пожала ему руку, что-то пробормотала и нырнула в толпу, спускавшуюся по лестнице из Белого зала после просмотра.

67

Первый раз в моей взрослой жизни я осталась без работы. Как жить дальше? Раньше о безработице я только читала в книгах. Подступило отчаяние. Но где встретить Булатов «синий троллейбус»? Безвыходность. Безысходность.

Вместо троллейбуса появился Слава Маясов. Какое-то время он работал у нас в Сценарной студии в бухгалтерии. Потом перешел в Бюро пропаганды. В то время заведовал лекционным отделом. Он предложил мне ездить по разным городам и читать лекции. Я немедленно согласилась.

Я в жизни много путешествовала. И в детстве с мамой, и ходила в турпоходы, ездила в киноэкспедиции. Но это почти всегда было с кем-то, со знакомыми людьми, которые занимали меня гораздо больше, чем встречные. А тут я садилась в поезд одна. Езда обычно предстояла долгая. Меня как начинающую посылали в дальние города и веси, куда опытные лекторы предпочитали не ездить. Сменялись попутчики. Каждый новый человек тут же, сразу, едва разложив вещи, начинал тебя расспрашивать. Интересно – московская дамочка едет куда-то в глушь читать какие-то лекции. Зачем? Деньги зарабатывать? «Да», – честно отвечала я. Это их устраивало, было понятно.

Впрочем, расспрашивали недолго. Почти все тут же начинали рассказывать о себе. Свободно, охотно, подробно. Случайный человек, чего от него скрывать.

А разговоры в дымных тамбурах… Курящих женщин тогда было не так много, как сейчас, мужики выпендривались передо мной. Выкладывали свои истории, байки. Я потом записывала. Жаль – затерялись где-то при переездах с квартиры на квартиру. Много было забавного – правдивого и выдуманного. Кстати, курить я начала во ВГИКе. На курсе было большинство парней, и самые интересные разговоры происходили в курилке.

Оренбург, Самара, Куйбышев. Один раз выпала Рига. Где-то у меня хранятся конспекты лекций, которые я читала. Наткнулась

на них и пролистала с удивлением и раздражением. Уходишь вперед, и странно, что это ты писала и так думала.

Впрочем, не о лекциях и хочется рассказать. Это всё побочная чепуха, хотя люди слушали внимательно и с интересом. Больше всего вспоминается то, что следовало сразу после лекции. Обычно кто-нибудь из организаторов приглашал в гости. Скромный ужин, чай, иногда даже кофе. И разговор, скорее, даже не разговор, а расспросы. «Вы были на такой-то выставке?» А я о такой выставке даже не слышала. «Вы читали такую-то книгу?» – «Нет, не читала».

Было очень стыдно. Эти люди весь год копили деньги, чтобы поехать в Москву или Ленинград, походить по музеям, в театры, на концерты.

Я восхищалась провинциальной русской интеллигенцией. Мне казалось, это лучшее, что создала Россия. Не знаю, как сейчас. Давно не соприкасалась.

Сколько я наездилась тогда! Как радостно и интересно мне было! Садишься в поезд. Впереди неизвестность. Сидишь у окна, мимо проносятся города, поселки, леса, реки, рощи. Выскочишь на станции, купишь горячей картошки и с наслаждением поедаешь в купе. Почему-то дома она никогда не была так вкусна.

Ночи в поезде. Засыпаешь и просыпаешься от боязни что-то пропустить. Я очень любила накинуть дождевик или шубу и выйти на случайной станции, даже если поезд останавливался всего на несколько минут. Покой, пустынность перрона, тишайшая тишина. Счастливое время.

68

Но вот наступила перестройка.

Мы все с захватывающим интересом каждый день слушали новости. С интересом и недоверием. Моё поколение уже один раз пережило это обольщение при Хрущеве: взлет, распахнутость души. Свобода! А потом потихоньку всё стало меняться. Помню, как меня в начале шестидесятых вызвали в партбюро. Разговор шел тет-а-тет с секретарем бюро. Им был какой-то второстепенный режиссер. Расспрашивал о работе, давал советы. Поначалу всё было мило и привычно. Потом вдруг сказал будничным, спокойным голосом: «Надо вступать в партию. Подавайте заявление». Я обомлела. Это совершенно не входило в мои планы. Я была в свое время пионеркой, комсомолкой, как почти все. В институте даже довольно активной. Но в партию… С какой стати?

Что-то забормотала – мол, недостойна. Он посмотрел на меня скучным взором и сказал веско и негромко: «Надо. Вы на идеологической работе. Иначе мы будем ставить вопрос о вашем отчислении».

Я промучилась несколько дней. Попробовала даже пожаловаться Хмелику. Он отмахнулся: «Да ну, подумаешь. Это тебя ни к чему не обязывает. Мы все через это прошли».

В конце концов я написала это заявление.

Мне за многое стыдно в моей жизни. Во мне почти никогда не было настоящего протеста. Так, вялое недовольство, печаль.

И все-таки с перестройкой что-то изменилось в каждом из нас.

На студиях появились первые негосударственные кинообъединения. Одно из них – на студии Горького, оно называлось «Зодиак» – возглавила Ина Туманян и позвала меня главным редактором. Однажды я напишу об этом времени, но сейчас важнее, гораздо важнее написать про Ину. Сейчас 2007-й, скоро два года, как она ушла от нас.

Ина не так много успела за жизнь – всего одна киноновелла «Завтраки сорок третьего года» и пять полнометражных фильмов – «Пятнадцатая весна», «Мальчик и лось», «Когда я стану великаном», «Соучастники», «Комментарий к прошению о помиловании». Не знаю, помнят ли сегодняшние зрители эти картины. Но для нашего поколения это имя и эти фильмы много значили. Ни один не прошел незамеченным. Может, они и не гремели на всю страну, как произведения других, более знаменитых и удачливых режиссеров, но каждый был событием. Масштаб мысли, серьезность отношения к жизни, честность и правдивость даже в самых романтических творениях – всё это отличало ее почерк, ее личность, ее судьбу. Никогда и ни в чем Ина не отступила от себя, не пошла на поводу «разумных» доводов, житейских и жизненных обстоятельств. Это притом, что она не была ни упертым, ни фанатичным человеком – всегда была открыта радостям, дружбам, общениям, любви. Как у Пастернака: «…быть живым, живым и только. Живым и только – до конца». Она и была живой. До конца.

Мне выпала удача пройти рядом с ней большую часть жизни. Рядом или неподалёку – в разное время по-разному. Мы дружили много лет, хотя и не были самыми близкими людьми – непохожие характеры, почти противоположные профессии. Она режиссер, я редактор. Но взаимный интерес и уважение были всегда.

Хорошо помню, как увидела ее первый раз в коридорах ВГИКа. Я была ошеломлена – мне показалось, что таких красивых людей я прежде не встречала. Навстречу шла маленькая,

удивительно изящная женщина, смуглая, с огромными глазами и неправдоподобно прелестной кожей – как у «Девочки с персиками» на портрете Серова. Совершенно не могу вспомнить, как мы познакомились, знаю только, что это произошло не сразу. Впрочем, в тогдашнем ВГИКе все друг друга знали. Ина работала тогда ассистентом на не любимой мной кафедре философии. Незадолго до этого она окончила МГУ, знаменитый поток, в котором одновременно с ней учились А. Пятигорский, А. Ракитин и другие, ставшие впоследствии известными философами. Помню только, как я изумилась, узнав, что Ина собирается поступать на режиссерский факультет. По моему тогдашнему разумению, красивым женщинам нечего было делать в этой профессии, которая и не всякому мужчине под стать. Мне казалось, они самодостаточны. Что им еще выражать?

Но когда я узнала Ину поближе, то поняла, что ошиблась. За хрупкой внешностью скрывалась такая железная воля и упорство, такой вулкан энергии, острый ум и художественный талант, что другого места под солнцем ей и не полагалось.

И она поступила, правда, не к М. Ромму, как хотела, а к Г. Рошалю. Но потом всё равно очутилась у Ромма. Он был художественным руководителем ее дипломной работы, которую Ина делала на «Мосфильме», – «Завтраки сорок третьего года» по сценарию В. Аксенова, вошедшей в альманах «Путешествие». Все остальные фильмы она снимала на киностудии им. Горького. Сначала это были картины для детей, ведь киностудия так и называлась – «детских и юношеских фильмов». Потом, когда грянула перестройка и относительная вольность, ей удалось снять свои последние, «взрослые» картины. То были очень актуальные и глубокие фильмы, ни на что не похожие. Недаром ее соавторами по этим работам были два незаурядных и блистательных человека – следователь по особо важным делам и писатель Александр Шпеер («Соучастники») и журналист Юрий Щекочихин («Комментарий к прошению о помиловании»).

Но я всё равно больше всего люблю фильм «Когда я стану великаном», удивительную сказку-быль о талантливом мальчике, открытом миру и не понятом миром, о современном Сирано, – героическую комедию наших приземленных дней.

В фильме «Когда я стану великаном» в главной роли школьника-поэта впервые снялся сын Олега Ефремова Михаил, сам тогда школьник, еще и не помышлявший, кажется, об актерской профессии. Ине Туманян принадлежит честь открытия многих актеров. Впервые у нее снялись в «Пятнадцатой весне» Раймондас Банионис и Татьяна Друбич. Кажется, именно я порекомендовала Сергею Соловьеву, начинавшему «Сто дней

после детства», посмотреть фильм Туманян, обратив особое внимание на Таню.

Ина замечательно писала. Никогда не забуду, как преобразился в ее руках довольно бесцветный сценарий «Присвоить звание героя», который она буквально перелопатила от начала до конца, придав ему удивительную свежесть, иной масштаб, иной взгляд на войну. Сценарий в ее варианте получил первую премию на конкурсе. По нему Ина сняла фильм «Пятнадцатая весна». Впрочем, премия ей ничуть не помогла. У фильма была трудная судьба, его несколько раз заворачивали, заставляли переделывать, выбросили целый большой эпизод. Ни один ее фильм не принимался безболезненно и сразу.

Кинематографисты с огромным интересом отнеслись к этому первому полнометражному фильму Туманян. Я не берусь утверждать, но мне кажется, что и Алексей Герман не избежал некоторого воздействия картины, делая «Двадцать дней без войны». Во всяком случае, он не раз внимательно смотрел его, фильм ему нравился. Знаю это от Ины.

Объединение «Зодиак», которое Ина возглавила в годы перестройки, ставило перед собой серьезные художественные задачи и отправило в путь нескольких дебютантов, в том числе Валерия Тодоровского и Сергея Ливнева. Ина ушла с этого поста, когда поняла, что кинематограф сворачивает на другую дорогу. Коммерция и стремление угодить абстрактному зрителю, которого, в сущности, до сих пор никто не знает и не изучает, были ей не интересны.

И еще об одной странице ее творчества не могу не сказать. Она снимала документальные новеллы, вошедшие в фильм М. Калика «Любовь». Она первая открыла и сняла Александра Меня, тогда еще мало кому известного. А потом, когда картину закрыли со скандалом, материал изъяли, арестовали и сожгли, Ина с друзьями успела спасти то, что относится к Меню, и долгие годы хранила коробки с пленкой у себя дома, под кроватью. Так дошли до нас эти уникальные съемки.

Много лет мы, друзья и знакомые, слушая ее покоряющие тонкостью и точностью наблюдений рассказы о прошлом, о встречах, о съемках, потихоньку поднывали: «Ин, записывай!» Она отмахивалась – «Кому это нужно?» Но, оказывается, тайком писала. И когда после ее смерти Олег Дорман, наш общий друг, расшифровал и перепечатал эти записи, сделанные порой на клочках бумаги, иногда торопливые – от сердца, иногда более продуманные и обстоятельные, то сложилась – книга не книга, рассказ не рассказ, но что-то единое о жизни, раздумьях, опыте. Это произведение опубликовал тогда журнал «Искусство кино».

Последние годы ее жизни были очень трудными. Ина почти не выходила из дому. Больницы, кровать в большой комнате ее двухкомнатной квартиры у «Сокола» стали средой ее обитания. Даже дойти до кухни ей было нелегко. Если провожала нас, забегавших к ней чаще всего на минутку, обычно присаживалась на маленькую табуретку в передней – стоять не могла, задыхалась. Но дух ее был по-прежнему неукротим, не сломлен. Разговоры по телефону, который еще связывал ее с миром, чаще всего переходили в споры, порой довольно язвительные. Смирение ей было не свойственно никогда.

И теперь, перечитывая ее зачастую такие горестные, смятенные и пронзительные строки, написанные в первую очередь для себя, я думаю – какое счастье, что Бог даровал мне встречу с таким человеком, и как надо не сдаваться ни перед какими обстоятельствами и оставаться до конца равной самой себе. Аве, Ина!

69

Шел 1989 год – разгар перестройки. Всё было зыбко, неверно, каждый день приносил какую-нибудь неожиданность, чаще всего малоприятную. Перестраивалась ведь не только страна вообще, перестраивалась каждая ее клеточка.

Мне позвонил Владимир Мотыль – человек, которого я очень уважала. Мы никогда не были дружны, просто испытывали друг к другу взаимную симпатию, приязнь. Немного больше сблизились во время туристической поездки в Швецию, когда часами бродили с ним и Юрой Клепиковым по ночному Стокгольму, распугивая редких прохожих бесконечным возбужденным разговором о наших кинематографических делах, в котором чаще всего были слышны имена Павленок, Ермаш! – Ермаш, Павленок! Когда мы только прибыли в Швецию, нас предупредили в посольстве, чтобы вели себя осторожно, не ходили в одиночку, особенно по ночам. Мол, много развелось хулиганов, которые не любят иностранцев и могут всерьез обидеть, даже ограбить. Если и были хулиганы, то они от нас шарахались, прятались в подворотни. «Павленок, Ермаш!»

Позвонил Мотыль и сказал: «Мила, я рекомендовал тебя на должность директора Высших курсов сценаристов и режиссеров». Я охнула: «Володя, зачем? Я не справлюсь. Да и не хочется опять в начальство лезть. Меня вполне устраивает моя теперешняя жизнь». После внезапного инфаркта я жила на вольных хлебах, не связанная никакими ежедневными обязанностями, и взваливать

на себя такой груз не хотелось.

«Предложили мне, – говорил Мотыль, – но я сейчас не могу. Я в запуске. Курсы – замечательное место. Соглашайся».

Впервые я попала на Курсы в 1973 году, то есть через десять лет после того, как они образовались в своем теперешнем виде – как двухлетняя профессиональная школа для людей с высшим образованием, которые решили заняться кинематографом. Позвонила их директор Ирина Александровна Кокарева и предложила набрать сценарную мастерскую вместе с известным кинодраматургом Михаилом Григорьевичем Львовским. Он – руководитель мастерской, я – преподаватель. Львовского я знала и ценила по работе на студии. Я согласилась сразу, не размышляя, хотя прежде никогда не думала о преподавании. Теперь уже не помню, что именно меня подвигло. Знаю только, что в моей судьбе всегда было так – главные решения принимались мгновенно, как продиктованные свыше.

На Курсах мне понравилось с первого прихода. Я почувствовала – это моё место. Атмосфера свободы, творчества, взаимного уважения и взаимной заинтересованности. Приглянулось и нестандартное помещение на улице Воровского, в Театре киноактера. Деканат находился где-то под крышей в тесной комнатке, аудитории гораздо ниже, возле Большого зала, а в самом низу знаменитый буфет, где так хорошо разговаривалось, елось и пилось.

Я была убеждена, что учить сценарному делу должен сценарист. А редактор, даже самый тонкий, умный и талантливый, не знает каких-то вещей. Чтобы их знать, нужно самому водить перышком по бумаге. Я, может, и водила – но не с той степенью ответственности.

Кино – жестокая вещь. Как бы близко около него не был, тебе рано или поздно дадут почувствовать это «около». Помню, как Михаил Давыдович Вольпин, любя меня, сказал: «Она такая хорошая, такая хорошая, ну почти как мы».

Я почувствовала, что никогда не перейду эту грань. И не переходила. И правильно делала. Надо точно понимать свои возможности.

Мастерскую мы набрали блистательную. Анна Родионова и Эдуард Пашнев, члены Союза писателей, авторы нескольких книг и пьес. Александр Александров, о котором я рассказывала, только что дебютировавший сценарием «Сто дней после детства». Павел Лунгин, ныне знаменитый кинорежиссер, а тогда математик, решивший освоить профессию сценариста. Каждый из них потом скажет свое слово в кино, хотя и не все в нем останутся. По сценариям Ани Родионовой будут сняты «Школьный вальс» и

«Карнавал», по сценарию Пашнева – «Поле перейти» и «Певучая Россия», Саша Александров станет автором «Деревни Утка», «Голубого портрета» и других фильмов. Паша Лунгин, тоже успешный сценарист, позже прославится как режиссер фильма «Такси-блюз», получившего в Каннах одну из первых премий. Потом снимет «Луна-парк», «Свадьбу», «Олигарха», множество картин. Студенты этой первой мастерской задали уровень, установили планку, ниже которой опускаться не хотелось, хотя иногда приходилось.

Потом я вела мастерскую с замечательным человеком и драматургом, дорогим моим другом Семеном Львовичем Лунгиным. Среди наших выпускников были талантливые сценаристы Валерий Залотуха, Надежда Кожушаная, рано ушедшая из жизни, но много успевшая в ней, Геннадий Островский.

Симы не стало в 96-м году, и я хочу прерваться, чтобы написать о нем.

Хотя нет. Мне хочется совсем другого – сесть напротив него, вглядеться в его глаза за толстыми стеклами очков и поговорить всласть, взахлёб, досадливо чувствуя, как опять не хватает времени рассказать всё, что продумано, пережито с момента нашей разлуки.

Только одно всегда мне мешало и останавливало мой поток слов: еще больше, чем говорить, мне хотелось слушать.

Эти его скупые рассказы о том, что произошло, пока мы не виделись! Оговорюсь, скупые только в той части, которая касалась его самого – чувств, ощущений, горечи несложившегося. И яркие, неожиданные, сочные в описании людей, новых мест, иных пространств воспоминания.

Он был поразительно неординарным человеком. И вместе с тем как-то органично скромен. Он не подавал себя. В тот момент, когда он рассказывал, для него было важно передать свою мысль или ощущение. Только это. Главным образом он был писателем, то есть человеком, который рожден для того, чтобы облекать в слова свои впечатления, мысли, ощущения и доносить их до других.

Вероятно, поэтому Сима был особенно хорош во времена, когда почти всюду появлялся вместе с Ильей Нусиновым. Они любили друг друга, счастливо дополняли и даже оттеняли. Семен с нежностью слушал прекрасные, торопливые от напора чувств и переполнявших его впечатлений рассказы друга. Илья обожал подробные, взрываемые неожиданными ракурсами и образами речи Лунгина. Он даже как-то по-детски затихал, слушая его. И мы, все те, кто был рядом, становились внимательны и

восприимчивы. И отчетливо сознавали масштаб этих людей. Лунгину выпала горькая участь пережить своего друга и соавтора. Что стоило ему преодолеть наступившую немоту, наверное, знают люди, перенесшие инсульт, которым случилось заново восстанавливать речь и возвращаться к жизни.

После смерти Ильи внешне Сима словно притух. Он уже так не бросался в глаза, его перестали воспринимать как птицу с ярким оперением, скрашивающую будни. А мы, все окружающие, не были столь талантливы и бескорыстны, чтобы стать рамкой этому незаурядному дарованию.

Но он не страдал от этого, потому что никогда не претендовал на главенство, никогда не восхищался собой. И еще потому, что жил внутри себя, постоянно находился в состоянии внутренней работы и был настоящим, неизменяемым и не изменявшим, лишенным суетности и зависти.

Его незаурядность для меня заключалась в том, что он всё видел чуть-чуть по-другому, чем мы, обычные люди. Ярче, свежее, нестандартнее. И это притом, что часто соглашался там, где другой стал бы спорить. Он был мягок и деликатен и поэтому никого не хотел обижать своим несогласием. Но он ничего не терял, потому что ничего не уступал. Он не был уверен, что единственно правильно смотрит на мир, но не мог смотреть иначе.

Теперь кажется, что написал он слишком мало. Суетливая жизнь кино, создающая постоянную иллюзию занятости, необходимость зарабатывать на жизнь, просто любовь к театру и кинематографу уводили его от прозы, в которой он, на мой взгляд, наиболее полно выражал себя.

И еще на одно он никогда не жалел времени – на преподавание, на общение с молодыми людьми, на пестование их подчас очень скромных дарований. И как он раскрывался в этом! Как умел заворожить рассказами, вовремя пришедшими на память, как чутко реагировал на слово, на малейшую неточность в языке, как подхватывал мысль, развивал ее, поворачивал неожиданной стороной… Как помогал надежно выстроить конструкцию – в этом у него почти не было равных.

Я проработала рядом с ним около двадцати лет. У нас было пять выпусков на Высших сценарных курсах и два во ВГИКе. Я должна была бы наизусть знать всё, что он прочтет в своих лекциях, скажет по поводу прослушанного произведения и высказанного мнения. Но я часто ловила себя на том, что сижу, приоткрыв рот, и увлеченно слушаю. Он всегда удивлял меня, и работа с ним была постоянной радостью.

Когда я узнала о его смерти и когда прошел первый ужас от

услышанного, я с немыслимой отчетливостью поняла, что прежней жизни уже больше не будет. Будет другая, может быть, если повезет, еще и не очень плохая, но другая, потому что рядом не будет его, моего дорогого друга и неповторимого человека, одного из тех, которых штучно изготавливает господь Бог, выпуская в этот мир, чтобы мы не отчаялись окончательно.

В его замечательной книге «Виденное наяву», которую я перечитала недавно, меня поразило, что он воспринимает театральный и кинематографический процесс по аналогии с жизнью человека и что взаимоотношения сценариста и режиссера описывает как «роман». А фильм для него дитя: любви (хорошие), рожденные без любви (нейтральные или плохие).

Или вот еще: «Спектакли, как живые организмы. Рождаются, мужают, умнеют, достигают зрелости, стареют, дряхлеют, теряют память, перестают двигаться и отходят в вечность во славе или бесславии, как повезёт».

Формула человеческой жизни, но как неожиданно это – «как повезёт». Оно вроде бы исключает усилия, но нет, только выносит за скобку. Результат человеческой жизни не исчерпывается усилиями. Есть еще это магическое – «как повезёт».

И я молюсь – пусть хоть на этот раз судьба будет справедливой и милостивой. Пусть останется во славе это доброе имя, до конца не оцененное при жизни, несмотря на успех, известность и вообще-то достойно и весело пройденный путь.

Ну, вот. Вернусь к Курсам.

Даже в худшие времена они были одним из самых прекрасных мест в нашей действительности. Мне трудно определить, почему. Может, самое главное то, что они не вписывались в стандарты учебной системы. Маленькие группы, взрослые люди, решившие изменить свою уже сложившуюся жизнь, отсутствие бесконечных семинаров, зачетов, экзаменов. Преподаватели – лучшие кинематографисты, которые, как правило, не прерывали собственной работы и вовлекали в нее учеников. Совсем другая атмосфера, чем в институтах. Дружеская, спокойная и, я бы даже сказала, счастливая.

Потом меня от Курсов отлучили. Я рассказывала.

И вот теперь звонил Мотыль и говорил: «Ты понимаешь, что Курсы могут погибнуть?» Они, оказалось, уже долгое время живут без директора – Ирина Александровна Кокорева ушла.

Я отказывалась снова и снова. Наконец Владимир Яковлевич сказал: «Если не мы, то кто?»

Эта формула безотказно действовала на людей моего поколения. Она и мне показалась убедительной. Я согласилась.

Вскоре с грохотом обрушилась империя, именуемая Советским Союзом. Следом, естественно, ликвидировали и Госкино СССР, которое финансировало Курсы совместно с Союзом кинематографистов.

Помню, как в кабинете заместителя председателя Госкино Валерия Николаевича Рябинского канючила, пытаясь что-то получить для Курсов из имущества их разваливающейся организации – кинокамеры, киноустановки или хотя бы телевизоры. Но, кажется, им нашли более выгодное применение. Вообще, это было отдаленно похоже на октябрьскую панику 1941 года, когда немцы подходили к Москве. Сотрудники Госкино плакали над своей судьбой; на столах, а то и просто на полу громоздились какие-то бумаги; бесценные архивы, в которых хранились документы и сценарии, пошедшие и не пошедшие, которых, может быть, нигде уже больше нельзя было найти, выбросили прямо на снег, на улицу. Их спасла тихая сотрудница, которая на свои нищие деньги наняла грузовик и перевезла, что сумела, в подвал собственного дома.

На какое-то время Курсы зависли, как иногда зависает мой компьютер. Нечем было платить зарплату, стипендию (тогда еще была стипендия). Я ходила и ходила по инстанциям, толкаясь в двери разных кабинетов, – никому до нас не было дела. Каждый был озабочен собственной судьбой.

Помощь пришла с неожиданной стороны. Как-то раз, томясь в ожидании приема у очередного начальника, я встретила в коридоре своего знакомого по работе на киностудии «Казахфильм» (был такой эпизод в моей биографии) Саина Габидулина. Он сочувственно спросил, почему я выгляжу такой подавленной. Я не выдержала и рассказала этому, в сущности, постороннему человеку о наших бедах. Реакция была неожиданной: «Дайте номер вашего банковского счета. Постараюсь помочь». И протянул визитную карточку, на которой значилось: член Союза менеджеров, директор фирмы «Кино». Эта карточка до сих пор хранится у меня. Очень скоро на счет Курсов поступили деньги от его фирмы. Сейчас уже не помню какие, но они нас спасли. Мы выплатили зарплату, стипендию, заплатили за помещение. На всю жизнь я благодарна этому человеку, которого больше никогда не встречала. Он сделал это без лишних слов, без условий, не ожидая благодарности. Наверное, и не вспоминал никогда об этом эпизоде.

Председателем Госкино России стал Армен Николаевич Медведев. Алик Медведев, как я его про себя называла, зная с

детства – еще по активу ЦДТ. Я была в старшей группе, он в младшей. Потом пересекались в институте. Мы никогда не были друзьями, но что-то нас связывало помимо деловых отношений. Наверное, общие воспоминания. Или мне так казалось. Но даже не это было главным. Я считаю, что он был самым лучшим министром из тех, с кем меня сталкивала судьба за мою долгую кинематографическую жизнь. Самым знающим, понимающим, разумным. «Из нашего профсоюза», как тогда говорили. Это, наверное, его и погубило. Он не очень долго занимал должность министра.

Медведев сразу проникся моими тревогами. Сказал, что созвонится с министром просвещения, посоветуется с ним. Может, Курсы как учебное заведение смогут войти в систему этого министерства.

Через несколько дней раздался звонок. Звонила секретарь, сказала, что Армен Николаевич ждет меня завтра к такому-то часу, поедем в Министерство просвещения. Поехали. В машине неожиданно разговорились, вспоминали прошлое, общих знакомых.

Министр просвещения встретил нас приветливо, попросил рассказать о Курсах. Обещал помочь, но предупредил, что это будет нелегко. Уж больно нестандартное заведение Курсы. Плохо укладывается в систему государственного обеспечения. Дал телефон своего зама, который будет заниматься нашим устройством.

Возвращались в хорошем настроении. В машине я подумала: зря не задумала желания – не каждый день приходится сидеть между двух министров.

Дальше началось хождение по инстанциям. Очень скоро я поняла: ужас. Одной отчетности предполагалось столько, что темнело в глазах. А зачеты, экзамены, обязательные предметы, вроде марксизма-ленинизма… Мне стало ясно, что на этом Курсы кончатся.

Я снова бросилась к Медведеву. Он выслушал, вздохнул, не рассердился, как я боялась, и сказал – придумаем что-нибудь другое. И придумал. Или ему подсказали. Госкино дает деньги на съемки дипломных фильмов, а на них накручиваются расходы на обучение и на содержание аппарата. Собственно, так делается на каждой студии.

Многое еще предстояло нам пережить – и приватизацию помещения Курсов Союзом кинематографистов, который когда-то оплатил его на паях с Госкино, и попытки выселить нас куда-то на окраину, и намерение передать в ведение Министерства высшего образования.

Но это на внешнем плане. А внутри никогда не затихала спокойная и плодотворная работа. Заканчивался один набор, приходил другой. Появлялись новые лица, накатывали волны новых поколений. Всегда был конкурс, всегда были желающие и учиться, и учить.

Сергей Урсуляк, дебютировавший фильмом «Русский регтайм», за это время снял еще и «Сочинение ко Дню Победы», и «Летних людей», и сериал по Агате Кристи, и «Ликвидацию». Андрей Прошкин-младший, режиссер картины «Спартак и Калашников», снял «Чучело – 2» («Игры мотыльков»), «Солдатский декамерон». Иван Попов снял «Котенка» и «Радости и печали маленького лорда» в редком ныне жанре – это фильмы для детей.

Сериалы «Бригада» и «Закон» сделаны нашими выпускниками Алексеем Сидоровым и Александром Велединским. Более того, сценарии этих сериалов тоже целиком написаны бывшими слушателями Курсов – Марией Сапрыкиной, Игорем Порублевым и другими.

Алексей Мурадов, выпускник мастерской Алексея Германа, по сценарию Юрия Солодова, нашего сценариста, снял «Змея», «Правду о щелпах» и плодотворно работает для телевидения. Пишут сериалы Алексей Поярков и Роман Хрущ. По сценарию Натальи Корецкой снят фильм «24 часа». Геннадий Островский, один из самых успешных сценаристов («Русский регтайм», «В движении», «Любовник»), был удостоен премии в Сан-Себастьяне за лучший сценарий. Прекрасный документалист Сережа Дворцевой взялся за игровое кино. Всех не перечислить. Оглядываясь назад, понимаешь, что и в эти нелегкие годы Курсы воспитали множество молодых кинематографистов, которые во многом определяют лицо сегодняшнего кинематографа.

Настоящим спасением Курсов было то, что они никогда не подчинялись никакой образовательной бюрократии. Это позволяло свободно варьировать учебные планы, привлекать всех интересных людей хоть на одно занятие, хоть на несколько. Нас поддерживал и Союз кинематографистов, и Музей кино. Появлялся в России кто-нибудь из знаменитых мировых кинематографистов – и почти всегда оказывался у нас: встречи, мастер-классы, лекции. Как правило, никто не отказывался поделиться своим опытом с молодыми.

Вообще, Курсы – это гениально придуманное когда-то основателями учебное заведение. Люди, которые поступают сюда, знают, чего хотят, они устремлены навстречу профессии и не страдают комплексами студентов – жить от сессии до сессии, а в промежутках прогуливать и лукавить с администрацией.

Небольшие мастерские создают особую атмосферу

доверительного общения между слушателями и мастерами. Кинематографисты передают свои знания и умения каждому ученику, видя в нем продолжателя, соратника и коллегу. Я преподавала во ВГИКе и знаю, что такое 12–15 студентов в мастерской. Тоже не поток, но возникает необходимость делать поправки в расчете на слабейшего. На Курсах иначе. Здесь между преподавателями и студентами существует общение очень личное и близкое, во всяком случае, у нас в мастерских так было всегда. Мы нередко проводили занятия дома – у меня на Смоленской, у Лунгиных на Новинском. Ведь преподавание замечательно не тем, что что-то сообщаешь. В конце-концов, кто ты такой? Ну, есть какие-то навыки – но я всегда говорила: всё, что я знаю, можно рассказать за три часа. Самое главное начинается потом. Начинается процесс, отношения, нечто взаимное: ты откликаешься, студенты откликаются, и в этом живом процессе, если повезет, случается мгновенье обмена, рождения мысли, ради которого только и стоит работать.

Учатся на Курсах не только у мастеров. Хотя я не раз наблюдала: например, мастерская Михалкова – у них одно выражение лица, мастерская Мотыля – другое. Но на самом деле никто не знает, как студенты учатся. Мастерская – просто организующее начало. Очень многому учатся друг у друга.

Искусству научить нельзя. Изучается то, что можно изучить, – основы профессии, ее элементы: режиссура, драматургия, монтаж, работа с актером, оператором, художником, композитором. Но всё это – в попытке передать то, что выше ремесла, хотя и неотделимо от него: понимание магии создания новой реальности, воздействия на зрителей чувствами, мыслями, видением мира, которыми наделен художник. Может быть, в этом сочетании постижения профессии и неповторимости индивидуального опыта и заключается главная особенность нашей школы. Да-да, Курсы – одно из лучших мест на свете. Я в этом глубоко убеждена. Были и остаются.

В 99-м Армен Николаевич Медведев ушел со своего поста – или его ушли, финансирование Курсов прекратилось, и стало ясно: чтобы сохранить Курсы, надо пуститься в неведомое, рискованное плавание – перевести их на самоокупаемость, сделать платными. Мы решились. Первый же набор – в платную мастерскую Александра Митты – собрал пятьдесят человек. По тем временам очень много.

Став коммерческим предприятием, Курсы изменились. Чтобы существовать, приходится набирать больше людей. Уровень требований к поступающим понизился. Преподавателям платят «с головы» – чем больше слушателей, тем больше зарплата. Поэтому

принимают зачастую людей, которых раньше бы не допустили до приемных экзаменов. Грустно. Но с каждым годом конкурс всё больше, а значит, надеюсь, вернется и конкуренция.

Проработав на Курсах директором около двенадцати лет, я ушла по собственному желанию. Возраст, большая финансовая ответственность – а я не сильна в финансах. Я ушла с поста директора, но осталась на Курсах и вела сценарную мастерскую с Олегом Дорманом, который был одно время нашим с Лунгиным учеником. Правда, недолго. Его забрали в армию, а по возвращении он поступил на режиссерский к Марлену Хуциеву, как всегда и мечтал.

Проработала на Курсах еще около двенадцати лет, а в конце 2013-го окончательно ушла на пенсию.

Я заканчиваю свои воспоминания. Вернее, обрываю их, потому что очень плохо вижу. Жизнь моя пролетела, проползла, проплыла. Я уже не тот человек, который ходил по этой земле, почти не оглядываясь, потому что было некогда: вперед, вперед – к завтрашним делам и заботам. Я почти не выхожу из дома. Сегодняшний день мне чужд и непонятен.

Но прежде чем закончить, мне хочется вернуться немного назад – к моей другой жизни и рассказать о доме Ермолинских.

71

Этот дом сыграл огромную роль в моей жизни. Не стены, в которых я сейчас нахожусь. Не обстановка, которой я пыталась бессовестно подражать до мельчайших деталей.

Нет, именно дом как понятие, как среда.

Попробую объяснить, хотя довольно трудно сформулировать. Чувствую очень точно, а в словах выразить не получается.

Поразительно то, что Сергей Александрович и Татьяна Александровна – младшая сестра моего отца – соединили свои жизни уже в очень зрелом возрасте. Позади у каждого была другая, своя прожитая жизнь – непростая и нелегкая. Были свои привычки, свое представление о том, что хорошо, что плохо, что удобно или неудобно. Особенно у Татьяны Александровны. Сергея Александровича жизнь так мотала и корежила – тюрьма, ссылка, бездомность, – что у него как бы и не было своего представления о том, каким должен быть дом.

«Письменный стол, чтобы писать, и кровать, чтобы спать, – вот всё, что мне нужно», – как-то сказал он мне. И правда, и неправда. Потому что его кабинет до сих пор мне кажется самым уютным местом в мире. Гораздо уютнее, чем, скажем, папин,

тщательно и продуманно обставленный.

Конечно, и тут свою руку приложила Татьяна Александровна – художница, обладавшая замечательным вкусом и талантом создавать интерьер (противное слово, но не найду другого), обстановку, уют.

Дело в самом духе этого кабинета и дома. Ты входишь, и тебя встречают радостно и приветливо. Ты всегда желанный гость. О, нет, они отнюдь не были милыми добряками. На худсоветах в нашем объединении Ермолинский часто так разносил сценарии или просмотренный материал, что авторы съеживались, теряли дар речи или, наоборот, огрызались. А Татьяна Александровна, особенно в последние годы, когда уже не было Сергея Александровича, часто доводила меня буквально до слёз своими придирками. Она болела, да и характер у нее всегда был непростой. Но высокая интеллигентность, приветливая доброжелательность и всегдашний интерес к жизни создавали атмосферу, в которой хотелось оказаться снова и снова.

Больше всего я любила приходить к ним в будни, одна. Кстати, это совпадало и с желаниями Татьяны Александровны. Она не очень любила соединять людей, если не считать всяких праздников, в основном семейных. Несколько раз были случаи, когда я просилась в гости, а она строго отвечала: «У нас будет Анна Андреевна». Или Елена Сергеевна. Я поспешно отвечала – хорошо, зайду в другой день.

Правда, я всё-таки пару раз пересекалась с Еленой Сергеевной, которая каждый раз ахала: «Боже, как ты выросла!» (а у меня уже было двое детей). Один раз видела и Анну Андреевну, но буквально минуту – я что-то заносила Сергею Александровичу по работе.

Зато на праздниках, которых было немало – отмечались весело и пышно дни рождения и именины и Сергея Александровича, и Татьяны Александровны, Новый год, иногда Рождество, – я познакомилась, а потом и подружилась с очень многими интересными людьми. Даниил Данин, Леонид Малюгин, Валентин Берестов, Вениамин Каверин, Борис Жутовский, Владимир Лакшин, Сергей Юрский, Анатолий Эфрос и Наталья Крымова, Наталья Ильина. А еще бывали там люди, которых я знала и любила раньше, – Люся Петрушевская, Андрюша и Маша Хржановские, Алла Демидова, Наташа Рязанцева, моя давняя подруга, всех не перечислишь.

Впрочем, я немного преувеличила. Конечно, не со всеми я подружилась. Это слишком сильно сказано. Но существовала взаимная приязнь, освещенная теплом этого дома. Татьяна Александровна и Сергей Александрович удивительно умели

объединять людей. Казалось бы, противоречие – выше я говорила, как тетя не любила, чтобы совпадали чьи-то приходы. Попытаюсь объяснить. Видимо, ей не хотелось тратить силы и время на светскость, знакомство, притирание. Тете был интересен каждый человек отдельно, чтобы каждый раскрылся, чтобы можно было говорить о чём-то важном, существенном. Тем более когда это были такие люди, как Ахматова или Булгакова.

Я написала «тетя» и поморщилась. Никогда так ее не называла, даже про себя. Она всегда была для меня Татьяна Александровна, хотя видела я ее в разных видах – и тяжело больной, и подавленной, и даже беспомощной, особенно в последние годы.

Другое дело – праздники. В сравнительно небольшой комнате собиралось много народу. Составлялись столы – высокие и низкие, широкие и узкие. Было тесно, но уютно и весело. У Ермолинских была традиция говорить о каждом госте, по кругу. Особенно это удавалось Сергею Александровичу. Он всегда находил какие-то особенные слова. В каждом видел что-то важное, существенное.

Я очень любила эти сборища. Но главное всё же было не в них. Больше всего я получила от спокойных, тихих разговоров вдвоём или втроём – обычно в небольшой уютной кухне, где я и сейчас провожу много времени. Говорили о жизни, о волнениях тогдашних дней, о моих проблемах. Я очень много им рассказывала, советовалась. Хотя, честно скажу, кое-что и утаивала – всё время хотелось казаться в их глазах лучше, чем была на самом деле. Впрочем, от Татьяны Александровны трудно было что-нибудь скрыть. У нее было удивительное свойство – понимать и чувствовать помимо слов.

Но слушать она тоже умела. Бывало, несешь какую-нибудь чепуху-мелочевку – жалуешься на жизнь, на трудности, на усталость, а на тебя смотрят внимательные и понимающие глаза. И вдруг становится как-то неловко – с чем ты пришла сюда, в этот необычный дом, к этим столько пережившим, повидавшим людям.

Я не буду здесь рассказывать об их судьбах. У обоих есть автобиографические книги, на мой взгляд, замечательные. У Татьяны Александровны – «Я помню». У Сергея Александровича – «Юность» и «Записки о Булгакове», где вторая часть называется «Тюрьма и ссылка» и рассказывает о его собственных мытарствах.

Кроме того, вышли книги, подготовленные, собранные и откомментированные Натальей Громовой, – «Сергей Ермолинский: о времени, о Булгакове и о себе» и «Татьяна Луговская: как знаю, как помню, как умею». Для последней книги

я написала небольшую заметку о нашем совместном путешествии по Волге и о рассказах Татьяны Александровны.

Она была поразительной рассказчицей. Даже в последние годы, больная, со сломанной ногой, задыхаясь от приступов астмы, она всегда как-то вдруг, исподволь начинала свои рассказы – о детстве, о семье, о людях, с которыми встречалась, с которыми дружила. Голос низкий, богатый оттенками. Рассказывая, она постепенно оживлялась, выпрямлялась, даже молодела.

Признаться, я иногда даже провоцировала ее на эти рассказы, чувствуя, что ей от них становится легче. Задавала наводящие вопросы, притворялась непомнящей. Переспрашивала. А оставшись одна, тут же садилась записывать, пытаясь передать не только смысл ее рассказов, но и интонацию. Не знаю, насколько мне удалось. В книге о Татьяне Александровне опубликовано несколько таких моих записей, чем горжусь.

Дом Ермолинских сформировал мою душу. Хотя я попала в него уже будучи вполне взрослым, сложившимся, немало повидавшим и пережившим человеком – 28 лет, второе замужество, двое детей, работа… Но сама атмосфера этого дома, в которой жила многовековая русская культура, традиции, которые тут сохранялись, уровень отношений – всё это как бы завершило становление личности, определило самое главное в понимании жизни и себя в мире. Мне кажется, я нигде не могла бы жить, кроме России. Может, преувеличиваю, не знаю. Но я так чувствую.

Для всех нас, более молодых, дом Ермолинских был как бы связующим звеном между нашим временем, нашим поколением и прошлым. Между уходящей культурой и нами. Не знаю, сможем ли мы что-то передать следующим за нами. У меня ощущение, что это их не очень интересует. «Это» – то есть прошлое. Да и мы сами.

А может, мы виноваты. Или, точнее сказать, я сама виновата. Нет во мне той глубины и яркости, которые привлекают.

Расскажу о грустном. О том, как они уходили.

Мне кажется, об этом нужно написать, потому что смерть каждого человека – не только ожидающий каждого конец. Не только воля Божья, но и характер, и обстоятельства, и итог жизни. Написала и подумала – нет, не каждого. Не надо таких обобщений. Но тут было именно так.

Сергей Александрович умер 18 февраля 1984 года. Ему было 83 года. Перед этим он долго и тяжело болел. Лежал в больнице. У него был рак. Диагноз поставили не сразу. Лечили от другого. Он очень мучился, обессилел. Последние дни почти не мог

двигаться. Но старался. Татьяна Александровна (она была моложе его почти на десять лет) на себе таскала его в туалет. Мне не давала возможности помочь. Моей обязанностью было отвечать на звонки друзей, звонивших по несколько раз в день. Последние дни я ночевала у них, в ее комнате. А она ставила раскладушку возле его дивана, боясь хоть на минуту оставить одного. Только иногда шла на кухню перекусить. Тогда около Сергея Александровича сидела я.

Никогда ни одной жалобы – ни от него, ни от нее. Никогда. В эти короткие минуты, когда я была рядом, он если не дремал, то даже расспрашивал меня о работе или что-нибудь слабым голосом рассказывал. Делал всё что мог, чтобы мне не было тягостно.

Когда впал в кому, пришли друзья. Кто это был, сейчас уже плохо помню. Точно знаю, что был Даня Данин. Возможно, еще присутствовал Боря Жутовский. Он вообще очень помогал – возил к врачам, в больницу.

Мы тихо стояли в дверях кабинета. Татьяна Александровна сидела на низенькой табуретке рядом и всё время держала Сергея Александровича за руку.

В последнюю минуту он как-то вскинулся, захрипел – и замолк навеки. Татьяна Александровна приникла к нему, потом подняла голову и сказала: оставьте нас вдвоём.

Мы пошли на кухню, молча сидели там. Потом, спустя некоторое время (вскоре или нет, не могу сказать), она направилась в свою комнату и, проходя, бросила: «Всё».

На его похоронах было очень много людей. Его уважали и любили. Говорили какие-то слова, печальные, трогательные и значительные.

Татьяна Александровна не плакала. Молча стояла у гроба.

Похоронили Ермолинского на Ново-Алексеевском кладбище, сразу за храмом – в могиле, где много лет назад был захоронен Александр Федорович Луговской. Теперь там лежит и Татьяна Александровна.

После смерти Ермолинского ей пришлось очень трудно. Сергей Александрович оставил ей немало денег, но они вскоре совсем обесценились, а пенсия у нее была небольшая. Ведь со времени их соединения году в 57-м она не работала. Правда, это обесценивание случилось не сразу. Первые несколько лет она еще пыталась жить интенсивной жизнью – выходила, общалась с людьми, даже один раз провела почти месяц в Переделкино, в Доме творчества, где они каждое лето в последние годы подолгу жили с Сергеем Александровичем. Всегда в одном и том же домике, недалеко от главного корпуса, – две комнаты на первом

этаже. Сейчас домик, по-видимому, продали или сдали в аренду. Там помещается какая-то фирма или просто живет «новый русский».

Когда Татьяна Александровна приехала в Переделкино уже одна, она предпочла главный корпус. Я ее понимаю – жить в комнатах, где прошло столько счастливых дней, было бы невыносимо.

Потом случилось несчастье. У себя дома она потянулась поправить занавеску, поскользнулась, потеряла равновесие и сломала ногу. Вернее, шейку бедра, что еще страшнее. Долго лежала в больнице с закованной в гипс ногой, задранной высоко вверх. Сначала в общей палате на много человек. Потом я случайно узнала, что отделением заведует сын Бориса Римана. Связалась с Борей, и Татьяну Александровну перевели в палату на двоих, что по тем временам было роскошью.

Боли поначалу были очень сильные. Но она всё мужественно сносила, не ныла, не проклинала судьбу. Месяца два, не меньше, отлежала в больнице. Потом ее выписали. Она передвигалась на костылях – сначала высоких, потом небольших, по локоть. Эти последние долго хранились у меня, пока я их не отдала кому-то, кто нуждался.

Тогда еще у нее были деньги, наняли приходящую домработницу. Казалось, всё устроилось, наладилось.

Но когда я прочитала ее дневниковые записи тех лет, то поняла, как трудно и одиноко она жила, хотя к ней, особенно в первые годы, приходило немало друзей их дома. Потом круг этот стал редеть. Люди умирали один за другим. Мир для нее пустел. Как я сейчас ее понимаю!

Много народу собиралось 18 февраля – в день смерти Сергея Александровича, который свято отмечался до самой ее смерти. Да и потом, до сих пор я стараюсь собрать тех, кто остался. Осталось человека три-четыре, не больше.

Она много читала, записывала в тетрадях и на листочках отдельные мысли.

Нам с Натальей Громовой удалось большую часть этих записей собрать, прочитать и опубликовать. Как же она была талантлива, не стандартна. Я тоже сейчас кое-что записываю, но ей в подметки не гожусь.

Приведу только одну, поразившую меня короткую запись. «Прощать нужно молча». Казалось бы, ничего особенного, но как точно сказано. Сколько мы тратим сил и слов на выяснения отношений. «Прощать нужно молча»! Как редко мы этого придерживаемся. Она, кстати, тоже. Но она для себя это и написала.

Наступил 1994 год. Мы встречали его вдвоем с Татьяной Александровной. Дети мои разбежались по своим компаниям. Мамы давно не было в живых. Да и не могла я ее оставить одну. Она уже очень плохо себя чувствовала. Она мне сказала как бы между прочим: «Я умру в этом году. Умру в тот день, когда со дня Сережиной смерти исполнится 10 лет». Я внутренне невесело усмехнулась – предсказательница!

Денег у нее уже не было, только маленькая пенсия. Мы с сестрой Машей в тайне от нее скинулись и наняли медсестру, очень милую и добросовестную женщину, – она потом работала в хосписе у Веры Миллионщиковой, которая нам ее и порекомендовала.

Днем женщина дежурила у постели – умывала, кормила, давала лекарства. Вечером и ночью сменяла ее я.

Однажды, это было, кажется, 9 января, да, точно, девятого, эта милая и очень опытная женщина уходя сказала мне: «Сегодня она скорее всего умрет. Не мешайте ей. А то потом будет очень мучиться». Я похолодела, мне стало очень страшно.

Вскоре Татьяна Александровна впала в забытье. И тут мои нервы не выдержали. Я позвонила своей подруге Маше Хржановской. Она тут же взяла такси и примчалась вместе с сыном Илюшей, который был крестником Сергея Александровича. Они вызвали «скорую». На пороге появился огромного роста хмуроватый врач. Мы провели его в комнату. Он громко распоряжался, не испытывая никакого почтения к трагическому моменту умирания. Татьяне Александровне сделали укол. Внезапно она открыла глаза, обвела взглядом комнату, задержала его на докторе и отчетливо спросила: «Кто этот человек с таким неприятным лицом и голосом?»

Мне помнится, что он обиделся, сказал: «Нам здесь больше делать нечего», и они отбыли, а мы остались.

Татьяна Александровна вскоре спокойно заснула. Маша с Илюшей тоже уехали.

Медсестра из хосписа оказалась права. Татьяна Александровна очень мучилась последние полтора месяца. Наверное, не надо было нам мешать природе делать своё дело. Впрочем, кто знает?

Приближалось 18 февраля – десять лет со дня смерти Сергея Александровича. Татьяна Александровна очень волновалась – придут ли люди, заставляла меня всем звонить. Накануне, 17-го, совсем меня замучила. Была уже глубокая ночь, а она каждые пять минут звала меня. Я была простужена, ходила с температурой. Наконец я не выдержала и довольно резко сказала: «Дайте мне передохнуть. Я с ног падаю». Она замолчала. Я легла,

но мне не спалось.

Через некоторое время встала, подошла к ней. Окликнула. Она не ответила. Я решила, что она спит. Наступил следующий день, суббота. Медсестра по субботам не работала. Я встала, приготовила завтрак, пошла будить Татьяну Александровну. Она не откликалась. Лежала без сознания.

Я позвонила сестре: «Может, отменить гостей?» Она резонно возразила: «Вдруг она очнется – она же нам никогда этого не простит». Вскоре сестра приехала. Мы приготовили, что смогли, к вечеру. Много раз пытались разбудить Татьяну Александровну – ощущение было, что она спит, – но она не приходила в себя.

Собрались люди, их было тогда еще довольно много. Все стояли в нашей небольшой кухне, выпили в память Сергея Александровича. Потом каждый на минуту заходил в комнату, где она лежала, прощался с ней. Ответа не было. В сознание она не приходила.

Со мной осталась коротать ночь Маша Хржановская. Утром она уехала. Я осталась одна. Спать не могла. Сидела на кухне, в кабинете. Время от времени заходила к Татьяне Александровне, смотрела, окликала. Но всё было бесполезно.

И вдруг в какой-то момент я услышала какое-то шевеление, движение. Поспешно вошла к ней. Она лежала с открытыми глазами, смотрела на меня строго и отрешенно. Я даже растерялась, настолько неожиданно это было.

– Как вы? – спросила я.

– С того света, – коротко ответила она.

От неожиданности и потрясения, помноженного на усталость, я почему-то стала ёрничать.

– Ну, и как там?

Она промолчала.

– Кого-нибудь видели? – уже всерьез, дрогнувшим голосом произнесла я.

Она отрицательно покачала головой.

– Есть хотите?

– Чаю.

Я согрела чай, сделала какой-то бутерброд, принесла ей. Помогла чуть приподняться. Она сделала несколько глотков. Есть не стала. Откинулась на подушки, закрыла глаза. Было ощущение, что заснула.

Вскоре пришла моя дочка Галя. Мы уже вдвоем сидели около нее. Она не то спала, не то была в забытьи.

Через некоторое время мы с Галей пошли на кухню. Пили чай, тихо разговаривали. И вдруг меня как будто что-то ударило в сердце. Я вскочила, подбежала к Татьяне Александровне. Она уже

не дышала.

Поразительно все-таки, как почти точно она предсказала день своей смерти. А может, эта уверенность, это желание и сыграли решающую роль в ее уходе.

Ночевал со мной сын. У Гали были дома дети. Я опять почти не спала. И поняла, что больше не выдержу. Посоветовалась с сестрой, с Машей Хржановской и вызвала людей из морга.

Меня до сих пор мучает, что я не выполнила две просьбы Татьяны Александровны. Она просила, чтобы, когда будет умирать, я держала ее за руку. А я отошла на кухню как раз в этот момент. И еще она не хотела, чтобы ее отдавали в морг. А у меня не хватило сил и нервов. Оправдания есть, но и вину никуда не денешь.

Когда ее увозили, со мной опять были Маша и Илюша. Мы оставались в квартире, а Илюша проводил носилки до самой машины. И горько плакал. Я этого никогда не забуду. И до сих пор бесконечно ему благодарна.

На похоронах было очень много народу. Много было сказано замечательных слов.

Через несколько месяцев я переехала сюда, в эту квартиру, где живу до сих пор.

Первое время Татьяна Александровна мне часто снилась. Теперь я успокоилась. Ведь прошло уже восемнадцать лет. Может быть, мы с ней скоро увидимся? Кто знает?

72

Обыкновенный подъезд в обыкновенном доме на Кузнецком мосту. Старая лестница с выщербленными ступенями. Я поднимаюсь на второй этаж. Звоню. Открывают и проводят в просторную комнату. Столы. Лампы. Приветливые женщины за стеклянной перегородкой: архив ФСБ, читальный зал. Народу немного. За одним из столов сидит немолодая женщина, около нее громоздятся папки. Она что-то выписывает, торопливо скользит ручка по бумаге. Вздыхает. Часто подносит к лицу носовой платок – то ли насморк, то ли вытирает слёзы. Передо мной всего одна не очень объемистая папка. На обложке написано: «НКВД. Второй отдел. Дело номер… Начато 24 ноября 1940 года, окончено 24 августа 1942 года. Том 1. Ермолинский Сергей Александрович».

Начинаю читать с трепетом и опаской. Всё очень аккуратно, обстоятельно, везде подписи с полным названием должности, даты. Ордер на арест, опись изъятых книг и документов (почему-

то письмо Сталину – какое? о чём? – никогда не узнать, и еще книга Н. Ермолинского «К пятисотлетию рода Ермолинских», изданная в 1907 году в Санкт-Петербурге), акт на их уничтожение, помеченный концом июня 1941 года, протоколы допросов – каждая страница подписана: Ермолинский, Ермолинский, Ермолинский, письма – прошения на имя Л. П. Берия, генерального прокурора. По нескольку страниц в разных местах упаковано в белую бумагу и прошито степлером по краям. Меня предупредили – это смотреть нельзя. Я послушно не смотрю.

По мере чтения начинаешь ловить себя на ощущении, что постепенно сходишь с ума. Ордер на арест от 20 ноября 1940 года (Ермолинский был арестован 24 ноября). Сергей Александрович еще на свободе, ходит в гости, читает книги, разговаривает с женой, пьет чай. А в постановлении на арест и обыск написано: «С. А. Ермолинский изобличается в том, что он является участником антисоветской группы, существующей на протяжении ряда лет среди работников искусства Москвы». Уже изобличен – без сомнений и колебаний. А спустя почти два года – Лефортово, пересылка, Саратовская тюрьма – и другое постановление: «в связи с тем, что следственными материалами не доказана причастность Ермолинского к антисоветской группе… переквалифицировать…» и т. д. Не самый плохой исход. «Антисоветская группа» – это булгаковский круг, люди вокруг Булгакова. Самого Михаила Афанасьевича уже не было в живых. Сергей Александрович всегда говорил, что его спасла война – немцы подходили к Саратову, не до него было. Добавлю от себя – еще и его неожиданная в тихом интеллигенте стойкость. Ведь он ни одного обвинения не признал. Один раз он обмолвился: «Я думал, подпишу, что им надо, и как потом взгляну в глаза Мише, когда встречу его?»

И что с ним ни делали, не подписал. А, видимо, у этих людей или, скорее, нелюдей тоже была своя странная законность – обвинение должно быть признанным – для верхов? для будущего?

Понять это невозможно.

И наконец, самый последний документ от 16 июня 1962 года – «Дело прекращено за отсутствием состава преступления».

Круг замкнулся. «Изобличенный» к тому времени провел много лет в ссылке, скитаясь из города в город, и только после смерти Сталина (и то не сразу) смог вернуться в Москву, хотя в еще одном постановлении Особого совещания при НКВД сказано: «Ермолинского С. А. за антисоветские высказывания выслать из Москвы с запрещением проживать в режимных местах сроком на три года, считая срок с 24 ноября 1940 г.».

Вчитываясь в протоколы допросов, начинаешь понимать, что обвинение высасывалось из пальца. Что, собственно, произошло? Обычная студийная ситуация – профессионального кинодраматурга, автора многих фильмов (в деле есть справка, подписанная начальником 1-го отдела комитета по делам кинематографии, где перечислено 22 картины) попросили доработать сценарий, который уже находился в производстве. Он поначалу отказывался, сценарий ему не нравился, и своих дел было много, но уговорили – затраченные средства, судьба друзей-режиссеров. Какой профессионал не понимает этого? За десять дней что-то слепили. В титрах фамилии Ермолинского не было. Надо думать, он к тому времени начисто забыл об этом мелком деле. Но его заставили вспомнить. Он говорил: «Считаю ошибкой со своей стороны, что поддался этим доводам и переоценил свои возможности, как теперь очевидно, сценарий нуждался не в доработке, а в коренной переделке».

И тут начинаешь сходить с ума по второму кругу. Это ведь не из протокола художественного совета, обсуждающего неудачную и даже, по терминологии тех лет, «вредную» картину. Это – допрос в застенке. Перед Ермолинским не грозный редактор или критик, а следователь. И что говорит этот следователь? «Разоблачение Огнерубова в фильме и в вашем варианте не мотивируется ни логикой драматургического действия, ни ситуациями фильма, ни жизненной правдой». Что это? Сколько раз я слышала подобные слова из совсем других уст… Трагический абсурд нашей жизни, общий тон обвинения, изобличения и там, на худсоветах, и тут, в застенках. Только расплата разная.

И заключение: «Ваша переделка сценария „Закон жизни“ в большей степени затушевала подлинное глубоко вредное существо картины».

Дело прочитано до конца. Закрываю папку, выключаю лампу. За спиной, на соседнем столе шорох перелистываемых страниц, вздохи и уже откровенное всхлипывание. За окном обыкновенная московская улица, спешат люди, останавливаются возле ярких лотков с товарами, что-то покупают или просто так смотрят. Двое остановились поговорить. Жестикулируют. Кто-то, отвернувшись, разговаривает по сотовому. Едут машины. Летний день в Москве.

73

Я была в Грузии несколько раз – в разных местах и по разным поводам. Очень люблю эту страну, такую красивую и нежную.

Именно такой ее всегда ощущала с первой встречи. Люблю ее людей, разных, как везде, но объединенных какой-то общей духовностью, которую для меня не заслоняла ни шумная, часто показная, приветливость и застольное гостеприимство, ни хитроумная деловитость и суетливость, характерная для некоторых слоев и кланов. Особенно близка мне грузинская интеллигенция, часто не богатая и не заметная на общем красочном фоне. Но и в деревнях мне приходилось встречать совсем простых людей, полных достоинства и непоказной значительности.

В середине восьмидесятых отмечался юбилей Наты Вачнадзе и Нико Шенгелая. На юбилей пригласили большую делегацию Союза кинематографистов, в состав которой вошла и я.

Началось не слишком удачно. Была нелетная погода, и мы просидели на аэродроме несколько часов, правда, в депутатском зале, удобном и тихом. То есть тихим он был до нашего появления. Наша немалая делегация заполнила его до отказа. Ну а где появляются кинематографисты, о тишине приходится забыть.

Григорий Борисович Марьямов, возглавлявший поездку, нервничал, расхаживая по залу, и вздыхал: «Боже мой! Там же столы накрыты, всё стынет. Это же грузины!»

Мы тоже вздыхали из сочувствия к грузинам и мысли о грузинских столах. Но, оказалось, зря. Прилетели мы поздно, ближе к ночи. Встречали торжественно – кинематографическое начальство, кажется, и братья Шенгелая тоже. Впрочем, не уверена. К тому времени мы все так устали, что уже плохо соображали. Помню только, что машин было немыслимое количество – чуть не каждому отдельный автомобиль.

Приехали в гостиницу, разместились по номерам. Хозяева простились с нами и уехали. Никаких столов не было. Тогда только пришел к власти Андропов, и мы забыли про его строгий запрет на публичное распитие напитков, вернее, думали, что Грузии это не касается. Мало того, рестораны были уже закрыты, магазины тоже, и поесть было негде. А хотелось.

Но с нами прилетел Марлен Хуциев. Он с замечательной быстротой организовал поездку к своим знакомым, и мы небольшой, но дружной компанией отправились к ним, заехав по дороге в какое-то укромное место, где прямо на улице пекли лаваши. В неглубокой яме на дне светились угли. Тесто налепили на стенки, и через несколько минут мы получили в руки горячие, душистые лепешки, которые тут же разместили на спинке сидения машины, предварительно покрыв ее бумагой. Я сидела сзади и всю оставшуюся дорогу потихоньку отщипывала кусочки

и с наслаждением ела.

Нас встретили очень милые люди, правда, полусонные – телефонный звонок их явно разбудил. На столе была скромная еда, вероятно, то, что составляло их повседневную пищу. Наши лаваши пришлись как нельзя кстати. Сидели мы недолго, но как-то очень тепло, по-домашнему – без пышных тостов и громогласных разговоров.

Как добирались обратно, не помню. В номере я рухнула на постель и мгновенно отключилась.

А с утра появились братья Шенгелая, всякое высокое начальство, и началась совсем другая жизнь.

Нас повезли в Кахетию, в имение, где выросла Ната Вачнадзе. Всё было удивительно красиво – и дорога, и имение. Торжественный обед проходил на веранде большого дома. За пределами Тбилиси, видимо, указания правительства уже не действовали. Стол был роскошный, вина тоже. Тосты следовали один за другим. Всё как обычно, только теплее и возвышеннее, потому что Шенгелая и Вачнадзе в Грузии очень любили и почитали, да и в остальном нашем кинематографе тоже. Они не только никогда ничем себя не принизили, но еще были известны тем, что очень много помогали людям, особенно ссыльным, которых Грузия приютила в немалом количестве и всячески опекала. Мне рассказывал об этом Сергей Александрович Ермолинский, который провел там несколько лет после высылки в послевоенные годы. Он поведал, что каждый раз, когда ему подходило время отмечаться в ГБ, туда сначала направлялись Нико и Ната с подарками и улыбками. И потом всё проходило спокойно.

Там же, в Грузии, были в ссылке и Заболоцкий, и Фаворский, и многие-многие другие. Разве можно об этом забыть.

Когда закончился обед, мы еще немного погуляли по имению и окрестностям. А потом нас пригласили в автобусы и повезли в замечательное место – храм Алаверды. Не знаю, как сейчас, тогда он стоял полуразрушенный, без купола. Уже стемнело, и над нами сияло звездное небо. Казалось, оно начинается прямо от стен. Горели свечки на железных трубах или перилах, не знаю, как правильно назвать. Они не рассеивали темноту, а трепетали каким-то святым светом, согревая душу.

Многие грузины приехали целыми семьями, и дети бегали по храму, зажигая свечи, рассматривая в их слабом свете остатки росписей на стенах. Просто играли. Их звонкие голоса наполняли высокое пространство и уходили выше – прямо в небо, в звезды, не нарушая торжественную тишину, а делая ее какой-то особенно неповторимой и даже щемящей.

И вдруг среди всего этого, как мне казалось, почти счастья, раздалось пение. Это братья Шенгелая и их друзья запели старинные грузинские церковные песни. Мы все потянулись к ним и стали тесной группой вокруг.

Грузинское многоголосье всегда завораживало меня, а тут – в темноте, тишине, под звездным небом – оно переполняло душу, и мир казался таким прекрасным и возвышенным, как, может быть, никогда в жизни. В моей жизни, во всяком случае. Когда пение закончилось, я вдруг обнаружила, что моё лицо залито слезами.

Мало что в моей жизни может сравниться с этими минутами.

А потом был обратный путь в Тбилиси, неожиданно превратившийся в целое приключение. Мы вышли из храма и расселись по автобусам. Поехали. Но очень скоро выяснилось, что наш автобус не в порядке. Что-то с радиатором. Мы двигались, но очень медленно. Останавливались каждые минут пятнадцать доливать воду. Но грузины не могли допустить, чтобы их гости терпели неудобства. Стали подъезжать машины. Забирали москвичей, а своих пассажиров высаживали в автобус.

Я отказалась. Мне было любопытно, чем кончится путешествие. Притворилась спящей, а сама через приспущенные веки наблюдала за нашими новыми пассажирами. Больше всех меня заинтересовала группа пожилых женщин, вероятно, ровесниц Вачнадзе, хорошо знавших ее. Меня поразили их лица, их манера держаться, их стать и стройность. Ни про одну из них нельзя было сказать «бывшая красавица». А только просто: красавица.

Женщины оживленно общались. Ни в ком не чувствовалось усталости, уныния, отрешенности. Говорили по-грузински, я, естественно, ничего не понимала – но иногда вдруг переходили на русский. Я тихонько спросила своего приятеля Мераба Саралидзе, почему вдруг между собой и на русском? Ответ его меня удивил и позабавил. Мераб объяснил мне, что для грузинской интеллигенции русский, как когда-то в России французский: почти родной. И есть мысли и понятия, которые легче выразить таким образом. «Посмотри у Толстого», – улыбаясь, сказал он мне.

Так мы ехали – ползли через ночную, а потом уже рассветную Грузию. Мимо виноградников, полей, уснувших домов. И то же высокое небо поднималось над нами, манило и странно утешало своей бесконечностью.

А потом звезды побледнели. Голоса и смех затихли. И наш сонный ковчег вплыл в безмолвные улочки какого-то маленького городка, где нас уже поджидал сменный автобус, чтобы мчать дальше в обычный и привычный непокой большого города, где не

будет ни этой тишины, ни этого неба, ни этого почти необъяснимого единения человеческих душ.

Не знаю, была ли я когда-нибудь так бескорыстно счастлива, как в эту памятную ночь.

Людмила Голубкина
Я медленно открыла эту дверь
(повесть)

«Мне приснился сон. Я очень редко помню свои сны, иногда какие-то детали. Иногда ощущения. А тут всё так отчетливо. Проснулась – вся подушка мокрая. Мне приснилось, что я умерла и оказалась на том свете. И знаете, там очень неплохо. „Тот свет“ – это поезд с удобными вагонами: мягкие сиденья, уютно. По два человека в купе. Поезд идет, мягко постукивая. Останавливается, забирает новых людей и опять идет. В купе со мной молодая женщина, очень красивая. Может быть, итальянка. Зовут Паола. Но она не мертвая, как я. Она там работает. У нее редкая специальность, она занимается с глухонемыми детьми. Один раз она взяла меня с собой, в такой большой вагон, скамейки вдоль стен, а посередине пусто. И лежат всякие игрушки – мячи, кубики, все очень яркие. И дети играют. Очень тихо, потому что все дети немые. Это очень страшно. А она среди них ходит, ласковая, внимательная. А потом мы опять с ней в купе. И я, понимаете, погибаю от тоски. Я не знаю, сколько лет прошло. Я не знаю, что на земле, как мои дети. Женился ли наконец Володя? Как Галя живет, как ее ребятишки? И я умоляю эту женщину, Паолу, когда она выйдет, а она время от времени возвращается туда, в настоящую жизнь, я умоляю ее позвонить и узнать, что с ними, как они. А она мне говорит, что не может, что она дала подписку ничего из того света на этот не переносить и не рассказывать, и наоборот. А то она потеряет работу. Но я ее упрашиваю, я плачу. У меня такая тоска, что просто не могу. Я ей говорю: „Зачем вам здесь жить, оставайтесь там, пока живы. Вы молодая, красивая, зачем вам это?“ А она говорит, что ей здесь нравится, здесь спокойно и всегда одно и то же, если бы можно, она бы здесь навсегда осталась, но там мать, сестры, им нужно помогать. А я говорю: „Вот видите, вы о них знаете, а я ничего о своих детях не знаю. Помогите мне“. Она молчит. А потом ей нужно выходить, я стою у окна, молча плачу и на нее смотрю. Все заходят, она одна вышла. Остановилась на платформе, взглянула на меня, и я по ее глазам поняла – узна́ет. И проснулась. Очень тяжело было…»

Пожилая женщина, лет шестидесяти, пожалуй, даже еще красивая, но какая-то очень усталая, поникшая, рассказывала мне это на балконе двухместного номера пансионата, где мы с ней, сидя в плетеных креслах, грелись в лучах последнего неяркого осеннего солнца.

Сезон уже закончился, народу в пансионате было совсем мало, всё какие-то случайные люди, и я несказанно обрадовалась, когда ее поселили в мой номер. Могли ведь и удружить какой-нибудь шумной теткой, из тех, что любят компании и общения. А моя Ася Сергеевна оказалась женщиной очень тихой, деликатной и малоразговорчивой.

Я приехала сюда отдохнуть от суетливой своей жизни. Мне хотелось молчать, слушать море, читать книги и ни о чём не думать.

Мы с ней жили замечательно. Когда я просыпалась утром, ее уже не было. Она ухитрялась вставать так тихо и незаметно, что я ни разу не проснулась. За завтраком мы здоровались. За обедом я иногда подходила к ней, спрашивала о ее здоровье. После ужина мы обычно гуляли вместе. За всю прогулку мы обменивались несколькими словами, не больше.

Я знала, что она работает смотрительницей зала в московском музее, что путевка у нее соцстраховская – со скидкой, потому и попала не в сезон, да и хотела так. Юг летом не для нее. Давно никуда не ездила, а тут товарищи уговорили, и путевка была горящая. Она рада, что приехала, море действует успокаивающе.

Мне тоже было хорошо, как давно уже не бывало. Тихая поздняя южная осень, одиночество, отовсюду слышно нешумное море, солнце, которое воспринималось как подарок, – всё это убаюкивало, притупляло, растворяло, заставляло забыться. Я жила почти как растение – кротко и отдельно. Мне легко спалось и сладко дремалось на нагретых солнцем камнях. Книжка выскальзывала из рук, глаза закрывались, мир сужался и наплывал, обступая тихими звуками. Потом звуки удалялись, и приходило счастье полусна. Только через прикрытые веки какое-то время пробивался алый свет, затем и он угасал.

Как проводила свои дни моя соседка, я не спрашивала. Наверное, тоже бродила у моря или сидела в парке с книгой в руках. Читала она много, я видела это по всё меняющимся томикам у нее на тумбочке. В пансионате была на редкость хорошая библиотека, да и в городской нам охотно давали книги под залог.

Она говорила, что одинока. Поэтому я очень удивилась, когда она рассказала мне свой сон. В этот день я вообще ее не узнавала. Утром она уронила вазу с цветами, отчего я проснулась, хотя было еще рано. Она тысячу раз извинилась, но уходить, как обычно, не стала. Сидела на кровати, растерянно сложив руки, и смотрела в окно. А после завтрака подошла ко мне и сказала, что обещают шторм и ветер и, может быть, мы никуда не пойдем, а

посидим на нашем балконе – он выходил на горы и был закрыт со всех сторон. Я тоже слышала про шторм, поэтому думала пойти не на море, а в рощу. Но отказать ей постеснялась, и мы остались. Сидели на балконе, читали, и вдруг она, отложив книгу, достала папиросы – я даже не знала, что она курит, – и заговорила своим низким, очень красивым, сейчас слегка подрагивающим голосом.

Когда она окончила свой рассказ про сон, я попросила у нее папиросу, хотя дала себе слово на отдыхе не курить, и осторожно спросила, боясь спугнуть ее откровенность:

– А где ваши дети? Вы мне никогда о них не рассказывали.

Она помолчала, вздохнула и сказала нерешительно:

– Ну, всё равно. Я чувствую, что должна рассказать, иначе мне не освободиться. Вы уж простите, что я вас нагружаю. Я вижу, у вас своих горестей хватает, но вы знаете, этот сон меня настолько выбил из колеи, что я не могу сегодня быть одна. Вы уж меня простите.

Она снова закурила, руки ее дрожали, она это заметила и поняла, что я тоже обратила внимание.

Мы старались не смотреть друг на друга. Смотрели на горы. Они были какие-то странные сегодня – освещенные солнцем, но не радостные, слишком яркие, отдельные. Небо было тревожно-алое, и даже тени от облаков не оживляли напряженную неподвижность гор. Шторм уже приближался, и хотя к нам на балкон ветер еще не пробился, море шумело сумрачно и грозно, и шум деревьев вторил ему.

– У меня двое детей. Сын Володя и дочь Галя. Но они не мои дети, вернее, они не знают, что я их мать. Это очень давняя история, тяжелая. Я очень рано вышла замуж – девятнадцати лет – за человека старше себя. Ему было тогда тридцать. Он был летчик. Вы еще молодая, вы не знаете, что такое были для нас летчики до войны. Они ходили в синей такой, ладной форме. И все казались героями. А он еще был как-то особенно мужественно красив. Я занималась музыкой с одной девочкой в его квартире. Я была совсем одна тогда и очень трудно жила. Родители мои погибли, бабушка умерла, и я осталась вдруг в таком одиночестве, что даже сейчас горько вспомнить. Как-то сразу шагнула из счастливого и безмятежного детства в эту взрослую и жестокую жизнь. Нашлись кое-какие уроки – добрые люди помогли, в общем, жила. А этот летчик, мой будущий муж, он нечасто приезжал к своим родителям, но всегда, как видел меня, здоровался и внимательно так смотрел вслед. А однажды я выхожу вечером, а он ждет меня у подъезда – стоит в темноте и курит. Я испугалась, я тогда всего боялась, больше всего темноты. Но уроки были поздние, ничего не поделаешь. Он сказал, что

проводит меня. Почти всю дорогу мы шли молча, я очень робела, он мне казался каким-то нереальным, как герой кинофильма. А у самого дома он мне сделал предложение – спокойно, церемонно даже. Так и сказал: «Прошу вашей руки». Я заплакала, он меня погладил по голове и сказал, что я теперь не одна, что он берет меня под свою защиту и чтобы я собирала вещи, утром он заедет за мной, и мы уедем к нему в другой город. Потом, уже ночью, я сообразила, что я так ему и не ответила, да он и не спрашивал – всё сам решил. Утром он заехал за мной на машине, забрал мои вещи, которых было немного, взял меня твердо под руку, и мы уехали.

Вот так я оказалась замужем. Поселил он меня на квартире, не в военном городке. Приезжал не всякий день. Когда полеты были, не приезжал. С друзьями не знакомил. Жили мы замкнуто, нигде не бывали. Я его беспрекословно слушалась и побаивалась. Работа у него была какая-то героическая, нелегкая. При нем я робела, без него скучала. Потом стала замечать – книг он не читает, в кино часто засыпает. Он был со мной ласков, но говорить нам было не о чем. Видит, что я грустна, погладит по голове, но не спросит – что, почему. Я из одного одиночества попала в другое, более страшное. Раньше у меня хоть музыка была, ученики, раньше я мечтать могла о другой жизни. Нет, он вообще был хороший человек, мой муж, любил меня. Думаю, что очень любил, как никого в жизни. Но он был человек не тонкий, не понимал, что я еще девочка была, что мне хотелось быть среди людей, смеяться, радоваться, учиться. А он кроме меня любил только свое дело, и больше его ничего не интересовало. Там, на аэродроме, у него были друзья, мужское братство. Дома ждала молодая жена. Он был по-своему счастливым человеком и моего несчастья не замечал совсем. А потом у нас родился сын – Володя. Он так радовался ему, так любил нас обоих. И помогал мне во всём. И мне стало легче жить, я была не одна. Всё посветлело вокруг, всё стало почти хорошо.

Он иногда даже отпускал меня в библиотеку или на концерт. И вот тогда я в библиотеке познакомилась с Игорем. Я его и раньше встречала, он рылся в каталогах и набирал целую гору книг. Библиотекари его знали и очень как-то почтительно с ним разговаривали. Он был худой, высокий, с бородой. А тогда это было не очень принято. Глаза мягкие, внимательные. Один раз мне понадобилась какая-то книга, библиотекарша не знала, где она. Игорь подошел, услышав наш разговор, и сказал, что книга у него и в следующий раз он принесет. Принес, потом пошел меня провожать, всю дорогу мы разговаривали не умолкая. Меня как прорвало. Я так стосковалась по общению, а он внимательно

слушал, понимал с полуслова, подхватывал мысль. Мы стали встречаться не договариваясь. Просто когда бы я ни пришла в библиотеку, он был там. Он не ухаживал за мной, не расспрашивал ни о чём, просто провожал. И эти нечаянные встречи всё больше заполняли мою жизнь.

Я любила остановиться иногда неожиданно и снизу вверх посмотреть ему в глаза. Он поспешно отводил их, но я успевала заметить, какой мягкий свет шел ко мне, сколько нежности.

Однажды я проснулась ночью, неизвестно почему. Сын спал, муж тоже. Я встала, прошла босиком к окну, отдернула занавеску и увидела Игоря. Он стоял, засунув руки в карманы, в тени дома и смотрел на наши окна.

Я оделась тихонько, закутала сына, он похныкал немного, муж спросил сонно: «Что?»

Я ответила: «Ничего. Я сама. Спи».

Собрала сумку с пеленками и детскими вещами, написала при свете луны записку мужу.

Сумку в одну руку, сына в другую, дверь прикрыла тихонько, чтобы не хлопнула. Игорь, как увидел нас, кинулся, взял ребенка неумело, но крепко, прижал его к себе, и мы пошли. Долго шли, потом я спрашиваю: «А куда мы идем?» Он говорит: «К моим друзьям».

Пришли среди ночи, разбудили, но нас ни о чём не стали расспрашивать, напоили чаем, уложили.

А через несколько дней мы уехали в Москву. Мужу я с дороги послала письмо, всё объяснила, как могла, просила прощения.

В Москве мы сняли комнату у одной старушки в Сокольниках. Крошечная была такая комнатушка в деревянном доме, который весь разваливался и скрипел. Печка одна на две комнаты, внутренняя стена прогревалась, а на наружной за ночь нарастал лед. Мы жили очень бедно. Игорь был начинающий поэт. Перебивался кое-как переводами. Связей в редакциях у него не было, изредка кое-что перепадало от друзей.

Но мы так прекрасно жили. В нашей комнате над столом висел большой низкий абажур. От него падал уютный круг света. В углах темно, а за столом всегда светло. Печка гудит, страницы шуршат. Он работает, я занимаюсь. Он меня всему учил, что сам знал. Программу мне составил, книги доставал. Часто друзья приходили, принесут с собой вина, пряников каких-нибудь. Сидим, говорим шепотом, чтобы Володю не разбудить, стихи читаем, смеемся, тоже шепотом. Иногда даже споем шепотом. Это самое счастливое время в моей жизни. Нам никогда не бывало скучно вдвоем, мы никак не могли наговориться. Бывало, кто-нибудь из нас скажет: «Ну, всё, пора спать!» – и снова говорим,

пока не заснем на полуслове.

А потом у нас Галя родилась. Жить стало еще труднее. Летом хозяйка наша, тетя Наташа, позвала нас с собой в Белоруссию, в деревню. Уговаривала: «Ребятки молочка попьют свеженького, вы тоже откормитесь, совсем отощали, в чем только душа держится». Мы подумали и поехали. Молодость, решения легкие. В деревне нас приняли как родных. Мы и вправду отъелись, дети поздоровели.

Ася Сергеевна неожиданно замолчала, глядя на горы, которые теперь заволокло тучами. Море уже не просто шумело, а грохотало с угрожающими паузами, деревья стонали и вздыхали судорожно, порывами. А у нас на балконе еще держалось солнце, словно в каком-то чудесном оазисе посреди наступавшего хаоса.

– Однажды просыпаюсь среди ночи на сеновале, где в углу на оставшемся с зимы прошлогоднем сене постелено нам четверым. Под головой у меня рука Игоря, родная, теплая рука. Мы всегда так спим – обнявшись. Поначалу я боялась, что рука у него будет затекать, просыпалась, тихонько высвобождалась, но он снова обнимал меня, не открывая глаз. В распахнутую дверь видно небо, усеянное звездами. Пахнет сено, сухо и стойко, пахнет земля, отошедшая от дневного зноя, пахнут травы неведомыми мне запахами. Я горожанка. Я боюсь безмерности этого покоя, я полна этой безмерностью и своим счастьем.

– Игорь, – зову я тихонько. – Игорь!

Он открывает глаза, в них ни капли сна.

– Что? – спрашивает одними губами.

Я молчу, я чувствую, как слёзы бегут у меня из глаз. Бегут, ползут по щекам, неудержимо накатывают. Всё лицо мокрое. Они щекочут мне шею, а я не могу пошевелиться, вытереть их.

Игорь ладонью вытирает мне щеки. От крестьянской работы руки его, всегда такие мягкие, задубели. Мне приятно это шершавое прикосновение.

– Не плачь, – говорит он нежно. – Девочка моя, не плачь. Это никогда не кончится. Мы всегда будем вместе и всегда будем счастливы.

– Дети растут, – говорю я, всхлипывая.

– Дети вырастут, станут большими и добрыми. А мы всё еще будем молодыми. Может быть, мы еще родим с тобой, чтобы нас было больше. Хочешь?

Я плачу, но слёзы уже отходят. Я тоже хочу ребенка – сейчас, этой ночью, чтобы он зародился во мне из этого счастья, из этих запахов, звезд, из этой земли.

А Игорь притянул меня к себе, и я слышу удары сердца – моего, его, я не знаю. Плачет Галя. Мы слышим и не слышим. Нам

нельзя разомкнуть наши объятия. Мы не здесь, мы слиты в этой ночи, в другом пространстве, у которого нет конца. Где-то в этом бесконечном, начинающемся от наших тел пространстве глухо и далеко грохочет гром.

Утром я спускаюсь с сеновала, иду, осторожно ступая босыми ногами по мокрой траве. Я знаю, во мне уже – новая жизнь. Я еще легкая, но тяжесть приближается, она скоро настигнет меня, радостная тяжесть будущего человека, созданного нами.

А навстречу спешит, путаясь в травах, тетя Наташа. Платок сбился с головы, руки беспомощно висят вдоль тела.

Я улыбаюсь ей, хочу одарить чем-то от полноты своего счастья.

– Война! – говорит она мне. – Война, детка.

Ах, какое лето стояло в тот год на земле. Неизбывное лето, которое длится годы, а началось двадцать два дня назад.

Я провожаю Игоря. Мы стоим за околицей. Галя у меня на руках, Володя – у тети Наташи, новый ребенок – во мне.

Игорь уходит с остальными мужчинами на призывной пункт и дальше на фронт. Он смотрит на меня с ужасом. Он не может понять, как мы останемся одни в этой чужой деревне, посреди войны.

Я смотрю на него с отчаянием. Я не могу примириться с мыслью, что его отрывают от меня. Мы еще ни разу не расставались с той ночи, когда я вышла к нему с ребенком на руках. Я так недолго и так неистово была счастлива, а он уходит туда, откуда, может быть, не вернется. И мы оба знаем – так нужно, так нужно. Он уходит по дороге. Надрывается гармошка, голосят бабы, пыль, жара. Вот один парень вырвался от повисшей на нем жены и нагнал остальных.

А Игорь всё оглядывается, оглядывается…

Через три дня в деревню пришли немцы.

Я с трудом открываю глаза. Чужая женщина, пожилая, почти старуха, глядя мимо меня на совсем потемневшие горы, прерывает повествование. Солнца уже нет и в помине. Ветер добрался до нашего балкона. Ася Сергеевна уходит в комнату за платком. Холодно.

Она возвращается. Я смотрю на ее ноги, они еще стройны, но все в тяжких синих узлах вен. Кожа точно изрыта ими. Тромбофлебит, закупорка вен – болезнь стариков.

– Сначала нас не трогали. Они шли по дорогам, в деревню заходили ненадолго – разжиться едой, согреться. А потом зима. Немцы заняли нашу деревню, поселились спокойно, основательно. Мы перебрались в землянку. Там было холодно и

всегда темно. Я потом часто корила себя, что не ушла следом за нашими войсками, даже не попыталась вернуться в Москву. Но куда я могла тронуться – одна, с двумя маленькими детьми?

В землянке меня и нашел однорукий Гоша – связной партизан. Он был здешним учителем, Игорь успел подружиться с ним. Сначала я только испугалась. Чем я могу быть полезной? Я чужая, у меня нет хозяйства, сами голодаем, дети почти не видят солнца. Я беременна на седьмом месяце, и по снегу мне уже трудно ходить.

Но старалась помочь чем могла. Было такое чувство, что, помогая им, я помогаю Игорю. Где он, жив или нет, я не знала, но это всё, что я могла для него сделать.

А потом наступил этот день. Накануне под вечер я ушла в отряд. Гоша заболел, и бабы определили меня нести еду. Они рассудили, что в случае чего мне, беременной, легче будет пройти через патрули. У всех у них были родные в партизанах, а те, у кого не было, так же как и я верили, что помогают своим мужикам, ушедшим на фронт, выкупают их у судьбы.

Когда я возвращалась светлым днем, еще издали, из-за рощи, почувствовала запах гари, увидела дым над деревней и вороньё в небе, бестолково собирающееся в стаи.

Я бегу, проваливаюсь в снег, всё во мне болит и кричит от боли. Я уже не могу бежать, ковыляю, ползу, поднимаюсь, поддерживая живот, снова проваливаюсь…

И вот я вышла, вывалилась из рощи к ней, к деревне, которая была моим домом и последним прибежищем на земле. Ее нет. Есть трубы, догорающие бревна, страшная куча обугленных трупов в конюшне за селом. И вороньё в небе.

Меня раздирает боль, я царапаю снег, я кричу – всё равно меня никто не услышит.

Я рожаю прямо здесь, на снегу, мертвого ребенка и остаюсь лежать в крови, не шевелясь. Жить незачем. Всё кончилось. Страшнее ничего не бывает.

Здесь, в этой жизни, на продуваемом ветрами балконе я хватаю за руки бесстрашную женщину с пустыми от давнего горя глазами.

– Ася Сергеевна, миленькая, не надо! Не надо больше! Зачем вы всё это ворошите? Это нужно забыть, забыть!

Она высвобождает руки, как отталкивает меня, поднимается, сухо смотрит перед собой.

– Да, наверное, не надо. Вы правы. Я что-то распустилась совсем.

И тихо уходит в комнату, садится на кровать.

Я стою еще некоторое время. Меня бьет дрожь. Я смотрю на сгорбленную, поникшую женщину, пронзительная жалость переворачивает мне сердце. Я сажусь рядом с ней и осторожно глажу ее руки.

– Милая, дорогая Ася Сергеевна, не мучайте себя. Их уже нет, что же делать? Я не то говорю, наверное, но пожалейте себя…

Она с удивлением смотрит на меня.

– Как нет? Они живы, живы!

– Да, конечно, но давайте пойдем куда-нибудь к морю, посмотрим на шторм. Оденьтесь потеплее.

Она вдруг тихо улыбается и как-то молодеет на минуту – глаза мягкие, отсвет нежности на лице.

– А, я понимаю, что вы подумали. Нет, я не сумасшедшая. Вам лучше дослушать меня, иначе…

Она не договорила, что «иначе»… Встала, легко нажала мне на плечо, чтобы я не поднималась, и я покорно осталась сидеть, глядя на нее снизу вверх.

Шторм уже бушевал вовсю, окна сотрясались.

– Вечером меня подобрали люди из соседнего села. Они же похоронили трупы. Меня выходила одна женщина. Я не хотела жить. Она силой вливала в меня какой-то отвар. Выходила, чтобы потом вместе со мной попасть в концлагерь. Их деревню немцы не сожгли – пришли однажды и всех забрали. Я была четыре года в лагерях, в самых страшных, потом в Германии. В сорок шестом вернулась в Россию. Первое, что сделала, – бросилась узнавать про Игоря. Он погиб сразу же – в сорок первом. Мне было всё равно, где жить, чем заниматься. Попала в Сибирь, работала на шахте. Потом один человек меня пожалел, перевел в библиотеку. Единственное место, где мне было хорошо. В библиотеке мы встретились с Игорем. Книги – вот всё, что у меня осталось. Меня многие жалели тогда. Я еще была молодая, хоть и выглядела намного старше своего возраста. Но мне ничего не было нужно.

И вот я как-то разбирала новые поступления и увидела тоненькую книжечку. На обложке стояла фамилия Игоря. Стихи. Я открыла ее, и на меня глянул он сам – такой родной и такой далекий. У меня ведь ничего не осталось от той жизни, даже фотографий.

Вступительная статья: «…талантливый молодой поэт, отдавший свою жизнь…» Под статьей подпись знаменитого литератора. Когда-то он бывал у нас, очень дружил с Игорем. Он не забыл, он собрал все его разрозненные стихи и отдал их людям. А я?

В ту же ночь я выехала в Москву.

Иду по Сокольникам такой знакомой дорогой и ничего не

узнаю. Какие-то большие дома вокруг. Все спешат. Прошлого уже нет, его и не может быть. Уже выросли новые деревья и бегают дети, которые не знали войны. Я в изнеможении бреду, еле переставляя ноги, сама не знаю куда.

А потом за каким-то пустырем и строительным мусором открывается наш дом. Та же покосившаяся калитка, тропинка к крыльцу, оторванный ставень на одной петле. Я иду по тропинке как во сне. Вот сейчас толкну дверь, и навстречу мне выйдет Игорь, чуть сутулясь от роста и застенчивости. И я услышу веселый шум дома – гудение печки, детское лопотание, ворчание тети Наташи.

Нет, сейчас мне навстречу выйдут чужие люди и строго спросят: «Что надо?» И я попытаюсь им объяснить. И я буду умолять: «Посмотрите, может быть, что-то осталось – бумаги, книги?» А люди будут смотреть на меня подозрительно, и звуки дома будут чужие, не наши.

Я поднимаюсь на крыльцо, стою, переводя дух. Надо решиться. Надо решиться. Надо решиться.

Я медленно открыла эту дверь.

Знакомая холодная прихожая-сени. Коридор. Комната. Гудит печка. У печки какая-то старуха, нагнувшись, подкладывает дрова. Поворачивается ко мне, щурится подслеповато.

– Тетя Наташа, – кричу я, не веря себе, не веря ничему.

Этого не может быть! Или я тоже умерла, как в том сне? Когда я успела?

– Асенька! – кричит она и спешит мне навстречу, переваливаясь, тяжело оступаясь.

Мы обнимаемся. Вернее, я падаю в ее объятия. Она живая, теплая, пахнет дымом. И дом пахнет как встарь – половиками, уютом, старушечьей чистотой.

– Как же так? – спрашиваю я, давясь слезами. – Как же вы живы? Вас же сожгли там, с детьми!

– Ой, да что ты, что ты, Бог с тобой! За нами накануне деверь приехал с вечера. Я же тебе говорила, что он звал. Я и поехала, когда еще телега-то будет… А бабам наказала, чтобы тебя проводили, когда придешь. Потом искала тебя, искала. Думала, ты померла.

– А дети, дети? – без голоса кричу я.

– Живы твои дети – и Володенька, и Галенька. Большие уже.

Я оседаю на пол, на половики, к ее ногам, в темноту.

Я выкарабкиваюсь из темноты, как из дурного сна – с усилием, не сразу. Я лежу на полу, под головой у меня подушка. Я чем-то укрыта.

Тетя Наташа сидит рядом, плачет, сморкается. Я смотрю на

нее, не понимая, что происходит. Потом разом все вспоминаю и рывком сажусь, но снова падаю навзничь от головокружения.

– Где они, тетя Наташа? Здесь?

– Да нет, не здесь, – виновато говорит она. – Я бы их не вытянула. И так не знаю, как живы остались.

– А где они? В детдоме?

– А у мужа твоего. Он нас разыскал там, как уж, не знаю.

– У какого мужа? – опять холодею я, боясь поверить в новое чудо и уже ничего не понимая.

– Да у летчика этого, Володиного отца. Я же тебе говорю – разыскал он нас у деверя, как немцы ушли. Приехал на машине, бравый такой, весь в орденах. А я и не знала, что Володька от него, думала, оба от Игоря. Он мне и сказал, что Игорек погиб.

Она снова плачет.

– Обоих взял? – тускло спрашиваю я.

– Обоих. Говорит, любил я ее и буду любить. И дети ее мне оба родные. Так и растит их обоих как родных.

– А где он сейчас?

– Да здесь, в Москве. Недалеко – на Каланчёвке. Я к нему иногда захожу проведать. Хорошие такие ребятишки, ладные. Меня любят. Только и осталось теперь у меня, что они.

Потом я бреду по Сокольникам, зажав в руке записку с телефоном, ищу автомат. Вот попался один – сломанный. Вот другой – занят. Я терпеливо жду. Ноги мерзнут. Голова кружится. Наконец подходит моя очередь. Я набираю номер, отвечает какая-то женщина. Хочу позвать мужа и вдруг чувствую, что у меня пропал голос. Совсем пропал. Ничего не могу произнести.

– Алло, – говорит женщина в трубке. – Алло! Слушаю!

Я молчу. Гудки. Отбой.

Захожу в кафе. Заставляю себя выпить немного чаю. Нужно согреться, успокоиться. Пробую говорить – какой-то сип из горла.

Я иду дальше, иду, иду. Вот уже Комсомольская площадь. Я останавливаюсь, считаю до ста. Всем напряжением нервов велю себе успокоиться. Успокаиваюсь. Говорю вслух: «Алло!»

На меня оборачиваются. Я вхожу в метро, нахожу автомат, набираю номер. На этот раз к телефону подходит он.

– Алло, – говорю я. – Это я, Ася.

Он молчит, потом тихо говорит:

– Это ты?

– Да, я. Я жива. Я вернулась и хочу видеть детей.

– Где ты сейчас? – быстро спрашивает он.

– В метро на Комсомольской.

– Выходи к Казанскому, жди меня там. Я сейчас подъеду.

Я выхожу. Меряю шагами расстояние от стены до края

тротуара. Он же рядом живет, зачем ему за мной заезжать? Впрочем, какое мне дело? Скорей бы увидеть детей. Скорей. Я еще не могу привыкнуть к мысли, что они живы. Уже большие, как сказала тетя Наташа. А для меня маленькие, как тогда – в сорок первом.

Подъезжает машина. Из нее выходит он. В кожаном реглане, постаревший, но еще красивый. Наверное, в больших чинах, это чувствуется по нему.

Он смотрит на меня, не узнаёт и снова ищет глазами. Я знаю, что очень изменилась, но мне сейчас не до этих переживаний. Я подхожу к нему.

– Это я, я, не пугайся.

Это потому, что в глазах у него страх. Но он мужчина крепкий, он берет себя в руки, открывает дверцу машины.

Я сажусь. Он грузно влезает за руль, но не спешит тронуться с места. Смотрит на меня и молчит.

– Поедем, – прошу я.

– Подожди, – тихо говорит он. – Тебе, видно, нелегко пришлось в жизни, но ты сама выбирала свою судьбу. Я готов был всё для тебя сделать, я бы тебя от всего защитил.

– Что сейчас об этом вспоминать? Поехали.

Но он опять медлит.

– Ты мне много горя причинила в жизни. Ты меня бросила и сына забрала. Я чуть не умер тогда. Я даже плакал. Пил и плакал.

– Я прошу тебя… Это всё так далеко. Я была уверена, что дети погибли. Я их даже не искала. А они живы. Я хочу их скорее увидеть, ты понимаешь?

– Если бы не я, дети погибли бы. Ты не представляешь, в каком виде я их застал. Дистрофия, животы вздутые. Галя просто умирала. Я их выходил, ночи от них не отходил. Все ночи между полетами. И ребята помогли. Всем полком их спасали.

Я хватаю его руку и целую ее с нежностью.

– Спасибо тебе, спасибо! Ты святой человек. Я не знаю, как за тебя молиться.

– Нет, – говорит он решительно, не отнимая руки. – Я не повезу тебя к детям.

– Почему? – не понимаю я.

– У них другая мать, моя новая жена. Она их вырастила вместе со мной. Она была официанткой в нашей столовой. Она вместе со мной не спала все эти ночи. Они не знают, что у них была ты. Галя не знает, что я не ее отец. Я люблю ее как родную. Сначала любил, потому что она твоя дочь, а потом просто полюбил.

Я молчу, осмысливая сказанное. У него трясутся руки, он

ломает спички, пытаясь прикурить. Мне его жалко. Он, действительно, спас моим детям жизнь, и он любит их. Но это же мои дети, мои! Я их снова нашла.

– Едем, – говорю я.

– Ты мне искалечила жизнь, – вдруг почти с ненавистью говорит он. – Я много лет не мог опомниться. Меня дети спасли, любовь к ним. А сколько они потом болели, думаешь, эти зимы в деревне прошли им даром? Я с трудом наладил свою жизнь. Сколько раз погибал, горел в самолете. И теперь, когда всё позади и мы счастливы, являешься ты и хочешь всё сломать.

– Коля, – говорю я. – Коленька, – как никогда не называла его в жизни. – Неужели ты хочешь меня погубить? Посмотри на меня, я же всё потеряла. Я уже почти не живая!

– Зачем же ты нужна им, мертвая? И что ты им можешь дать? У них дом сейчас. У меня хорошая квартира, жена не работает, только ими занята. Они учатся. Галя в музыкальную школу ходит. Ты о них подумай.

Я вылезаю из машины, иду по мостовой, подальше от него. Он нагоняет меня, обнимает прямо посреди площади, плачет.

– Прости меня, Ася, прости. Я не хочу добивать тебя. Но что же делать?

Я молчу, прислонясь лбом к его реглану. Сколько страшных лет пролегло между нашими объятиями.

– Ну, хочешь, я прогоню ее. Будем снова жить вместе, растить детей. Я буду любить тебя, как прежде. Мы всё забудем.

– Кого? – тускло говорю я. – Кого ты прогонишь? Мать своих детей, которая их вырастила?

Он опомнился, снял руки с моих плеч.

– Прости. Ты права, я просто забылся.

Я поворачиваюсь и ухожу. Со всех сторон нам сигналят, объезжая, машины.

– Ася, – зовет он меня опять.

Я останавливаюсь, жду.

– Обещай, что ты никогда им не дашь о себе знать. Дай мне слово, что ты никогда им ничего не расскажешь.

Я смотрю на него. У него дрожат губы, дергается щека. Это он спас моих детей, он, а не я. Это он выходил их, перенес все их болезни, плохие отметки, ушибы, ссоры и неприятности. Он, а не я. Это его они ждали по вечерам и целовали на ночь. Его, а не меня. Я не виновата, но это так.

– Хорошо, – говорю я. – Даю тебе слово. Прощай.

И ухожу, больше не оглядываясь.

В комнате совсем темно, но мы не зажигаем свет.

Я смотрю на худенькую Асю Сергеевну, она закинула голову, прислонившись затылком к стене. Стоя она не сутулится. В темноте не видно морщин. Ей на вид лет тридцать пять, не больше.

– А что было потом? – шепотом спрашиваю я.

– Что было? Я поселилась в Москве, у тети Наташи. Нашли стихи Игоря, она всё сохранила. Выпустили еще одну книжку. Теперь его все знают, читают, помнят. Молодежь знает его стихи наизусть. Песни пишут. Он был большой поэт и успел немало. Тетя Наташа сама отвела меня к школе, где учились дети. Я увидела их издали. Галя совсем не похожа на Игоря. Она в меня. А Володя в отца. Я каждый день приходила к школе, потом к институтам, где они учились. Через тетю Наташу я знала всё о них. Потом она умерла, дом снесли. Я перебралась в коммуналку. Галя замужем, у нее двое детей. Теперь я хожу к садику, смотреть на них. Володя никак не женится, живет с отцом. Муж мой постарел совсем, ходит с палочкой. Он иногда замечает меня у дома, но никогда не подходит. Один раз его собака подбежала ко мне. Он стоял и смотрел. Потом вышел Володя, и я ушла. Я привыкла. Живу этим. А сегодня вот этот сон. Растревожил меня.

Мы молчим. Сумерки сгущаются. Море утихло.

Я встаю, подхожу к Асе Сергеевне, обнимаю за плечи, прислоняюсь щекой к ее плечу.

Кто-то проходит под нашими окнами, оживленно разговаривая. Шуршит гравий под ногами. По шоссе мчатся автомашины. Начинается южный вечер.

О Людмиле Голубкиной

Татьяна Голубкина

В начале семидесятых окончила филологический факультет МГУ по специальности «романская филология». Завотделом информации НИИ карантина и защиты растений, ученый секретарь научного общества АН СССР, начальник управления страховой компании «МАКС».

Милка – так ее называли в семье, так называла ее моя мама, Инна Абрамовна Голубкина, 1925 года рождения. Милкина мама, Ирина Соломоновна Голубкина, приходилась младшей сестрой моему дедушке, Абраму Соломоновичу Голубкину. В семье деда было восемь детей, но моя жизнь была тесно связана с двумя сестрами – Ириной и Эммой, у которых я проводила многочисленные субботы и воскресенья, с которыми всё детство и отрочество жила на съемных подмосковных дачах в Трудовой, Баковке, Переделкине, Мозжинке. Тетка Эмма и тетка Ирина (я вслед за мамой называла их тетками) во многом сформировали моё отношение к жизни, мои вкусы и пристрастия.

Лет в пять я гостила у тетки Ирины на проспекте Мира – дом 8 или 10. Квартира была коммунальная, и Ирина вышла на кухню ставить чайник. Оставшись одна, я обнаружила на столике фотографию мужчины, который, по моим понятиям, был шпионом из фильма «Тайна двух океанов». Когда Ирина вошла в комнату, я встретила ее гневно и подозрительно: «Ты почему держишь у себя фотографию шпиона? Я его в фильме „Тайна двух океанов“ видела». Ирина засмеялась: «Никакой это не шпион, а известный поэт Владимир Луговской, Милкин папа». Так, перепутав Луговского с актером Евгением Самойловым, я узнала о существовании Милкиного отца, с которым так никогда в жизни и не встретилась.

Когда тетка Эмма осталась одна (сын Элька в 19 лет погиб на фронте, муж и сестра Роза умерли один за другим в середине 50-х), Ирина поменяла свою комнату на проспекте Мира, и тетки, к моей радости, стали жить вместе в страшноватой коммуналке в особняке в Столешниковом переулке (в 90-х во дворе этого особняка был известный ресторан «Дядя Гиляй»). Помню, что на двери в квартиру висели железные почтовые ящики соседей. Наш был самый красивый – из какой-то газеты Эмма вырезала фамилию ГОЛУБКИНА (наверное, статья была про скульптора Анну Семеновну Голубкину) и наклеила на ящик, придав ему официальный вид. Теткам принадлежало две с половиной комнаты. Эмма жила в большой, а Ирина в маленькой, но в

Ирининой комнате были сделаны жилые антресоли, где находилась спальня. Для нас, детей – меня и моего троюродного брата Женьки, – было необычайным счастьем взобраться по лестнице и спрятаться от взрослых в этом странном полутемном месте под потолком, где даже дети не могли встать в полный рост. Милка, конечно, в этих игрищах участия не принимала, потому что была уже студенткой ВГИКа – разница в возрасте у нас целых семнадцать лет, и я с детства смотрела на нее с обожанием, считая самой умной и красивой.

Помню Ирину за неизменным рукоделием и Эмму, читающую вслух «Роман-газету», в которой публиковались все литературные новинки. Эмма сохранила первую публикацию «Молодой гвардии», где красным карандашом отметила выброшенные впоследствии автором куски. Поначалу это была живая трагическая история, написанная Фадеевым со слов реальных участников, в ней не было ни партийного руководства, ни организованного партизанского движения.

Еще не умеющая читать маленькая девочка с благоговением слушает «Последнюю главу» Голсуорси, которую вслух перед сном читает ей бабушка, тогда, впрочем, совсем еще не старая. Вот откуда, оказывается, моя любовь к филологии.

Деревня Большая Чёрная примостилась на берегу Икшинского водохранилища в 40 км от Москвы. Наша дача – съемная деревенская изба, небольшой участок типа сад-огород, удобства во дворе, вода из родника в ведрах, накрытых марлей, три керосинки и керогаз, которые нещадно коптят. Приготовление еды занимает весь день. Вовке, Милиному сыну, несколько месяцев, лежит в коляске в саду. Жара, всё жужжит и пахнет зноем. На крыльце Феликс – отец Вовки, голый по пояс, а перед ним гора пластмассовых тарелок. Светловолосый Феликс, муж Милки, – художник. Он рисует на тарелках незамысловатый летний пейзаж: речка, березка, облака. Мне нравится. Удивляет, что пейзаж на всех тарелках абсолютно одинаков. Постепенно гора чистых тарелок тает, а нарисованных растет. Когда не останется ни одной чистой – норма выполнена и Феликс свободен. Мы с Милкой в избе, прохладно. Милка пишет сказку. Я сижу рядом и жду, когда она прочитает мне очередной отрывок. Сказка волшебная, меня заворожила. Ни купанье с друзьями, ни прятки, ни казаки-разбойники не могут сравниться с этим сопереживанием творчества. Память не сохранила подробности сюжета. Осталось только необычайное детское впечатление чуда.

Шли годы. Я уже отроковица. Дед Абрам Соломонович умер в 1958 году. Пока все остальные живы. Какое-то семейное торжество. В Столешниковом в Эмминой комнате за большим

обеденным столом собралась семья: Эмма, Ирина, мои родители, троюродные – Ирка и Женька Врубель-Голубкины – внуки третьей дедушкиной сестры, в просторечии Розы Соломоновны, библейская красавица Ирка с молодым человеком Мишей Гробманом, впоследствии знаменитым художником-авангардистом, но самое интересное – Милка с новым мужем Андреем Передерием. Идет неспешное застолье. У меня ушки на макушке: слушаю, что говорят взрослые. Теперь самое интересное не игры на антресолях, не фильм «Чрезвычайное происшествие», который мы с Женькой украдкой сверху смотрели по телевизору, теперь самое интересное – о чём говорят вокруг. Я исподтишка наблюдаю за Андреем – высокий, светловолосый, с красивыми чертами лица и каким-то нервным выражением. Вдруг краска заливает его лицо, и он стремительно выскакивает из-за стола под недоуменные возгласы окружающих. Милка за ним. За стол он больше не вернулся, уехал домой. Это будет повторяться много раз, пока не будут залечены глубокие душевные раны. История Андрея мне стала известна вскоре после этого эпизода. Сын академика Передерия, студент первого курса МГИМО, мальчик-мажор, как теперь бы сказали, был обласкан судьбой и своей вероятно не слишком умной академической мамашей Тосей. В одно прекрасное утро взял у отца машину и вместе с однокурсниками отправился на пикник. Друзья выпили, и в споре из-за девушки был убит один из участников. По стечению обстоятельств он оказался из простой пролетарской семьи (я рассказываю эту историю в том виде, как она бытовала в семье). Был устроен большой показательный процесс над «золотой молодежью» (читай, стилягами). В «Комсомольской правде» появился обличительный фельетон под названием «Плесень» (эта история там излагается в другой версии). Двое участников событий, и в частности наш Андрей, получили по 25 лет колонии строгого режима. Милка была знакома с Андреем еще со школы по театральному кружку и, вероятно, влюблена. Через восемь лет «за хорошее поведение и трудовые успехи» Андрей выходит из колонии, но в Москву вернуться не может – работает в Ярославле на заводе в горячем цехе. Всё время его заключения Милка, добрая душа, поддерживает Андрея, помогает ему всем, чем может, пережить этот чудовищный слом. После развода с Феликсом Бельским она выходит замуж за Андрея, который еще работает в Ярославле, на свет появляется Галка. В это время Андрей – человек без кожи. Можно только отдаленно представить себе, каких душевных и физических сил это стоило Милке: двое маленьких детей и совершенно измученный, сломленный человек рядом. В это время тетки с детьми ездят на дачу в Мозжинку, в

академический поселок на берегу Москвы-реки под Звенигородом. Поселок поразил меня огромными участками, общественным рестораном, где академики и их челядь могли питаться или брать еду с собой, ну и, конечно, именитым соседством. Соседний участок принадлежал академику Тамму. Тетки жили в маленьком домике в саду, который им оборудовал Андрей – волей судьбы мастер на все руки. В большом доме жила Тося, величественно ходившая по участку в халате. Отец Андрея, академик Передерий, умер, не пережив ужасного позора. Я никогда его не видела, но память сохранила обрезанный угол подоконника в их квартире на Русаковке. Об острый угол этого подоконника все ударялись, и академик безжалостно отпилил его, показав свое отношение к материальным благам, чем вызвал у меня теплое чувство.

А тем временем Милка делала всё, чтобы вернуть Андрея к жизни. При ее бесконечном участии он окончил экономический факультет ВГИКа. Работал на киностудии имени Горького директором картин. Стал спокойным, вальяжным мужчиной. Нарастил некоторый жирок и… бросил Милку, мою любимую Милку, ради молоденькой секретарши. После развода вывез всё ценное имущество из квартиры на Неопалимовском, куда Милка привезла к себе доживать нашу тетку Эмму. Как я была потрясена этим предательством! Мне казалось, пережить такое невозможно. Жизнь чудовищно несправедлива! Почему за все свои труды, старания и доброту человек получает такой удар? Помню Милку, грустно сидящую в темноте и курящую одну сигарету за другой, и острое чувство жалости и сейчас охватывает меня. Это чувство не прошло даже после того, как много лет спустя я призналась в нем Милке и она сказала, что всё было не совсем так и к моменту развода ее отношения с Андреем полностью исчерпали себя.

Последние годы в квартире на «Аэропорте» она провела довольно одиноко. Потеря слуха и зрения не давала возможности наслаждаться тем, что она любила в жизни: читать и смотреть. Лупа и слуховой аппарат стали ее постоянными спутниками. Помню, как в наших неспешных беседах на аэропортовской кухне она с такой теплотой говорила о своем внуке Вовочке, друзьях Хржановских, Алике Дормане, как радовалась их успехам, как печалилась, что со многими учениками потеряла связь. Я старалась порадовать ее тем, что кто-то из «великих» вспоминал о ней с любовью и уважением. А к ней нельзя было относиться по-другому. Жаль, что тебя нет больше с нами, моя любимая тетка Милка…

Ирина Врубель-Голубкина

Литератор, журналист. Издавала в самиздате поэзию литературно-художественного авангарда. С 1971 г. в Израиле. Главный редактор журнала «Зеркало». Куратор (совместно с мужем, художником Михаилом Гробманом) выставок по современному русскому искусству.

Милка – двоюродная сестра моего любимого всеми папы Изи Врубель-Голубкина. Папа был гением – в восемнадцать лет окончил университет и уже в двадцать четыре защитил докторскую.

Центром нашей жизни был Столешников – за исключением полутора лет, когда в разгар борьбы с космополитизмом мы бежали из Москвы. Было это так. Ночью к нам пришел Николай Иванович, директор Геологоразведочного института, где преподавал папа, и сказал: «Изя, мне принесли документы на тебя как на космополита, но тебя здесь нет». Мы тут же собрали вещи и уехали в Кривой Рог. Там папа получил кафедру. Это было его последним местом работы: он умер от саркомы в двадцать девять лет. Мы снова вернулись в Москву.

Семья Голубкиных происходила из города Белого Смоленской области. Мой прадед, механик-часовщик, починил однажды часы Льву Толстому и не взял с него денег. В семье было семеро детей: четыре дочери и три сына.

Про бабушкиных братьев знаю мало. Дядя Абрам работал где-то бухгалтером. Дядя Давид прошел через всю войну, но не смог пережить увиденных ужасов Освенцима и повесился. Дядя Шмера жил в Твери (тогда Калинине) и остался единственным, кто не сменил имени, – Шмерл Залманович. Он был коммунистом, занимал высокий пост, во время войны попал в плен, потом скрывался и довольно долго числился пропавшим без вести. Нашли его в день моего рождения.

Сестры окончили гимназию и вслед за бабушкой, первой студенткой-еврейкой медицинских курсов Петербургского университета, Розой (Рахель) Соломоновной Голубкиной, уехали учиться в столицы.

Тетя Эмма (Эсфирь), получившая филологическое и математическое образование, была завучем в школе для офицеров и получила орден Ленина. До этого она долгое время работала завучем школы, в которой я училась в первом классе и которую окончила Милка. Муж тети Эммы, Сергей Селезнев, – сын отца Дмитрия, священника Русской вольной церкви, выступавшего

против большевиков. В восемьдесят лет свекра тети Эммы посадили; после освобождения он пошел жить к своей невестке-еврейке. В наследство от него нам досталась замечательная библиотека, на которой мы с Милкой выросли: «Чтец-декламатор», «Мир искусства», Бальмонт и так далее. Сам дядя Сережа был певцом, стажером Большого театра; его арестовали, пытали, он потерял голос, стал работать бухгалтером на железной дороге, много пил и рано умер. Сын их Лёлька в семнадцать лет ушел добровольцем на фронт и погиб.

Тетя Кима (Эстер) вышла замуж за дядю Али. Али Амиросланов, азербайджанец-курд, был председателем Комитета черной и цветной металлургии СССР. Он послал моего папу в геологическую экспедицию, и папа, писавший стихи, собиравший футуристические книги, стал геологом.

Тетя Ирина (Реся), мать Милки, историк по образованию, работала экскурсоводом. Она была бесконечно предана своей любви к Луговскому, читала его стихи запоем и воспитывала дочь в восхищении перед отцом. Но в детстве Луговской появлялся у дочери эпизодически. Только когда Милке исполнилось девятнадцать, они начали много общаться, и он стал для нее главным человеком в жизни.

Обычная своей необычностью семья. Яркий пример истории зарождения новой интеллигенции. В силу тех или иных обстоятельств мужчины в нашем доме были явлением временным. Нас с Милкой растили женщины образованные, сильные и свободные. Нет, ни о каком феминизме речи не было, была лишь абсолютная независимость. Моя бабушка послала своему последнему мужу Аркадию, директору Свердловской киностудии, телеграмму: «Аркадий, две недели живу без тебя. Поняла, что это хорошо. Домой не возвращайся». Независимость и прямота. Думаю, именно эти качества повлияли на нас с Милкой больше всего. Ну и, разумеется, бесконечная любовь к литературе, царившая в доме. Это то, с чем мы стартовали во взрослую жизнь.

Кандель[3] как-то мне сказал, что Милка самая потрясающая женщина, которую он встречал. Неудивительно: с самого рождения все вокруг обожали Милку. Я не была исключением, мне нравилось в ней абсолютно всё. Понимая мою страсть, на Новый год или Восьмое марта взрослые вручали купленные для меня подарки Милке, поскольку знали, что я непременно закачу истерику и потребую то, что подарили ей.

В пятнадцать лет я начала курить. Разумеется, из-за Милки. К ней всегда приходила куча народа. Пел Окуджава, поэты читали стихи. Мне было дико интересно, я стремилась быть в курсе

происходящего, но меня, малолетку, прогоняли. Стараясь обратить на себя внимание, я стала стрелять у Милкиных гостей сигареты. Увидев это, тетя Эмма подозвала меня и сказала: «Ирочка, ты куришь, что очень нехорошо, но курить надо свои. Возьми денег и купи себе сигарет».

Милка принадлежала к тому поколению новой советской номенклатуры, которая пыталась очеловечить советскую культуру. Мне хватило привитой в детстве независимости. Мне 16 лет. Я звоню тете Эмме и говорю, что вышла замуж за Мишу Гробмана. Тетя Эмма берет с собой тетю Ирину, и они приезжают к нам в Текстильщики, где мы жили у Миши.

– Мы думали, это начало большого пути, но он один хуже наших пятерых, – сказала тетя Эмма, прощаясь.

В конце жизни, оставшись одна, разогнав всех мужиков, как и полагалось у Голубкиных («Муж – это еще полставки»), окруженная любовью детей, внуков и друзей, ставшая центром семьи, Милка начала очень много читать и говорить со мной о своем любимом Пушкине. Наши пути разошлись, но письма, звонки, встречи не прекращались – она приезжала ко мне в Израиль, в Москве я останавливалась у нее. Наши редкие встречи и постоянные телефонные разговоры невероятно сблизили нас, и мы стали абсолютно близкими людьми.

Сейчас мне страшно приезжать в Москву, в которой уже нет Милки.

Павел Финн

Кинодраматург, автор сценариев фильмов «Всадник без головы», «Объяснение в любви», «26 дней из жизни Достоевского», «Леди Макбет Мценского уезда» и многих других.

Когда это было – в первый раз?

Как в тумане… 57-й год, только что поступил во ВГИК, третий – наш, сценарный – этаж, коридор перед деканатом. И три очень молодые веселые женщины. Мне кто-то говорит:

– Дипломницы…

Кто, какие две, не помню, а Милу помню. Может быть, даже не ее всю, а эту ее улыбку.

Как со знаменитым Чеширским котом – такая прелесть! – его самого уже нет, а улыбка осталась, парит в воздухе.

Ее улыбка. В воздухе – памяти, дружбы, – которым пока еще дышу.

Такая славная, такая запоминающаяся улыбка, такая…

Тут бы, конечно, и написать, поддавшись игре слов, – милая. Мила – милая. Но нет – память – живая, даже зрительная – поправляет. Улыбка была иная – добрая, умная. И печальная. Почему?

В разных встречах, в разные годы – разная Мила.

Гостеприимной хозяйкой в той старой – путаной – квартире на Зубовском бульваре, где в одно время собирались часто, любили к ней приходить.

Веселая, смешливая, любопытная – во всяких наших компаниях. С Юрой Клепиковым, с Наташей Рязанцевой, с Ильей Авербахом, с Ритой Сендерович, с Максудом Ибрагимбековым и его женой Аней…

Доброжелательная, умная, опытная – за редакторским столом – помощница и советчица. Нестрогая, но серьезная, твердая – начальница. Сценарная студия, Сценарные курсы, куда пришла – не без моего тайного содействия – на два года позже меня. И в конце девяностых стала их спасительницей, сохранительницей.

И как же просил, уговаривал – в начале двухтысячных – не уходить, не бросать нас. Но была непреклонна. Считала, видимо, что ее миссия выполнена.

Теперь о роли личности в истории. В истории нашего – советского – кино. Сложной и очень драматической. Знаю, к счастью, две прекрасные личности, сыгравшие свои роли в этой истории. И на мой взгляд – роли первого плана.

Мила Голубкина в Москве и Фрижа Гукасян в Ленинграде.

Они, кстати, и приятельницами были. Наверное, еще со ВГИКа.

Совсем разные характеры, но сходились в одном – обе были собирательницы.

Где бы ни работали – Фрижа, правда, всю жизнь на «Ленфильме», а Мила и на «Мосфильме», и на студии Горького и т. д., – возле них всегда образовывался свой круг. И – посмотрите по фильмографиям – это были те, кто делал самое талантливое и лучшее для того времени кино. А время было – ох какое!

Знаете, что такое быть редактором в советском кино и при этом сохранять порядочность, честность, справедливость, сочувствие?

Их было, увы, немного, буквально раз-два и обчелся, – посредники между «нами» и «ими», тактики и стратеги, осторожные и смелые, шедшие впереди нас в кабинеты Госкино.

Слава им!

Есть стереотип, которого придерживаются почти все интервьюеры, дотошные создатели телевизионных и журнальных портретов известных людей. Обязательно попросят:

– Какое-нибудь событие или интересный случай из ваших отношений.

В наших многолетних отношениях с Милой не было ни особо интересных случаев, ни событий. Если не считать того, что наше – всех тех, кто дружил и работал с ней, – общее существование в том, нашем, времени уже само по себе было не случаем, а событием.

Когда Миле исполнилось восемьдесят лет, мы – Наташа Рязанцева, моя жена Ира и я – пришли поздравить ее в квартиру на Аэропорте, завещанную ей теткой Татьяной Александровной, женой Сергея Ермолинского.

И пока дамы, по какому-то поводу пересмеиваясь, готовили на кухонке закуску, я пошел в соседнюю комнату, бывший кабинет писателя. И с почтением сел за письменный стол, на котором стояла фотография его вместе с другом – Михаилом Булгаковым.

Мила была отсюда – из этого мира, из этой культуры. Таких – драгоценностей и редкостей – уже почти не осталось. Пустеет жизнь, рушится культура.

Беда! Утрата!

А уже после ее смерти я открыл замечательную книгу Натальи Громовой «Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941–1944». Там воспоминание Милы с названием «Бескрайность мира и жизни».

Читаю:

«Самое страшное воспоминание из тех дней: поезд трогается,

и мамы нет. Эшелон набирает ход. Я жду – может быть, она села и другой вагон и сейчас появится. Но ее нет. Я всю ночь простояла около дверей теплушки, одна в спящем вагоне, одна в мире. Я боялась к кому-нибудь обратиться. Мы были чужими в этом эшелоне, и мне казалось, что меня могут ссадить на ближайшей станции. Ужас, который я тогда испытывала, не забуду никогда.

Утром мама догнала поезд».

И так вдруг ее детство перекликнулось с моим, хоть я, младший, и не запомнил эвакуацию, но так она мне стала близка, дорога и понятна, эта девочка Мила, – с печалью ее улыбки.

Ее отец, поэт Владимир Луговской, написал ей такие стихи:

Милка, девочка моя,
Скоро жизнь тебя научит
Не давать себе житья
И других напрасно мучить.
Эта глупость от отца
Умной дочери досталась —
Сердце тратить без конца,
Лишь бы сердце оставалось.

Что осталось? Сердце осталось, улыбка осталась…

Она осталась.

Наталья Рязанцева

Кинодраматург, автор сценариев фильмов «Крылья», «Долгие проводы», «Чужие письма», «Открытая книга», «Аленький цветочек», «Голос» и многих других.

Я младше Милы на пять лет. Я поступила во ВГИК в 16 лет, она уже оканчивала институт. Позже Мила мне рассказывала, как пришла в учебную часть узнать, кого приняли. Она была секретарем комсомола факультета – у нее всегда была какая-нибудь общественная работа – и вот пришла поинтересоваться новым набором. Кто-то сказал: почитай Рязанцеву. Собиралась взять мои рассказы, но тут ей показали меня в коридоре. Я была толстая, розовощекая – девушка с плаката «Урожай». И Мила решила меня не читать. Потому что такое существо шестнадцати лет с плаката «Урожай» ничего хорошего написать не может.

Нас набирал Туркин, главный теоретик кинодраматургии. Во время экзамена на втором курсе он умер. Принял экзамен, каждому сказал что-нибудь важное, прощальное, пошел в столовую напротив, в Институт марксизма-ленинизма, – ВГИК был тогда недостроен, не было спортивного зала, просмотровых, смотреть фильмы мы ходили на студию Горького, а преподаватели ходили в Институт марксизма-ленинизма напротив, там имелась хорошая столовая, где их хорошо кормили, – Туркин пошел в эту самую столовую и умер по дороге. И нас взял Габрилович, который в это время вел курс, где училась Мила.

Помню, как он хвалил ее дипломный сценарий, подробно нам пересказывал.

Мы поступили в пятьдесят пятом. После пятьдесят шестого (двадцатый съезд, развенчание культа личности Сталина) мы стали заниматься только одним: выяснением, кто мы такие и почему так случилось. Все писали про вернувшихся из ссылок и лагерей. Всё время устраивались бурные собрания по разным морально-этическим поводам. Время было опасное. Все, с одной стороны, расхрабрились после съезда, а с другой – комсомолу велели взять дело в свои руки и не распускать молодежь. Уже после 56-го посадили двух ребят младше нас на курс. За анекдоты. ВГИК мгновенно собрался на митинг в большом зале. Выступали, требовали, чтобы кто-то из руководства явился и объяснил, за что наших ребят арестовали. И вот на этом собрании Мила выступила очень грамотно, по-адвокатски. Пришел Солдатенко из райкома комсомола. Пробовал говорить, ему

кричали «долой, долой!», согнали со сцены. Еще какой-то приходил, тоже из районного комитета комсомола. Нам, конечно, ничего не объяснили. Сказали: это дело прокуратуры, это не в нашем ведении. Ребята отсидели три года.

«Оттепель» была не такая уж оттепель. Из Литинститута выгнали самых известных – Ахмадулину, Евтушенко, Вадима Трунина, Юнну Мориц. Это транслировалось на всю страну. Печатались фельетоны, то в «Литературке», то в «Комсомолке», то в «Правде». А если в «Правде» – то всё. Во ВГИКе – история с «левыми концертами», на которых молодые актеры что-то заработали. Люся Гурченко в эту историю попала, наша Дая Смирнова. Тоже сначала фельетон, потом собрание кошмарное.

Много было иностранных студентов. На волне свободы китайцы и корейцы жаловались, что их не строго учат, не строго принимают экзамен. Киру Муратову, которая была выдающейся студенткой, и Герасимов ее обожал, выгоняли из румынского комсомола. Она импрессионистами занималась, какой-то сделала неправильный доклад.

Один студент, довольно взрослый, наркоман, от полного безденежья украл фотоаппарат и продал. Наркоманы тогда редко, но встречались. И ребята с его курса знали, что он ради наркотиков готов на всё. Украл фотоаппарат, а свалил на корейца. Что якобы тот украл. Корейца выселили из общежития, выгнали из института и выслали. В Пхеньяне его расстреляли немедленно. Такие были нравы в Корее и Китае. Куда потом делся наркоман, не знаю. Едва ли из него что-нибудь вышло. Некоторых корейцев и китайцев выгоняли, и они за платформой «Яуза» ставили палатки, жили в лесочке, только чтобы не возвращаться на родину. Надеялись в Казахстан перебраться, их действительно приглашали туда.

Самая знаменитая история была с капустником, который записали на магнитофон дома у Наташи Вайсфельд. Ничего крамольного в этом капустнике не было, да его и стерли в тот же вечер, как записали, – но кто-то донес, и многих ребят выгнали из института.

ВГИК такой был. Я даже не защищала диплом, когда пришла пора, хотя у меня было чем защищаться, но мы уже не ходили, я уже ненавидела ВГИК.

А с Милой мы понимали, что можем доверять друг дружке. И доверяли. Сразу было ясно, кто есть кто. Но близкими наши отношения стали позже.

Мила начала работать редактором в объединении «Юность» на Мосфильме. И они со мной заключили договор, заказали сценарий по книге тогда знаменитого рабочего Оськина. Он

работал каменщиком в Темиртау, писал в многотиражку, потом его воспоминания напечатали в журнале. И я придумала фильм про вот такого честного рабочего корреспондента, который хорошо знает ситуацию. Назвала «Рабочий корреспондент» или что-то в этом роде. В редколлегии «Юности» состоял Сергей Александрович Ермолинский, муж Милиной тети, знаменитый драматург. Он написал сценариев больше всех сценаристов и был старейшим в редколлегии. Он сразу предупредил: ничего не выйдет из этой затеи. Сценарий не пройдет. Дело в том, что Оськин описывал, как обманывают рабочих, как жутко воруют начальники и эксплуатируют безответный народ, и как всё приходит к бунту. В Темиртау был бунт, там танки вводили. Фильм получился бы, какие и Вайда не делал. Но в Польше это ещё могло бы пройти, а у нас, конечно, не могло, и сценарий пролетел – и Сергей Александрович хорошо объяснил, почему. А Мила очень была огорчена. Она меня продвигала, и вскоре заключили со мной другой договор – на то, что потом стало фильмом «Долгие проводы». Сначала я написала заявку. Мила была редактором. Ей так понравилась эта заявка, написанная, как рассказ, на десять страниц, что она читала ее вслух своим студентам. В объединении приняли на ура. Я написала сценарий. Его сначала не принимали. Хмелик не одобрял. Помню, с чего он начал обсуждение: «Все стали хорошо писать». Ему не нравилось, что все стали хорошо писать. Он делал перед этим «Друг мой, Колька», и в моём сценарии ему не хватало социального протеста. Я переделала. Снова не приняли. В третий раз приняли. Но не было хорошего режиссера, о Кире Муратовой тогда никто и не думал, она появилась позже, когда сценарий забрала Одесская киностудия. Мы с Кирой стали переписывать. Ссорились. Мирились. Я приезжала из Одессы и жаловалась Миле. Мила была в курсе всех вариантов. Она хорошо слушала и обязательно какой-нибудь мудрый совет давала. Мне всегда нужны были старшие подруги. Я как-то долго чувствовала себя маленькой среди взрослых. Да, лет пятьдесят мы дружили и ни разу не поссорились. Недавно, уже в старости, выяснили, что могли познакомиться еще в День победы. И Мила, и я вышли тогда на Садовое – дальше, на Красную площадь, не пускали, только по пропускам, – и стояли мы там, на Садовом, совсем рядом…

Мы всё друг другу рассказывали. Чего никому больше не рассказывали. Мила как-то всё понимала. И сама мне рассказывала.

Помню смешную историю, как ей вдруг принесли подарок. Мила поддержала один сценарий, и вдруг авторы принесли ей что-то дорогое, дорогие духи, кажется. Она была крайне

изумлена. Потом уже оказалось, что на студии Горького сценариев не запускают без взятки. После Пятого съезда это обсуждали на пленумах, даже просили руки поднять тех, кто ничего никому не давал. А тогда Мила выступила, поддержала сценарий на худсовете – и авторы привычно понесли ей дань. То есть это была не взятка даже – благодарность.

Потом она работала в Сценарной студии, где готовили сценарии для всей страны, руководила, у нее накопилось к начальству много вопросов. Она их изложила письменно, ходила несколько раз, ждала ответа, ее раз не приняли, два, три – в конце концов написала заявление об увольнении. Думала таким способом добиться разговора. А Ермаш заявление взял да и подписал. Потому что она неудобный была человек, конечно, для них. Ей в свое время пришлось в партию КПСС вступить, как всем редакторам. Но… Она написала диссертацию, называлась «Этапы работы над фильмом и вопросы редактирования». А эти вопросы и эти этапы едва ли кто знал лучше ее. И становилось ясно из диссертации, что все мосфильмовские знаменитые картины проходили через ужасный процесс ломки, насилия над сценарием.

Редактор в ту пору кинематографа был больше, чем редактор. Он заказывал сценарий и вел от заявки до сдачи готового фильма. Исполнял функции продюсера. Был посредником между творческой группой и начальством. Делать это хорошо удавалось немногим. Умение работать с автором, с текстом, с киноматериалом редко сочетается с деловыми качествами. Тут требуется и особая выносливость, и человеческий талант, незаметный на первый взгляд, но вполне себя обнаруживающий на длинных дистанциях. Мила проработала главным редактором Центральной сценарной студии много лет и была там поистине человеком на своем месте. Но когда Ермаш подписал ее увольнение, вся так называемая карьера пошла под откос. Вдруг не нашлось ей места ни во ВГИКе, ни на Высших курсах, где она преподавала много лет. Всё рухнуло, система оказалась настолько замкнутой и мстительной, до того не прощала никаких проявлений независимости, что Миле в одночасье перекрыли все возможности. Разумеется, она научилась выживать на вольных хлебах. Ездила с лекциями о кино в отдаленные районы. Консультировала молодых специалистов в Алма-Ате. Написала две экранизации для республиканских студий. Но эти пять тяжелых унизительных лет стоит вспомнить не только как личную драму. Знаменитый Пятый съезд Союза кинематографистов был подготовлен всеобщим отчаяньем. За фильмами, лежавшими на полке, стояли сотни исковерканных

судеб. Система догнивала в самодурстве и цинизме. Она отторгала любого порядочного человека. И судьба Людмилы Голубкиной может служить разительным тому примером. Она работала не за страх, а за совесть. И тоже оказалась «на полке». К счастью, потом она много лет руководила Высшими курсами сценаристов и режиссеров. Преподавала сценарное мастерство, ей приносили сценарии бывшие ее студенты и подопечные, поскольку она действительно прекрасный редактор и всегда кого-нибудь опекала. Мила была из той безупречной русской интеллигенции, что только чудом выживала в кино и редко-редко достигала почета и влияния. С опозданием на полжизни, а то и никогда.

Андрей Хржановский и Мария Нейман

Андрей Хржановский – кинорежиссёр, автор мультфильмов «Стеклянная гармоника», трилогии по стихам Пушкина, «Лев с седой бородой», «Полтора кота», игрового фильма «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» и других.

Мария Нейман – редактор кино.

АНДРЕЙ: С Милой Голубкиной меня познакомила ты. Как и с Татьяной Александровной Луговской и с Сергеем Александровичем Ермолинским. И я тебе очень благодарен. Без этого знакомства, обернувшегося многолетней близкой дружбой, моя жизнь была бы значительно беднее.

МАША: Я познакомилась с ней зимой, в конце 1965 года. Я работала тогда внештатным корреспондентом журнала «Советский экран» и получила задание написать репортаж о мосфильмовском объединении «Юность». Приехала на «Мосфильм», уже испытав от этого радость. Прошла проходную, поднялась на третий этаж основного корпуса, нашла объединение «Юность». Двери, двери… Все заперты. И вдруг одна открылась.

В комнате я увидела молодую женщину невероятной красоты. На ней был черный свитер с горлом лодочкой и кипенно-белая рубашка с крахмальным воротничком. На правой руке, в которой она держала сигарету, я заметила два перстня. Рука была крупная, красивая и сигарету держала грамотно. Лицо с большими светлыми глазами было обрамлено клиньями блестящих черных волос, которые закрывали уши, а челка, свисавшая набок, слегка прикрывала один глаз. «Вы кого-то ищете?» – спросила женщина, видя мою неловкость. Я объяснила цель своего визита.

Это была Людмила Владимировна Голубкина – редактор этого объединения.

Не знаю, что расположило ее ко мне, – может, черно-белая гамма, присутствовавшая и в моей одежде: шубка из черного каракуля и белый платок, – но после коротких расспросов, а потом долгой беседы она спросила: «Не хотите поработать у нас? Правда, временно: уходит в декретный отпуск одна из редакторов».

Конечно, я хотела! Шутка ли, «Мосфильм», «Юность», объединение, о котором тогда много говорили в кинематографических кругах, для которого писали лучшие сценаристы и снимали лучшие режиссеры, главным редактором которого был легендарный драматург Александр Хмелик!

Мила обещала поговорить с руководством. Я позвонила ей в назначенный день, она представила меня начальству, меня приняли. Я навсегда осталась благодарна Миле за год счастья, который она мне подарила. Это было замечательное время (а, может, напротив, «конец прекрасной эпохи»): снималось много интересных фильмов, в соседнем объединении Андрей Тарковский заканчивал «Андрея Рублева». Ощущение сопричастности всему, что происходило на студии, было общим.

Незадолго до этого в «Новом мире» были напечатаны повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор». Другие его произведения ходили в списках, поскольку были запрещены к печати. Нетрудно было догадаться, какие проблемы, в том числе и материальные, испытывал писатель. И Хмелик решил, что мы должны оказать Солженицыну посильную помощь, заключив с ним договор, что давало право выплатить автору аванс. О выполнении договора можно было не заботиться, поскольку в подобных случаях всегда находился формальный повод для его расторжения, при этом аванс оставался у автора. И вот с этой миссией – подписать договор у главного редактора «Мосфильма» (был им тогда писатель Александр Евсеевич Рекемчук) – Хмелик решил отправить меня. Мила сказала: «Вперед. Надо подписать. Попробуй сделать это на голубом глазу».

Мне повезло: я столкнулась с Рекемчуком на лестничной площадке, он спешил и, глянув на мое слегка растерянное лицо, приложил лист с договором к стене и подписал. Хмелик и Мила были счастливы. Остальные редакторы потрясены. «Дело сделано, – воскликнул Хмелик. – Таких писателей, как Солженицын, в беде не бросают!»

У меня, видимо, была легкая рука. Через несколько дней мне снова выпала роль «девочки с папкой, в которой лежит договор». Но тут режиссером выступила уже Мила Голубкина, за что я была благодарна ей в очередной раз.

Дело в том, что в тот день на студии был закрытый просмотр, для высшего начальства, недавно сделанного и сразу запрещенного к показу фильма «Андрей Рублев». Мила уже успела посмотреть его на каком-то, тоже закрытом, рабочем просмотре. И решила помочь мне увидеть эту картину, тем паче в авторском варианте. Но как? Мила придумала. В объединении лежала заявка на сценарий от Андрона Кончаловского и Андрея Тарковского (названия не помню, дальнейшей судьбы не знаю). И я должна была как младший редактор пойти и подписать у каждого из них какую-то бумагу.

– С этой папкой ты проникнешь в зал, а там уж – как

получится, попытка не пытка, – напутствовала меня Мила.

Подойдя к просмотровому залу, я увидела мечущегося Тарковского, нервно кусавшего ногти; стесняясь, обратилась к нему с какими-то словами про подпись, он отмахнулся, а затем вдруг вернулся и почти прошептал: «Так. Вон, сидит Андрон, иди к нему, пусть подпишет, потом ныряй где-нибудь впереди под кресло и замри…» Он подвел меня к двери почти пустого зала, сказав охранявшему вход человеку про срочную подпись. Дальше все было так, как он – и Мила – придумали. Не буду говорить о том, какое потрясение я испытала тогда, в свои 25 лет, и продолжаю испытывать поныне от этого фильма. И опять – низкий поклон Миле.

АНДРЕЙ: Я не раз слышал от тебя рассказы о знакомстве с Милой и о счастливом времени, которое ты провела в общении с ней на «Мосфильме». У меня сложилось впечатление, что Мила опекала тебя как старшая сестра.

МАША: Так оно и было, а с течением времени, по прошествии уже десятилетий, это ощущение родства только усиливалось, причем с обеих сторон. Для меня она была самым родным человеком.

АНДРЕЙ: Марина Цветаева как-то заметила, что люди, независимо от возраста, делятся на старших и младших. Мила была старшей в любом обществе, в любой компании. Исключение составляли, пожалуй, тетя – Татьяна Александровна Луговская – и некоторые особо чтимые посетители ее дома, впрочем, те, кто «не особо», там и не бывали. Слушая твои рассказы о знакомстве с Милой, я проникся к ней заочным расположением. На это повлияло еще и то обстоятельство, что Мила была дочерью поэта Владимира Луговского. Я довольно хорошо знал советскую поэзию поры ее мощного расцвета, и такие имена как Николай Асеев, Илья Сельвинский, Владимир Луговской известны мне были не понаслышке. И мне так помнится, что раньше, чем с Милой, ты меня познакомила с ее тетей – Татьяной Александровной Луговской и ее мужем – писателем и драматургом Сергеем Александровичем Ермолинским.

МАША: Это было в Ялте, в Доме творчества писателей, в 1974 году. Не помню, как мы туда забрели, но помню, что в те чудесные майские дни, когда многие москвичи устремлялись в Ялту полюбоваться ярко-лиловыми вспышками иудина дерева на фоне бирюзового моря, Татьяна Александровна и Сергей Александрович встретили нас чрезвычайно радушно, пригласив бывать у них и в Ялте, и в Москве.

АНДРЕЙ: Приглашением «бывать у них» мы тут же воспользовались, узнав, что в тот же вечер «у писателей» (то есть

в Центральном доме литераторов) показывают «Набережную туманов» Марселя Карне с Жаном Габеном и Мишель Морган. Пришли на просмотр вместе с Мишей Богиным, которого случайно встретили на набережной. После просмотра живо обсуждали фильм всей компанией, включая еще одного жильца писательского дома – Виктора Борисовича Шкловского.

Вспоминать о ком-либо, тем более о близком человеке – задача и волнующая, и непростая. Потому что всё время ты находишься между двумя искушениями. С одной стороны, хочется припомнить всё («а вот я помню, был еще такой случай»), а с другой – хочется не упустить в образе того, о ком вспоминаешь, нечто главное, что его отличало от других.

МАША: Так. Больше всего на свете Мила любила читать. Приоритет принадлежал мемуарной литературе. В последние годы чтение давалось ей всё труднее и труднее. Друзья помогали ей справляться с электронной книжкой: выставляли максимальный шрифт, а иного она уже не видела, и хотя на странице помещалось всего 3–4 слова, она упорно продолжала читать, говоря, что это ей жизненно необходимо.

Я думаю, на втором месте были путешествия. Разные, в основном в советское время, это были туристические поездки от Союза кинематографистов. Она с удовольствием рассказывала о посещении Лондона и Парижа, особенно Париж ее волновал – она там встречалась (тайно, поскольку он был выслан из СССР) с писателем Виктором Некрасовым, которого любила и почитала.

АНДРЕЙ: Но всем заграницам она предпочитала Россию. Особенно те места, где была вода. Такие же предпочтения были у Антона Павловича Чехова. Он говорил, что любит русскую природу за ее скромность, невзрачность, словом, за то, что она в сравнении с другими – «левитанистей».

МАША: Вот-вот. Вскоре после нашего с ней знакомства мы решили отправиться с семьями на Север. Первый раз, думаю, году в 67-м. Мы – четверо взрослых и двое тогда еще маленьких Милиных детей – решили провести отпуск на Онежском озере. Кто инициировал эту поездку, не помню, но собрались и поехали. И здесь Мила проявила свои недюжинные таланты. Она была сильна, умела во всём, терпелива, выносliва, оказалась прекрасной хозяйкой и поваром. Я перечисляю эти ее качества, потому что поначалу поездка оказалась очень трудной. Ехали в общем вагоне, в Петрозаводске ночевали в каком-то не очень жилом здании, спали на матрасах, на полу. Затем на перекладных двигались вокруг Онежского озера. Красота немыслимая, но снять жильё оказалось делом невозможным. Обычая такого тогда не было, сдавать жильё. Наконец удалось уговорить двух стариков,

они разрешили нам у них пожить. Главным уговорщиком выступила Мила.

Деревенька эта – всего в несколько изб – стояла на самом краю озера. Купаться невозможно – холодно. Мила, правда, один раз все же искупалась. Она всегда делала это, везде, где только была вода. По озеру, окруженному сплошным лесом (а в нем – заросли ягоды морошки), сплавляли огромные деревья. Наш хозяин, необыкновенной замечательности человек, в ватнике, в зимней шапке, одно ухо которой всегда было поднято вверх («прямо дед Щукарь какой-то», говорила Мила), каждый день брал в руки огромную палку с железным крючком на конце и пытался выловить и вытащить на берег какое-нибудь дерево. Задача была деду явно не по силам, но изредка дело удавалось. Тогда он приступал к рубке огромного дерева на мелкие поленья, которые складывал в сарае, чтобы топить избу зимой. И всё это – не снимая ватника и ушанки, хотя стояло лето, и мы ходили в платьях. В деревне все занимались тем же промыслом, иначе было не выжить. И пили самогон. Всякое утро, выйдя за калитку, можно было увидеть у каждого дома спящего на земле пьяного хозяина. Однако все были добры к нам, хотя иногда мы замечали, что они крутят у виска пальцем, давая понять, что мы, по меньшей мере, странные. Еще бы – кроме нас, полагаю, не бывало там никогда никого из Москвы. Мила относилась к их пьянству снисходительно, приговаривая «а как им, бедным, быть-то». Наш не пил. Они с женой угощали нас очень вкусными пирогами то с морошкой, то с рыбой.

Любили мы с Милой вечерами, уложивши детей спать, сидеть на озере, наблюдая беспримерной красоты закат, и читать стихи. Я видела, что она счастлива. На протяжении всех долгих, слава богу, последующих лет нашей дружбы мы неизменно возвращались к воспоминаниям об этом путешествии, с полуслова, полужеста понимая, какая всплыла в памяти деталь.

АНДРЕЙ: Были еще другие совместные поездки, уже с моим участием. Две связаны с анимационными фестивалями: в Тарусе и «КРОК». Это были путешествия на корабле в разные места России и Украины, то по Волге, то по Днепру. Директором Тарусского фестиваля был Саша Герасимов, а директором «КРОКа» Ирина Капличная. Мне не пришлось никого просить. Как только я произнес «Людмила Владимировна хотела бы поехать» – немедленный отклик: «Да, конечно, будем рады».

МАША: Была особая атмосфера в таких корабельных фестивалях: аниматоры – народ нестандартный – создавали необыкновенную творческую обстановку. И строгий, я бы сказала, порой даже суровый остров Валаам… Всё вместе произвело на нас

с Милой сильнейшее впечатление. Мы вдвоём в свободное от просмотров время сидели на палубе и курили, и стихи читали всласть. Мила, несмотря на предупреждение капитана, купалась в холодной реке. Это, кажется, была Свирь.

АНДРЕЙ: Еще о купании. Несколько лет подряд мы снимали дачу в Переделкино на берегу Самаринского пруда, крайнюю у плотины. Чтобы искупаться в пруду, можно было не покидать участок. В одно лето Мила, ежедневно купаясь, с дочкой и тетушкой около месяца прожила на этой «нашей» даче. И я запомнил как отдельный кинокадр Милу, стоящую спиной к дороге, лицом к пруду, в купальном костюме, облегавшем ее ладное загорелое тело, – запомнил еще и потому, что, когда видел в Третьяковке «комсомольских богинь» – а попросту рабфаковок, спортсменок, которых так любили изображать Дейнека и Самохвалов, – вспоминал почему-то Милу на берегу Самаринского пруда.

МАША: Мила была благодарным и радостным человеком. Вспоминала эти поездки, особенно путешествие на Валаам, до самых последних дней, и глаза ее, казалось, снова начинали хорошо видеть.

АНДРЕЙ: Нельзя сказать, что Мила чуралась быта: все проблемы, связанные с этой сферой, не обходили и ее. Но подлинным и главным пространством ее существования были, безусловно, литература и кино. В атмосфере поэзии Мила чувствовала себя как в родной стихии – не только в буквальном смысле.

Время, в котором мы жили, было пропитано поэзией. Знаменитое некогда противопоставление «физиков» и «лириков» теряло актуальность: большинство «технарей» были страстными читателями Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, знали стихи Рождественского, песни Окуджавы.

МАША: Так же как для людей творческого склада было естественным стремление познакомиться с азами квантовой механики и теории относительности. Это отразилось и в кино, достаточно вспомнить «Девять дней одного года» Михаила Ромма и «Заставу Ильича» Марлена Хуциева и Геннадия Шпаликова.

АНДРЕЙ: Мы говорим о времени Милы прежде всего потому, что она была плоть от плоти этого времени.

> Попробуйте меня от века оторвать,
> – Ручаюсь вам – себе свернете шею —

она могла бы произнести слова Мандельштама с неменьшим правом.

И, конечно, теми же обстоятельствами времени и места была Мила связана с домом своей тетушки.

МАША: В доме Татьяны Александровны Луговской и Сергея Александровича Ермолинского были заведены особые правила. Были даты, собиравшие ближний круг друзей – как правило, неизменный, с небольшими вариациями. Многие годы этими датами были дни рождения и именин хозяйки (соответственно 28 октября и 25 января) и день рождения Сергея Александровича (14 декабря).

А с годами к этим датам прибавилась еще одна – 18 февраля, дата его смерти.

АНДРЕЙ: У меня почему-то независимо от времени года эти собрания вызывали в памяти стихи Бориса Пастернака:

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья.
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

МАША: Обыкновенно после тостов за здоровье именинников речь держал Сергей Александрович. Это была именно речь, поскольку он, провозглашая здравицу в честь каждого из гостей, непременно давал им характеристики – яркие и остроумные. Адресатами же были Вениамин Александрович Каверин с женой Лидией Николаевной Тыняновой, Сергей Юрский с Наталией Теняковой, Леонид Лиходеев с Наденькой Филатовой, Натан Эйдельман, Борис Жутовский, Даниил Данин, Валентин Берестов, иногда Людмила Петрушевская, Алла Демидова, Наташа Рязанцева, Мариэтта Чудакова, Владимир Яковлевич Лакшин с женой Светланой. Естественно, всегда бывала Мила, которая вместе с двумя другими племянницами Татьяны Александровны – Мариной Шаховской и Машей Седовой – участвовала в организации и проведении праздников. Я изредка тоже помогала.

После того как Ермолинский завершал «обход» гостей по часовой стрелке, свои слова в честь собравшихся произносила Татьяна Александровна – двигаясь уже против часовой.

АНДРЕЙ: А бывали еще и летние сессии, когда в Дом творчества писателей в Переделкино, где каждое лето квартировали Татьяна Александровна и Сергей Александрович, сходились и съезжались те же лица, и Натан Эйдельман читал новонайденные в архивах материалы, вроде переписки Виктора Шкловского и Юрия Тынянова, Татьяна Александровна

блистательно читала любимого ею Блока, Данин (ох, как здорово он это делал!) читал Пастернака, а Валя Берестов – свои прелестные стихи и показывал Маршака и Пастернака так, как умел еще только Ираклий Андроников.

И Мила, конечно же, как и мы, вбирала многое. После ухода стариков она так же неизменно продолжала собирать друзей дома, и так же неизменно приходил Даня (Даниил Семенович Данин) со своей польской водочкой в маленькой плоской бутылке и еще кое-кто из ближайших соседей, и в этот поредевший со временем круг входили новые друзья, дети Людмилы Владимировны – Володя и Галя, Наташа Громова, Олег Дорман и другие.

МАША: Татьяна Александровна, отмечая дату ухода Сергея Александровича, повторяла, что должна умереть в этот же день. Так она и поступила, провидение услышало ее просьбу, и спустя десять лет она ушла в ночь с 18 на 19 февраля.

АНДРЕЙ: Мила свято соблюдала обычай собираться в этот день, и мы старались не пропускать годовщину памяти людей, столь дорогих и для нас. Сначала собирались там же, где собрания происходили при их жизни. Затем, когда с годами круг поредел, наши сходки переместились на кухню. Всё вернулось на круги своя, кухня снова погрузилась в облако табачного дыма. Мила разрешала курить всем.

МАША: Я знала Милу во многих ипостасях. И рядовым редактором объединения «Юность» на «Мосфильме», и главным редактором объединения «Зодиак» на студии Горького.

АНДРЕЙ: Кстати, ей предлагали должность главного редактора студии, главковское начальство прямо-таки на этом настаивало, и Миле пришлось проявить большую твердость и принципиальность, чтобы не изменить своего решения – отказаться от такой должности.

МАША: За что то же начальство посулило ей нелегкую жизнь как ослушнице.

АНДРЕЙ: Уже много лет нет с нами Ины Туманян, моей однокурсницы и любимой подруги, прекрасного режиссера, умницы, редкой красоты человека – она была художественным руководителем объединения «Зодиак», в то время, быть может, лучшего на студии, и мы помним, что этот тандем – Милы и Инны – отличался не просто успешным сотрудничеством, они вместе дружили и работали со свойственным им обеим умом и энтузиазмом.

МАША: Однако Миле все же не удалось избежать руководящих должностей. Сколько мучительных сомнений возникало у нее всякий раз при получении нового назначения…

Одно время она была директором Сценарной студии.

АНДРЕЙ: Говорила, в шутку, наверное, что согласилась на эту должность, узнав, где будет находиться студия – в Воротниковском переулке, в доме, украшенном мемориальной доской с профилем Пушкина, гостившего здесь у своего друга Нащокина. Очень радовалась этому факту.

МАША: А как все кинематографисты переживали за судьбу Высших курсов сценаристов и режиссеров, когда они остались без директора!

АНДРЕЙ: Тут, как говорится, много званых, да мало избранных. И все вздохнули с облегчением, узнав, что Мила, преодолев все доводы против принятия этого предложения, поборов, можно сказать, самое себя, зная, что Курсы находятся в плачевном во всех отношениях положении, приняла это трудное решение – возглавить Курсы.

МАША: Годы ее директорства не только спасли Курсы – они стали временем нового расцвета этого уникального заведения.

АНДРЕЙ: Уникальными были не только Курсы. Уникальной личностью была их руководительница – Людмила Владимировна Голубкина, сочетавшая в себе великий организаторский талант, волю и, прежде всего, творческий подход в решении всех проблем. О такте, благородстве, педагогическом даре я не говорю.

МАША: А зря. Сколько молодых сценаристов, составивших славу нашего кинематографа, воспитала Мила Голубкина за время преподавания в сценарных мастерских ВГИКа и Высших курсов – она вела эти мастерские совместно с Семеном Лунгиным, а потом с Олегом Дорманом. Зоя Кудря, Гена Островский, Валерий Золотуха – все они прошли школу Людмилы Владимировны Голубкиной. А такой художник редкостного дарования, как Лида Боброва, без совета и напутствия Людмилы Владимировны вообще не представляла себе существования в кинематографе.

И для нашей семьи Мила была, можно сказать, добрым гением…

АНДРЕЙ: Вспомним время, которое было наверняка очень важным для нашего сына в выборе профессии.

МАША: Да, одно время Мила пробовала заниматься с юным тогда Ильей сценарным делом. Илюша что-то писал. Всё шло, как мне казалось, ни шатко, ни валко. Вдруг однажды Мила сказала твердым голосом: «Будет режиссером». «Вслед за папой?» – спросила я. Она не обратила внимания на мою иронию: «У него есть глаз. Он замечает детали, которые для его возраста довольно неожиданны».

АНДРЕЙ: А какие бесценные советы дала мне Мила в работе

над фильмом «Полторы комнаты»! Советы эти были на редкость уместны. Главное их достоинство состояло в том, что они позволяли взглянуть на сценарий и на фильм с неожиданной точки зрения.

МАША: У Милы была прекрасная, необыкновенно пластичная речь.

АНДРЕЙ: Хорошо, что ты говоришь об этом сейчас: мы дожили до времён, когда о вещах, обязательных для интеллигентного человека, приходится говорить чуть ли не как об исключении.

МАША: Иногда, вернувшись после вступительных экзаменов, Мила жаловалась: на фоне многих нынешних абитуриентов почти каждый из поступавших в прежние времена был просто Шопенгауэр. Мало кто с такой ответственностью относился к слову, устному или письменному, как Мила. Конечно, это проявлялось прежде всего в ее редакторской работе при чтении киносценариев.

АНДРЕЙ: Ее мудрость заключалась не в том, чтобы вещать прописные истины, что свойственно некоторым записным мудрецам, а в том, прежде всего, чтобы уметь в многосложных жизненных обстоятельствах, как и в творчестве, отделять главное от поверхностного, преходящего. Притом что – и это знает каждый – вещи способны мимикрировать, и второстепенное, наносное рядится в наряд чего-то незаурядного, а вещи существенные говорятся скромно, как бы впроброс – и это очень важно, особенно в искусстве. Чехов это понимал.

В общем,

Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б, с позволенья вашего,
И мы, как Хемингвей и Пристли.

(Б. ПАСТЕРНАК).

МАША: Посмотреть порой на сложные вещи как бы отстраненно также было в числе необыкновенных умений Милы. В таких случаях, видя, что обсуждаемая проблема представляется неразрешимой, Милочка с каким-то юношеским азартом вдруг восклицала: «Да завались оно всё за ящик!»

АНДРЕЙ: Я теперь жизнь свою не представляю без этой поговорки!

МАША: Как пароль мы передавали выражения, которые становились общими и для Милы, и для нас. Однажды, много лет

назад, Миле пришлось обратиться по печальному поводу к агенту бюро ритуальных услуг. Та, напутствуя Милу, перечисляла предстоящие хлопоты и всё приговаривала: «И без денежки никуда не ходим». Мила рассказывала это с печальным юмором, и мы взяли это высказывание на вооружение. Оно было актуальным в советское время, осталось таковым и поныне.

Ей очень понравились слова нашего трехлетнего внука, который, принимая активное участие в перестановке мебели, нарочно спотыкался и бесконечно повторял вслед за мной, сказавшей «боже мой, опять?!»: «Бозе мой, бозе мой, опать…». Когда Милочка практически перестала видеть, то часто шептала, нащупывая на столе зажигалку, эти слова именно в такой транскрипции.

Мила по-особенному трепетно относилась к традициям, которые чтились в доме Ермолинского – Луговской. И то, что перстень с руки Михаила Афанасьевича Булгакова оказался на руке Милы, было закономерным.

АНДРЕЙ: А как это произошло?

МАША: После смерти Булгакова его перстень носила вдова Елена Сергеевна. Она рассказывала, что Михаил Афанасьевич надевал этот перстень с аметистом всякий раз, когда должен был читать труппе новую пьесу. Чтения проходили удачно, ибо перстень был – как утверждал Михаил Афанасьевич – заговоренный.

После ухода Булгакова Сергей Александрович остался дружен с Еленой Сергеевной. В 1950 году Ермолинский получил возможность прочитать труппе театра имени Станиславского свою пьесу «Грибоедов». Он очень волновался. И этому было много причин, одна из них – в том, что Сергей Александрович еще не был реабилитирован. Елена Сергеевна, как никто понимавшая волнение драматурга накануне читки, сняла с пальца заветное кольцо и надела на руку Ермолинского – на счастье. А когда она узнала, сколь успешно прошло чтение – пьеса стала «хитом» и украшала репертуар театра не один сезон, – то просила Сергея Александровича оставить кольцо у себя.

После смерти Сергея Александровича кольцо – в память о Михаиле Афанасьевиче, Елене Сергеевне и своем муже – стала носить Татьяна Александровна, причем, видимо, по умыслу – аметистом вниз. А после ее ухода, также камнем вниз, пряча кольцо от чужих глаз, стала носить Мила.

И снова роковое число февраля заставило нас плакать: Мила умерла 14 февраля, а хоронили ее в годовщину смерти Татьяны Александровны и Сергея Александровича.

АНДРЕЙ: Мила вспоминается оптически очень отчетливо,

хотя ее прекрасный облик всегда был окутан сизым дымом: сигарету она буквально не выпускала из рук. Для Милочки сигарета в руке – иногда в длинном мундштуке – атрибут непременный. Портрет ее мог бы иметь подпись: «Красавица курящая».

МАША: И в конце жизни, уже практически ничего не видя, Мила ощупью находила пачку с сигаретами и зажигалку. Пламени ее она не видела, но реагировала на щелчок, обозначавший зажигание. И тогда начиналась новая мука: конец сигареты должен был попасть в голубоватое пламя зажигалки…

АНДРЕЙ: Вспоминая эти последние для Милы времена, нельзя не поражаться тому мужеству, той стойкости, с которыми она переносила постигшие ее в конце жизни недуги.

МАША: Не было дня, а чаще – позднего вечера (мы обе «совы»), чтобы мы не говорили по телефону. Она часто просила повторить стихотворение, которое я помнила из моей филологической юности, малоизвестного теперь поэта Ивана Тхоржевского:

Легкой жизни я просил у Бога:
«Посмотри, как мрачно всё кругом!»
И ответил Бог: «Пожди немного,
Ты еще попросишь о другом».

Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить.
Легкой жизни я просил у Бога —
Легкой смерти надо бы просить…

АНДРЕЙ: Мила, проделав путь от комсомолки и члена партии, пришла к глубоко прочувствованной вере в Бога. Быть может, именно это помогало ей с достоинством и смирением переносить все страдания, выпавшие на ее долю.

МАША: Мила действительно была мне сестрой, была очень важной частью моей жизни. Многие телефонные разговоры заканчивались цитированием любимого нами Пастернака. И теперь, думая о Миле, я обращаюсь к ней, к ее светлой памяти словами, в которых для меня навсегда заключен ее образ: «Сестра моя, жизнь…»

Наталья Громова

Историк советской литературы, автор книг «Все в чужое глядят окно», «Ключ. Последняя Москва», «Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941–1944», «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет» и других. Ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея.

В дом на Смоленской, где мне выпало жить как жене сына Людмилы Владимировны Голубкиной, приходило великое множество людей. Собственно, сам дом был очень удобно для этого устроен. Вход с Садового кольца, вторая арка налево, козырек над дверью, звонок с улицы, дверь. Я не знала в Москве другую такую квартиру, где вход был бы прямо с улицы. Разве что мастерские художников, но это другое дело. Это был именно Дом. Людмила Владимировна именно таким его и создавала.

Инесса Суреновна Туманян, одна из самых близких подруг, часто приезжала на своей маленькой машине, и в большой комнате в кресле под абажуром они с Людмилой Владимировной обсуждали последние известия «из-за бугра». Оператор Инессы Туманян Виталий Гинзбург был братом Александра Галича, и поэтому все новости с того берега тут же становились известны у нас в доме.

Но когда я только поселилась, главными гостями, наполнявшими его по вечерам, были студенты ВГИКа – общая мастерская Людмилы Владимировны и Семена Львовича Лунгина. Студентов было много, и они были не только со всех уголков страны, но и со всех уголков мира. Лида Боброва, Маша Хмелик, Борис Клетинич, Марина Мареева и другие. Шел 1980 год. Самые трогательные были вьетнамцы. Возможно, их сценарии не отличались особыми талантами, но они были очень преданными учениками. Они еще прекрасно шили и однажды подарили нам джинсы собственного изготовления. Все они прошли войну, и это отразилось на их облике: они казались намного взрослее своих товарищей. Все студенты стали Голубкиной и Лунгину как собственные дети. Писали письма, привозили своих детей, мужей и жен, присылали новые и новые сценарии.

В эти годы Людмила Владимировна рассталась со своим мужем Андреем Передерием – он был тогда директором студии «Диафильм», находившейся в прекрасном лютеранском храме в Старосадском переулке, рядом с Исторической библиотекой, в которой мы и познакомились с сыном Людмилы Владимировны Володей. Я пришла к ним в дом совсем юной и немедленно

влюбилась в нее. Она была невероятно обаятельна, очень приветлива и как-то по-особому красива. И все ее друзья звали ее Мила – именем, которое к ней удивительно подходило. На нее хотелось любоваться, ее черты, манеры, пластика очаровывали. Так было не только со мной, в нее влюблялось множество людей, иногда это носило просто трагикомический характер. Она ездила в Берлин с делегацией на какой-то фестиваль и познакомилась там с актером Георгием Епифанцевым, который когда-то сыграл легендарную роль Прохора Громова в фильме «Угрюм-река». Он потерял голову и стал буквально добиваться ее благосклонности. Стоял под дверью с цветами, не уходил, ждал, требовал, чтобы она его пустила. Я была вынуждена говорить ему, что Л. В. нет дома, выпроваживать его, а она скрывалась у себя в комнате и ждала, когда он уйдет.

Когда Л. В. стала директором Сценарной студии, в дом потянулись все известные сценаристы и режиссеры того времени. Из гостиной непрерывно доносилось: «Ермаш! Павленок!» Это были два главных кинематографических чиновника, которых непременно надо было как-то обвести вокруг пальца. Собственно, в те годы это была основная работа всех приличных редакторов и директора Сценарной студии. Чтобы вышел хороший или просто не позорный фильм, надо было проявить невероятную хитрость и изворотливость. Но долго такое продолжаться не могло. На Людмилу Владимировну начали наседать сверху, чтобы она убрала наиболее сильных редакторов, уволили А. П. Свободина, а потом поставили ультиматум и ей. Тогда никто еще не знал, что следили за каждым ее шагом. И когда ее сняли с поста директора Сценарной студии – что, кстати, она восприняла очень болезненно, – мы не знали, что в ее деле лежал отчет кагэбэшника о ее поездке в Париж и встрече там с Виктором Некрасовым, которому она передавала посылку от его близких друзей Лунгиных и провела с ним в прекрасных разговорах время в парижском кафе. Видимо, этот «отчет» о встрече с диссидентом Некрасовым и положили среди всего прочего Ермашу на стол, а Людмилу Владимировну уволили. Один мой дальний родственник уже на пенсии возглавил отдел кадров Союза кинематографистов, он и рассказал моему отцу о том, что было в ее личном деле. Первое время она сильно горевала. Но потом стала работать лектором в бюро кинопропаганды, путешествуя по всему СССР, и к ней вернулась радость жизни.

Надя Кожушанная, Валера Залотуха, Михаил Шелехов и другие – это были студенты Высших курсов, которых они с Семеном Лунгиным набрали в конце 80-х годов.

Валера Залотуха – прекрасный голубоглазый златокудрый

красавец – писал пронзительные рассказы. Мы с ним были дружны, и он очень любил, зная мою горячность в некоторых вопросах, разыгрывать меня. «Ты знаешь, – говорил он, горестно потупив глаза, но каким-то зловещим шепотом, – это происходило на кухне, где я поила его чаем или кофе, – я вступил в общество „Память“. Они многое правильно говорят. А потом – я же русский человек».

Я застывала с чашкой в руке, хорошо, что там еще не было кипятка. Я кричала, посуда летала по кухне, что-то падало, но я продолжала кричать на Валеру. Из гостиной выбегала Людмила Владимировна, которая с кем-то в это время разбирала сценарий. «Что случилось?!»

– Он вступил в общество «Память»! – почти рыдая, отвечала я.

– Ну что за дура ты, Наташа! – и она невозмутимо удалялась к себе в комнату. А Валера, ничуть не смущенный, весело подмигивал мне и примирительно говорил:

– Ну, ладно, если тебе не нравится, пока не буду вступать в «Память».

Его солнечная фотография всегда висела у нее на кухне, уже в доме на «Аэропорте», где она жила до последних дней. Она пережила его, своего любимого ученика, который делился с ней всем, что писал. И Надя Кожушаная ушла совсем рано.

Людмила Владимировна щедро дарила своих друзей. Я имела счастье заниматься у Семена Львовича Лунгина. Она привела в дом на Смоленской Михаила Давыдовича Вольпина, и это для нас, двадцатилетних (я позвала тогда своих друзей), был настоящий праздник. Он рассказывал о Николае Эрдмане, арестах и ссылках, о 20–30-х годах. Она привела меня в дом Леонида Даниловича Аграновича, с которым когда-то работала на студии, и мы все вместе дружили все его последние годы. Но главное, мы вошли с ней вместе в ее прошлое. На основании архивов ее тети Татьяны Александровны Луговской и ее мужа Сергея Александровича Ермолинского, а главное, ее отца Владимира Луговского я сделала книгу о ташкентской эвакуации писателей. Вместе мы открывали новое и новое для себя, и во всём, что я делала, писала, находила, всегда было ее присутствие. Она с удовольствием набирала на компьютере тексты писем, дневников, неизвестные стихи отца. Каждый новый поворот сюжета из прошлого мы обсуждали вместе. Но скоро, к великой печали, она стала плохо видеть и всё хуже слышать. Это мучило ее ужасно. Ее словно приговаривали к изоляции. Она мужественно сопротивлялась. Научилась читать огромные буквы в электронной книжке, носила слуховой аппарат, но всё равно ей становилось всё труднее. Последние годы она угасала.

Из того, что не успела сделать. Ее мечтой было написать монографии о трех замечательных сценаристах, которых она очень хорошо знала и глубоко понимала. Это Александр Хмелик, Евгений Григорьев и Юрий Клепиков. Она мечтала написать о том, как сценарий может превращаться у таких художников в настоящую большую прозу.

Елена Ганевская

Редактор журнала «Кино – детям», кинообъединения «Зодиак» (киностудия имени Горького), дирекции кинопроизводства Первого канала, киностудии «RWS. Всемирные русские студии».

В начале было слово, и слово было «Милка».

Оно на все лады произносилось ее подругами: с придыханием, с гордостью от причастности, с восторгом. Иногда к нему добавлялось «Голубкина».

Мне не везло – не получалось столкнуться на общих кухнях.

До поры.

Я работала в «Союзинформкино» на Ордынке, была выпускающим редактором журнальчика «Кино – детям». Об этой конторе можно долго рассказывать. Скажу только, что это было моё личное счастье. Я познакомилась с совершенно потрясающими людьми, которые почему-то принимали во мне незаслуженное, на мой взгляд, участие – учили писать, редактировать, я была «чужаком», из технарей, но бешено влюбленная в кино.

Там я познакомилась с Иной Туманян, и мы подружились.

Ина терпеть не могла кинокритику. Считала, что критики ничего не понимают в производстве и потому не имеют право судить о конечном результате.

Я и не спорила, я и правда ничего не понимала в производстве, как-то и не тянуло узнать. Я упивалась возможностью писать про режиссеров, про артистов, про кино.

И тут случились перестройка и Пятый съезд кинематографистов.

В кино произошла революция: к руководству Союзом кинематографистов пришли новые талантливые люди, киностудии переформатировались – во главе творческих объединений встали яркие, умные режиссеры.

Ине Туманян предложили возглавить одно из объединений киностудии имени Горького, «Зодиак». Мы радовались за нее, как дети: она, как никто, была достойна делать большое дело.

Раздался звонок: «Бросай всё и иди ко мне редактором». Я не задумываясь сказала: «Нет! Ничего не понимаю в драматургии и уж тем более – в производстве».

Прошла, может, неделя. Опять звонок: «Ты дура, что ли? Мне со всей страны звонят, спрашивают, не надо ли помыть полы? У меня Мила Голубкина согласилась быть главным редактором. Приходи, научим!»

Это было мощным аргументом.

Я начала задавать всем вопросы: что такое редактор в кино?

Никто толком не знал. Только Вера Васильевна Шитова сформулировала: «Это человек, который хочет, чтобы было лучше».

И я – нырнула. Так произошло моё знакомство с Людмилой Владимировной Голубкиной.

Она не учила, в привычном понимании этого слова, достаточно было ее слушать. Над всем витала ее доброжелательность и глубочайшее уважение к автору и слову. Она чувствовала не только текст – личность автора. Находила подход к каждому, правильную интонацию. Была готова к разумному компромиссу – и всегда добивалась желаемого результата.

Насколько я помню (прошли годы!), одним из первых их с Иной Туманян решений было взять в объединение «Маленькую Веру», от которой все шарахались. По тем временам это был подвиг. Картина была готова, но ее еще нужно было провести через Госкино. И началась битва, в которой они победили!

Мы начали собирать сценарный портфель. Было очень сложно, поскольку студия выделяла объединению бюджет на четыре-пять фильмов в год. Сумасшедшим потоком пошли сценарии. Читали, обсуждали, отсеивали.

Я училась каждую минуту. Людмила Владимировна и Ина Туманян составили идеальный тандем, у них была единая шкала ценностей, они одинаково оценивали и тексты, и потенциалы авторов, они смотрели в одну сторону.

И обе любили молодых и талантливых, не боялись рисковать. Так к нам пришел Валерий Тодоровский со своим дебютным сценарием «Любовь». Так появился Кшиштоф Занусси со своим учеником Анджеем Чарницким и проектом «Крысолов». Людмила Владимировна и Ина Туманян ездили к мастеру в Варшаву, работали над сценарием.

Выпустили несколько фильмов: «Ёлки-палки» (автор сценария и режиссер Сергей Никоненко), «Танк „Клим Ворошилов-2“» (автор сценария Валерий Золотуха, режиссер Игорь Шешуков), «Комментарий к прошению о помиловании» (авторы сценария Юрий Щекочихин и Ина Туманян, режиссер Ина Туманян), «Супермен» (автор сценария Николай Псурцев, режиссер Валерий Харченко).

Очень много замечательных сценариев было в работе, но, к сожалению, не на всех нашлись режиссеры и бюджет.

Однажды мы сидели в кухне у Ины Туманян, и вдруг Людмиле Владимировне стало плохо. Уложили ее на диван, она

всё говорила «ничего, сейчас пройдет», но Ина была неумолима и вызвала «скорую». Оказалось, инфаркт, успели на самой начальной стадии, не обширный.

На восстановление ушло пара месяцев, но в объединение Голубкина не вернулась. Уже не было сил на такую работу.

Нужен был главный редактор, и Туманян предложила мне занять это место.

Для меня было не просто «место», это было место Людмилы Голубкиной. Легендарной, любимой и почитаемой. Я отказалась.

Людмила Владимировна по просьбе Ины провела со мной большой разговор.

Мы гуляли по старому Ботаническому саду, говорили о жизни и профессии, она объясняла, что это редкая удача в тридцать девять лет и т. д. Я как-то слабо пыталась аргументировать свой отказ, пока не нашла точного мотива: эта должность трансформирует личность, и я не готова поступиться ею ради карьеры. Я была не вполне уверена в себе, но, вероятно, в отличие от Людмилы Владимировны с ее опытом страшно переживала отказы авторам. До депрессии. И противостоять Ине мне было не под силу. При всей любви и уважении к ней она бывала очень жесткой – порой немотивированно. Людмила Владимировна всё про это понимала, пыталась меня уговорить «не включаться на сто процентов», но в конце концов сдалась, поддержала меня, даже похвалила за твердость позиции.

Вскоре я ушла из объединения и уехала в Израиль.

Это было для меня очень тяжелое время. Мы переписывались с Людмилой Владимировной, и невозможно переоценить, что для меня значили ее письма и поддержка. Особенно когда я решила вернуться. Ее слова «Леночка, не бойтесь возвращаться, это не стыдно. Значит, вам нужен был этот урок» стали решающими.

Людмила Владимировна была в числе первых, к кому я неслась на встречу по возвращении. Мы увидели друг друга издалека, и, когда обнялись, она сказала: «Как хорошо, что вы вернулись! Вы сейчас не бежали, а летели над землей!»

Елена Чухрай

Редактор кинообъединения «Зодиак» (киностудия имени Горького), киностудии «ТТЛ», киностудии «НТВ-ПРОФИТ». Директор актерского агентства.

Думаю, в жизни каждого человека бывает встреча, которая если не определяет судьбу, то задает вектор, систему координат, направление движения. И в моей жизни случилась такая встреча.

Это был 1989 год. Начало перемен в российском кинематографе. На «Мосфильме» и студии Горького вместо старых объединений, существующих на протяжении десятилетий, стали образовываться первые негосударственные киностудии. Я в это время пыталась устроиться на работу и случайно узнала, что режиссер Ина Туманян ищет редактора в свою студию «Зодиак».

Я решила рискнуть, и – о, чудо! Меня приняли!

Сегодня я убеждена: моя неслыханная удача заключалась не в том, что я сразу после ВГИКа получила должность редактора, а в том, что попала на студию, где художественным руководителем была Инесса Суреновна Туманян, а главным редактором Людмила Владимировна Голубкина.

Встреча с ними оказалась очень важной для меня. Жизнеобразующей. В профессиональном и в человеческом плане. Когда я стала работать самостоятельно, открыла актерское агентство, не было дня, чтобы я их не вспоминала. Как только возникали проблемы или трудности, в памяти тут же всплывали их советы и наставления. Все мои профессиональные знания и умения, моё отношение к делу, которым я занималась, – это всё я получила от них, от Голубкиной и Туманян.

Они были очень разные. Туманян – яркая, острая, парадоксальная, энергичная, с цепким взглядом и быстрым умом. Авторитарная, как, впрочем, все режиссеры.

Голубкина – в ее облике было достоинство и благородство и еще… весомость. Она была сдержанна в жестах и эмоциях, всегда держала дистанцию. Но при этом в ней не было ни грамма надменности, напротив, она была очень доброжелательна и располагала к себе. Когда я впервые увидела Людмилу Владимировну, услышала ее голос, ее интонации, спокойные, доброжелательные, я испытала синдром щенка. Мне захотелось лизнуть ей руку и спрятаться за ее спину.

Но, безусловно, у Голубкиной и Туманян были общие, объединяющие их черты. Прежде всего понимание того, что хорошо, что плохо. И это понимание было безупречным. Они

были талантливые, мудрые и справедливые. Справедливость – это была их основа, стержень, на который нанизывались их индивидуальные качества.

Хорошо помню свой первый рабочий день, потому что он для меня оказался очень эмоционально насыщенным. Идя на работу, я испытывала легкое волнение, несмотря на то, что была абсолютно уверена, что как нельзя лучше подхожу для работы редактора. Я окончила киноведческий факультет ВГИКа и выросла как-никак в кинематографической семье.

Моя уверенность продержалась чуть больше часа.

Сначала мы смотрели пробы, потом началось обсуждение, и мне первой предоставили слово. В этот момент я с ужасом поняла, что ничего не знаю и не умею. Я чистый лист бумаги. Всё, чему меня учили во ВГИКе, – теория, причем несовместимая с практикой. Как если бы меня подвели к машине и сказали: «Это машина. У нее четыре колеса. Есть двигатель, руль и педали. Садись и выезжай на МКАД».

Удивительно, но меня не погнали с работы поганой метлой, а стали обучать профессии. Учили меня Голубкина и Туманян простым, но очень действенным способом – «кнутом и пряником». Конечно же, за «пряники» отвечала Людмила Владимировна.

Однажды после трудного худсовета я спросила ее, как я говорила, всё ли было правильно, не выглядело ли это детским лепетом. Она ответила: «Нет, Лена, не волнуйтесь, всё хорошо. Вы были убедительны, но вам надо научиться говорить людям „нет“». Тогда я не поняла смысл этого совета, но запомнила, потому что он мне показался странным.

И только по прошествии времени, когда я открыла собственное агентство, я поняла смысл сказанного. Моя работа заключалась в том, чтобы представлять и защищать интересы актеров перед продюсерами. Я передавала их решения, их согласие принять участие в съемках того или иного фильма или их отказ. И в случае отказа я всегда старалась говорить «нет» так, чтобы не навредить моим клиентам, не испортить отношения, не лишить их возможности получить повторное предложение от этих кинокомпаний, продюсеров, режиссеров. Для меня совет Людмилы Владимировны оказался бесценным.

Я училась быстро. Но при этом не была покладистой ученицей. Всё время брыкалась и фыркала. Спорила. Пыталась доказать свою правоту.

Людмила Владимировна, напротив, не была категорична, не давила своим авторитетом, не навязывала своих суждений. Каждый раз, высказывая мнение, начинала со слов: «Мне бы хотелось понять… Мне кажется, но я могу ошибаться… Возможно,

стоит попробовать… Может, стоит попытаться?.. Но это, безусловно, вам решать». И каждый раз собеседник с ней моментально и радостно соглашался: оказывалось, что он *сам* как раз об этом думал, *сам* хотел это сделать или изменить.

Однажды Туманян и Голубкина решили запустить в производство «коммерческий фильм». Детектив. Это было смелое решение, хотя и вынужденное. Туманян показалось, что «костлявая рука» зарождающегося капитализма дотянулась и до наших шей. Меня назначили редактором этого фильма. К этому моменту я уже освоилась, чувствовала себя уверенно, как водитель после первого года вождения автомобиля. Ощущала себя Шумахером.

И вот мы сидим в зале, я рядом с Людмилой Владимировной, смотрим пробы. Пробы не просто беспомощные – бездарные. Я чувствую, как во мне стремительно нарастает раздражение. Началось обсуждение. Туманян с Голубкиной высказывали свое мнение, как мне показалось, в чересчур деликатной форме. Когда дошла очередь до меня, я решила быть честной и принципиальной, поэтому сказала всё как есть: пробы настолько слабые, что я вообще не понимаю, что здесь можно обсуждать; этими пробами режиссер расписался в своей профнепригодности. И тут… Голубкина не просто повысила голос, она закричала на меня: «Лена, немедленно замолчите! Это недопустимо! Что вы себе позволяете?!» Я тут же заткнулась. От неожиданности, от шока. Людмила Владимировна, всегда сдержанная, спокойная, доброжелательная, не просто повысила голос, она кричала на меня. А Туманян… молчала. Туманян, которая устраивала мне публичные выволочки даже за самые незначительные мои промахи. Их реакция меня мгновенно отрезвила. Я поняла, что мои честность и принципиальность – банальные хамство и глупость. Это я, а не режиссер, расписалась сейчас в своей профнепригодности. Я испугалась не на шутку. Корила себя за то, что своей безобразной выходкой поставила их в неловкое положение, за то, что не оправдала их доверия, за то, что могу лишиться их уважения, за то, что дни мои в студии «Зодиак» сочтены.

Когда мы вернулись в студию, Голубкина сказала ледяным голосом: «Лена, нам надо поговорить».

Мы говорили недолго, потому что я уже сама к тому моменту всё осознала и раскаялась. Но суть, смысл сказанного мне Голубкиной я запомнила накрепко.

Говорить с человеком в грубой, резкой, обидной и тем более оскорбительной форме – непродуктивно. Как бы вы ни были правы, какие бы справедливые слова ни говорили. Тот, к кому вы

обращаетесь, вас не услышит, не поймет и уж точно не согласится с вами.

С тех пор, если я хочу быть услышанной, понятой и добиться какого-то результата, я всегда начинаю фразу со слов: «Мне бы хотелось понять… Мне кажется, но я могу ошибаться… Возможно, стоит попробовать… Может, стоит попытаться? Но это, безусловно, вам решать».

Я проработала с Людмилой Владимировной недолго, всего год. Она ушла, через некоторое время возглавила Высшие сценарные и режиссерские курсы, а место главного редактора «Зодиака» оказалось свободным, и к нам пришел другой человек. Мы с Сергеем Петровичем Козловым, директором нашей студии, с первого же дня развернули кампанию против нового главного редактора. Мы всеми известными нам способами пытались вынудить Туманян ее уволить. Плели интриги и заговоры. И не потому, что она была плохим главным редактором или плохим человеком. Просто она пришла на место Голубкиной.

В конце концов Туманян рассталась с новым главным редактором, но не потому, что поддалась на наши козни и интриги, а потому что поняла нас. Голубкина задала такую высокую планку, такой высокий уровень, человеческий и профессиональный, что нам уже было очень трудно принять другой масштаб.

После этого случая и до конца существования студии «Зодиак» место главного редактора оставалось свободным.

Лидия Боброва

Кинодраматург, кинорежиссер, автор фильмов «Ой, вы, гуси…», «В той стране», «Бабуся», «Верую!».

Сорок лет без малого мой путь в кино был неразрывно связан с Людмилой Владимировной. В 1978 году я поступила во ВГИК в их с Е. И. Габриловичем сценарную мастерскую. Полгода спустя к нам пришли педагогами Н. А. Фокина и С. Л. Лунгин.

Кроме занятий общих бывали еще индивидуальные, со своим мастером. Я попала в группу Людмилы Владимировны и долгое время балансировала на грани вылета за профнепригодность. Всё изменилось, когда был написан сценарий «Ой, вы, гуси…».

Людмила Владимировна стала не только моим педагогом, но и другом. Надежным тылом в борьбе за право сказать своё слово в кинематографе. Не счесть, сколько раз после ВГИКа я мчалась к ней в Москву за поддержкой и верой. За спасением от уныния. В те глухие, застойные годы почти все мои замыслы и сценарии были непроходными. Но как только повеяло свежим ветром перестройки, Людмила Владимировна отдала «Ой, вы, гуси…» в журнал «Искусство кино», где сценарий был напечатан (спасибо за это и Людмиле Донец).

Публикация оказалась мостиком к Высшим курсам сценаристов и режиссеров, по которому не пройти бы мне без поддержки П. К. Финна, Ф. Г. Гукасян, А. А. Голутвы и В. А. Грамматикова. Они вошли в мою жизнь благодаря Людмиле Владимировне. Редкий дар – быть связующим, главным звеном в цепи встреч и событий! На моих глазах этот дар определил и судьбу ее бывшей невестки Натальи Громовой, и другие судьбы, в которых она принимала столь же деятельное участие.

Потому так мучительно переживала старость, определяя ее как собственную бесполезность, ненужность людям. И уже на пороге смерти продолжала работать со мной над сценарием, не позволяя бросить, оставить незаконченным. Я понять тогда не могла, что же так ее в нем волновало. И лишь стоя у гроба, кажется, поняла.

Нести добро в мир. До последнего вздоха.

Геннадий Островский

Кинодраматург, автор сценариев фильмов «Русский рэгтайм», «Сочинение ко Дню Победы», «По имени Барон», «Любовник», «Бедные родственники» и других.

Когда пишут воспоминания о других, всегда пишут о себе.

Кем она была для меня? За что я ее любил? За ее голос? За шаль на плечах?

За то, что называла меня Геночкой?

На прощании в Доме кино жена одного из ее учеников сказала, что запомнила меня в роскошной норковой шубе до пят. Надо же, сказала она, вы меня не помните, а я вас запомнила, потому что в доме Л. В. на «Аэропорте» вы были в роскошной норковой шубе до пят, вот как живут сценаристы. Шуба и я, по ее воспоминаниям, случались лет двадцать назад. Я сказал, что у меня никогда не было норковой шубы, вообще шубы не могло быть, я никогда не носил шуб, один раз имел дело с галстуком – на свадьбе, и с бабочкой пару раз, на фестивальных дорожках, но так и не смог ее повязать. Но знакомая только лукаво смеялась, в смысле, чего уж теперь, не стоит оправдываться. Носили роскошную шубку, не стеснялись. Ну, ничего, бывает, мол, и похуже. Я на всякий случай даже перепроверил свой гардероб. Шуба мучила меня, не могла же эта знакомая так очевидно ошибаться, и после перекрестных допросов семьи, родственников и друзей вспомнилось о полуперденчике из дохлого крысиного меха, единственном представителе разряда меховых, который только и мог на мне оказаться. И то только в годы учебы в Ростовской консерватории, задолго до моего приезда в Москву. Но другого объяснения не было.

Так и остался для нее в этой шубе. Сытый, успешный человек. Скорее всего, негодяй.

Память туманна, как сон сторожа на еврейском кладбище вблизи кожевенного завода.

Я помню ее голос. Он был хриплым и тягучим, как поезд, на котором она ехала в эвакуацию с мамой. Я помню, как она об этом рассказывала, сидя в кресле на той еще старой квартире на Смоленке, туда вели ступеньки и дверь на первом этаже деревянного флигеля. Сейчас там, кажется, поликлиника, это было лет тридцать назад. За ней была большая загадочная жизнь, она казалась мне красивой старухой, сейчас мне столько, сколько ей тогда.

В этой ее квартире я оказался благодаря случайности, но, как

часто бывает, решающей и бесповоротной. Она любила рассказывать об этом – как случайно прочла мою вступительную работу во ВГИК, когда случайно зашла в кабинет, где другой мастер откинул работу в ворох других со словами: «Какая-то антисоветская ерунда». И она сказала: «Дайте посмотреть».

Антисоветского в той работе могло быть только то, что там присутствовал ростовский кордебалет, где я тогда работал на подыгрышах. Текст назывался «Пять монологов о джазе» и был написан в перерыве между номерами варьете в гримерке гостиницы «Ростов». За другое автора хвалить, думаю, было нечего, но так я оказался в ее мастерской заочного отделения ВГИКа, в мастерской Валуцкого и Голубкиной. В именах мастеров я был тогда так же несведущ, как мои товарищи по работе, которые считали ее той самой актрисой и исполнительницей песен в фильме «Гусарская баллада».

Я иногда думал, как бы сложилась моя жизнь, если бы тот мастер откинул мою работу чуть раньше, чем она вошла, или откинул молча, или с другими словами, или если бы она задержалась в коридоре ВГИКа. Написал бы ли я после этого хоть что-нибудь, кроме быстрых нотных партий для альт-саксофона или темок для джем-сейшенов. Возможно, я бы умер в сочинском ресторане жирный от алкоголизма или не умер бы со своими друзьями в Америке, куда они уехали, и до сих пор работал бы водителем грузовика. Она изменила мою жизнь, я продал свой саксофон «Кон» за 650 рублей и стал сценаристом.

Я сидел тогда в ее комнате на Смоленке и не знал, как мне повезло. Я как-то сразу попал в круг ее близких и друзей, пусть не близко, по касательной, в эту квартиру на Смоленке, а потом и на Аэропорте, куда она переехала, и еще не понимал, что мне уникально повезло оказаться в ее жизни или рядом с ней, не только потому, что она взяла на себя заботу обо мне, но и потому, что я попал в среду. Уникальную среду людей и отношений, в которую никогда бы не попал без нее. Ни за какие деньги и коврижки.

Сейчас, когда я общаюсь с молодыми людьми из мира, как они сами называют, киноиндустрии, я их жалею, потому что они этого не знали и не узнают уже никогда, бедные люди. Я ничем не смогу им помочь в этом. У нас сегодня уже нет никакой среды.

За что я ее любил? За этот голос. За внимательность таланта. За то, что отражалось в ее глазах, когда она слушала меня. Весь я, всё, что во мне было, мои слова, тексты, рассуждения, мои невзгоды и радости. Никто так больше не слушал меня. Наверное, так было со всеми, кого она слушала. Внимательность таланта. Даже в том, как она называла моё имя.

Последний раз это произошло за полгода до ее смерти. Когда я обещал ее навестить. Но так и не пришел. Не хотел видеть ее слепой и глухой, она тоже не шибко хотела этого, я это понял. Мы покричали друг дружке в телефон какие-то слова. Что-то о здоровье, о том, что я пишу. Что она прочла большими буквами на планшете. Чьи-то воспоминания. Я понял, что она меня помнит, помнит мою жену, мою дочь. И всё. Теперь остался голос.

Я любил ее за голос, за то, что любила меня.

За то, что взяла меня с собой на Высшие курсы, где ей предложили место директора, а она мне – место лаборанта и комнату в общежитии, где я прожил шесть лет по ее доброй воле вместе с режиссером Дворцевым, который тоже жил там по ее доброй воле, и благодаря этой доброй воле мы сделали с ним два фильма, выигравшие Пальмовую каннскую ветвь в разные годы. За то, что взяла меня в свою мастерскую с Семеном Лунгиным. И за то, что я попал в его дом, где всегда чем-то кормили, и всегда трещина в окне, и была чудесная умная Лиля и много комнат, где можно было наткнуться на кого угодно, на пылкого русского диссидента, на хмурого толстого Пашу, еще просто старшего сына, циничного и угрюмого, в пыльном свитере, на сценаристку Кожушаную, такую талантливую и так рано спившуюся и умершую, за всё оттуда, из этих комнат и стен, что я полюбил и ощущаю в себе до сих пор, тоже ее люблю.

За ее семью и родных, за внука Вовочку, сына Вову, дочь Галю, они так все похожи на нее ее рысьими внимательными глазами, внимательностью таланта, который присутствует в них во всех от нее.

Когда-то она сказала мне по секрету, что Лунгин сказал ей, когда они только взяли меня в свою мастерскую: «Мила, чему мы его будем учить, этого Островского? Нечему».

За это тоже. И за то, что он назвал ее Милой. Мне это было странно, но я посмотрел на нее другими глазами: для него она была Милой. Девочкой, которая ехала в тягучем поезде. Жизнь только начиналась. Тяжелая и прекрасная жизнь. А теперь ее нет, боже мой. Номер телефона 1558145. Квартира на Аэропорте. Голос в трубке.

Наталья Репина

Кинодраматург, автор сценариев «Подписка о невыезде» (фильм «Пропавший без вести»), «Mal'aria», романа «Пролог».

Если набрать воздуха и не дышать, то сначала нормально. Потом становится труднее, потом еще, и, наконец, наступает момент, когда ты понимаешь, что умрешь, если не вдохнешь.

Так я воспринимаю ее отсутствие. Когда она ушла, сначала сгоряча даже было ничего. Потом наступила тоска. А теперь невыносимо.

Ничего из того, что было для нее нормой, я даже близко не могу воплотить в своей жизни. Ее интерес к другим людям. Ее открытую доброжелательность. Я считала, что она «подставляется». Помню, как она рассказывала новым ученикам на курсах, как ее мама во время эвакуации отстала от теплушки, и она ехала в вагоне, у дверей, ей было восемь лет, она была совершенно одна, и она плакала. А потом мама догнала теплушку. Я закипала. По мне, это было слишком сокровенно, это было для своих, а не для посторонних студентов, которые еще мало ли кто такие. Но для нее они уже и были свои.

Я халтурила, просматривая по диагонали ученические откровения. Она их скрупулезно разбирала. Потому что ей они были важны едва ли не больше, чем самим авторам. Потом у нее поднималось давление, и она лежала весь день, а всю ночь не спала. А я спала – и снисходительно думала «а вот не надо было». А было – надо. Большинство из нас свои лучшие работы написали при ней.

Она называла меня «детка». Наверняка не только меня. Но для меня это было высшей степенью признания. «Детка, вы пишете?» Господи, что я могу написать, если мне так доверяют? Кривобокие, моментами небездарные детки с огромным кредитом ее доверия – вот кто мы были. Как хочется, чтобы в тебя кто-нибудь еще так поверил. И так полюбил.

Я тихо раздражалась, когда она читала вслух стихи. Потому что это «романтика». Но она любила стихи – и читала их. Она просто не боялась любить то, что любит, как бы это ни называлось.

Мы с ней обе любили Англию, но она – чтобы съездить, а я – чтобы остаться. Это был вечный спор: «детка, но как же друзья?»

Она была красивая. Но она как будто не замечала и не думала об этом. Допускаю, что и не «как будто». Ничего особенного – густая седая челка, платья-балахоны, вдруг среди

разговора молчание о чём-то, что нам не надо знать.

В последнее время она признавалась, что читает только мемуары и совсем не может воспринимать «худлит». Тогда было странно, а теперь, с возрастом, понимаю. Позади целая жизнь. Воображаемые миры – наивны, прожитые – родные, шум времени, где звучит и твой голос.

Сама она писала совершенно. Там не было ни одного слова лишнего. У нее не было потребности как-то специально «подать и расцветить» – жизнь была ценна сама по себе, и в ее воспоминаниях эта простая ценность вдруг вставала перед глазами как откровение. Не умею объяснить, надо прочитать хотя бы один абзац.

Когда она уже почти не видела и не слышала, она признавалась, что «поплакивает» из-за этого. Поплакивает! Случись такое со мной, я бы сочла это величайшей трагедией, рядом с которой чужие беды – тьфу. А в результате, когда мы созванивались или встречались, выходило так, что я жаловалась, а она – жалела.

Я в очередной раз расписываюсь в бессилии объяснить, кто она была. Думаю, что это невозможно. Когда мне приходится говорить о ней посторонним людям, я сбиваюсь на высокопарные глупости. Я только понимаю, что такие люди определяют твою жизнь. Когда ее хоронили и пришли последние могикане, я, наверное, в последний раз вдохнула этот чистый и разреженный воздух. Я сказала ей: еще напишу. Нет, не знаю.

Я не знаю, как это устроено и как это работало. Помню, что ей не понравилась «Оттепель», потому что там всё не так. Для меня этот сериал – признание в любви ее поколению, и моё признание тоже. Но если она сочла, что там – «не так», значит, мы их так и не поняли. Мы можем лишь тосковать по чему-то, что нам не дано постигнуть, а лишь подарено побыть рядом.

Илья Хржановский

Людмилу Владимировну Голубкину я знаю всю жизнь. Пишу в настоящем времени об ушедшем из жизни человеке, потому что она ушла из своей жизни, но не из моей. Ее присутствие в моей душе длится и проецируется на самые важные события и впечатления. Это присутствие влияет на решения, которые я принимаю, дает мне силы. На Людмилу Владимировну можно внутренне опираться, когда кажется, что нужно отступить или уступить изменчивой форме жизни и человеческих отношений. Принято говорить в таких случаях – камертон. Но на камертон не опереться, и мы соскальзываем, и звук камертона теряется в эхе и прочих вибрациях несущегося на нас многозвучия актуальной реальности. Я удерживаю в сознании души образ Людмилы Владимировны, и это помогает мне делать дело, которым я занят. Людмила Владимировна была первым человеком, который поверил, что я смогу быть режиссером. Она дала мне возможность опереться на ее веру и решиться на профессию и дело, которым живу уже долгие годы. А сколько еще таких же, как я, молодых людей благодаря ей впрыгнули в свои киносудьбы!

Тетя Мила – именно так я называл Людмилу Владимировну всё детство – была ближайшей подругой моей мамы, Марии Нейман. Поэтому тетя Мила всегда присутствовала в жизни нашей семьи. И в историях, которые рассказывала она сама (это был бы самый захватывающий курс истории советского кино), и в реальности, когда тетя Мила появлялась у нас на кухне. Как красиво она курила! Какой жест с сигаретой! Как внимательно она умела слушать и обстоятельно, и при этом никогда не скучно, рассказывать. Какие образы, какие характеры и герои советской культуры проходили, да так и остались перед моими внутренними глазами.

А наяву Сергей Александрович Ермолинский, мой крестный, на руках которого умер Михаил Булгаков, а на занятие литературой благословил Лев Толстой, прогуливается со мной, пятилетним, по переделкинской аллее к дому, а в окне виднеется красивый профиль его жены, Татьяны Александровны Луговской, родной тети моей тети Милы. И эти два профиля похожи, особенно это станет ясно со временем, когда тетя Мила войдет в возраст Татьяны Александровны. А пока что я маленький, тетя Мила и мои родители моложе, чем я сейчас, и жизнь эта случается вне линейного времени и поэтому соединяет меня с началом двадцатого века, с детством Татьяны Александровны в доме ее отца, дедушки Людмилы Владимировны, описанном в

замечательной книжке Татьяны Александровны с таким простым и важным названием «Я помню».

Я тоже помню и длю эту счастливую память как реальность, происходящую в моей жизни прямо сейчас.

Достаточно любви

Разговор с детьми Л. В. Голубкиной – Галиной Гурлянд и Владимиром Передерием и ее внучками – Александрой и Алисой Гурлянд.

Галя: Мама была довольно строгой мамой. Она умела нас с братом держать в кулаке и особенно расслабляться не давала. Но однажды случилась такая история. Девятый класс был для меня трудным временем. Не складывались отношения с ребятами, с самою собой, я начала прогуливать уроки.

Володя: Хотя вообще ты была покладистая девочка.

Галя: Да. Меня перевели в другую школу, 59-ю, бывшая гимназия Медведниковых, но там тоже ничего не получалось, одноклассники меня не принимали, учеба соответственно не шла, я много болела. И маму вызвали на педсовет. Не помню, по какому поводу. Но чтобы меня прорабатывать. В том числе за то, что, как им казалось, я пользуюсь косметикой. Это по тем временам считалось преступлением. Но я его не совершала. Клянусь. У меня просто были яркие краски лица. На педсовете маму уверяли, что я крашу губы. Она отбивалась как могла. Наконец всё кончилось, мы вышли и молча пошли по Староконюшенному. Я шла и думала: сейчас начнется. Сейчас мне будет холодным, таким директорским голосом устроен выговор… И вдруг мама говорит: «Давай зайдем?» – и мы заходим в какой-то маленький уютный ресторанчик. Садимся за столик, мама спрашивает: «Что будешь?» Потом поворачивается ко мне и говорит: «Знаешь, дураков на свете много. Не обращай внимания».

Для меня это был шок. В этот момент мама была мамой вот такими буквами. Гигантскими. Она была МАМА. Этот эпизод произвел на меня такое впечатление, так на меня повлиял, что потом, когда я растила своих дочерей и случались проблемы, я становилась девочкам скорее подругой, чем матерью.

Девочки: Да.

Саша: К сожалению, бабушки Милы в нашей жизни было не так уж много. Она не была бабушкой, которая кормит пирогами, обвязывает свитерами и окружает теплом. Она всегда была немножко на расстоянии. Строгая.

Алиса: …работающая очень много – мы ее редко видели.

Саша: Она занималась нашим образованием. Она водила нас в музеи. Она читала нам хорошие стихи. Она занималась нашими манерами. Пыталась ввести нас в какие-то рамки своих

представлений о том, какой должна быть девочка. Кое-чему я научилась. Прилежности. Не перебивать. Держать спину ровно. Вести себя правильно за столом. И никогда не давать собеседнику понять, что он глуп.

(Все смеются.)

Выслушать с абсолютно серьезным лицом. Даже можно дать понять человеку, что он гениален во всех своих проявлениях, но просто больше никогда с ним не общаться. Вот это бабушка. А потом однажды она купила дачу и летом увезла нас туда. И вот тогда нам открылась бабушка как бабушка.

Алиса: Хорошее лето, да. Это была деревня Княжево под Волоколамском.

Саша: Маленький черный домик. С русской печью.

Алиса: Сырой. Некрасивый, неказистый.

Саша: Заваленный на бок. Старые сараи на участке. Соседи алкаши.

Алиса: В общем, вся русская романтика.

Саша: До ближайшего водоема пять километров пешком. И мы ходили. С бабушкой. Интересно, что раньше, в детстве, мы тоже отдыхали с ней – в Доме творчества «Болшево». Мы ходили на лыжах, мы были вместе, но не было того тепла, которое вдруг случилось, когда бабушка купила дом в деревне. Причем купила, как я понимаю, для нас. Чтобы можно было туда с нами ездить.

Алиса: Мы безнадежно городские были девочки.

Саша: Мне было лет десять-одиннадцать. Бабушка тогда свозила меня в Питер, лично меня, а потом вдруг появился этот дом, и каждое лето она ездила туда с нами – недели на две, на три, да?

Галя: Ну, как вырывалась.

Саша: Как только вырывалась, посвящала всё это время нам. Причем без Вовочки – только нам с Алисой.

Алиса: Бывало, что он приезжал.

Саша: Только один год мы там были вчетвером. Вообще, тут скрывать нечего: Вовочке всегда было больше внимания. На него были все бабушкины надежды, она любила с ним беседовать – а мы для неё были так, бантики, девчонки-пустышки.

Алиса: Мы это чувствовали, но…

Саша: Добиться ее внимания, добиться ее одобрения, добиться ее любви было вполне определенной целью нашего детства.

Алиса: Нереальной.

Саша: В нашем представлении она была человеком очень строгим и требовательным. Начальница. Приезжая к нам в Камергерский переулок, серьезно спрашивала «а что вы

сделали?», «а почему так, почему не этак?» А в деревне всё переменилось. Она стала мягкая. Она переоделась, расслабилась, вокруг не было никого, перед кем ей надо отчитываться, не было телефона, который в Москве всё время звонил, не было даже ни одного сценария с собой. Она вдруг такая сделалась… обнаженная.

Алиса: И книжки эти, помнишь?

Саша: Она читала нам каждый вечер. Как она тогда влюбила меня в чтение! Как она читала, как умела погружать в мир, о котором читает! У меня до сих пор в памяти: сырая кровать, за стеной скребется какой-то древесный жук, а тебе всё это счастье: бабушка читает. «Маленький лорд Фаунтлерой», «Маленькая принцесса».

Алиса: Я, к сожалению, названий не помню. Я помню ощущения.

Саша: Мы каждый день ждали вечера – чтобы бабушка читала. А еще каждый вечер садились у камина – ну, не камина, у русской печи, – и она просила, чтобы мы придумывали истории.

Алиса: Например, страшилки. Но мы их никогда не заканчивали.

Саша: А главное, что бабушка дала нам в те теплые лета, была свобода. Она была первым человеком, который дал нам свободу. Несмотря на всю свою строгость, правила, воспитание, она отпускала нас на все четыре стороны. Только требовала, чтобы вовремя пришли на обед и на ужин. Ее не интересовало, где мы, что делаем, что творим. Неважно – это ваше дело. Мы сами за себя отвечали. Но стоило опоздать на пять минут…

Алиса: О, это было очень страшно.

Саша: Бабушкино лицо…

Алиса: Она не ругалась.

Галя: Она каменела.

Саша: Она начинала молчать, и это было так страшно!

Алиса: Это очень страшно было.

Саша: Пот по спине, руки дрожат, и ты не знаешь, как подойти, как извиниться. Однажды мы с Алисой наворовали кабачков на соседской грядке.

Алиса: Вкусные были!

Саша: И притащили бабушке эти кабачки. Огромные.

Алиса: Были большие картофельные поля, а на самом их краю люди почему-то кабачки сажали. И мы наворовали полные подолы этих кабачков и притащили бабушке: «нам подарили!» Она нам их с радостью нажарила, а потом какая-то тетка ходила по дворам и кричала: «Кто своровал мои кабачки?»

Саша: И мы очень боялись, что бабушка услышит. Тогда нам

конец.

На эту дачу мы ездили и с другими бабушкой и дедушкой, папиными. Это был впечатляющий контраст. Тотального контроля с ними и абсолютной свободы с ней. Мы до сих пор с Алисой вспоминаем.

Алиса: А как она разбиралась с алкашами, которые к нам приходили!

Саша: Один раз пришли дверь нам продавать. И бабушка купила эту дверь!

Алиса: За бутылку водки.

Саша: Она ехала туда всегда с ящиком водки.

Алиса: Она знала, что там в ходу.

Саша: Вёз нас на машине ее друг Ленчик. Мы ехали с вещами и звенящим ящиком водки. И всё, что происходило на даче – выкорчевывание старых сараев, достройка большой веранды, ремонт забора, – всё это исправно делалось за бутылку. Вся деревня работала на бабушку. У нее были договоренности там, тут, магазин сообщал нам, когда привезли свежее молоко, здесь хранили наши вещи, пока нас нет, там следили за картошкой, которую мы не сажали, но часть поля считалась нашей. Вся деревня по ее правилам существовала.

Алиса: Она умела.

Саша: А когда мы приезжали, все знали, что она приехала, и начиналось паломничество. Но не ради попрошайничества – ради работы. Это ее талант: к ней шли просить дела. Обычно же алкаши приходят и просят «дай», «ну, пожалей», «ну, помоги». А тут – дай работу.

Алиса: «Тебе надо чего сделать?»

Саша: Они знали: если попросить работу, она ее даст. Как волшебница в моём любимом мультфильме Миядзаки – никогда не отказывала.

Алиса: Всегда давала людям работу. Шанс давала.

Саша: И это была для меня тоже какая-то неведомая прежде бабушкина сторона. Потому что я и на Курсах бабушку наблюдала. Однажды там происходила какая-то встреча очень крутых киношников, и я несколько дней подряд помогала с чаем, кофе, бутербродами, была на побегушках. Но никто не должен был знать, что я внучка. Только по имени-отчеству, близко не подходить, лично не обращаться. На расстоянии вытянутой руки. Бабушка, которая была там, – это одна бабушка. Бабушка, которая приезжала к нам в Камергерский, – другая. А вот бабушка на даче – это самое теплое воспоминание. Она максимально близко нас к себе подпустила. Разрешила нам, помнишь, выстроить домик на чердаке. Очень многое нам позволяла – только там. У меня

ощущение, что там она была как будто на необитаемом острове.

Алиса: Мы лабораторию себе сделали. И она приходила смотреть.

Саша: У меня чувство, что для нее было важно, что ее никто не будет оценивать. Она на этой даче…

Галя: Расслаблялась.

Саша: Да. «Вы делайте, что хотите, меня не трогайте». Она читала, она раскладывала пасьянс, она подолгу пила кофе и смотрела в поле это огромное, открывавшееся прямо за нашим домом. И очень много была в себе.

Алиса: Удивительный контраст. Я помню, как первый раз приехала к ней на работу в Тишинский – мы с тобой вместе приехали. И вот это впечатление, когда нас завели в ее кабинет с табличкой, большой, темный, с бабушкой за большущим столом. Прежде ты никогда не видел человека на работе, ну, бабушка и бабушка, всегда очень занята, а тут вдруг тебе, маленькой девочке, становится понятно, что это большой человек. В чей кабинет все приходят, слегка наклонив голову. И чувствуешь такую гордость…

Саша: И хочется крикнуть: я внучка!

Алиса: А нельзя.

Саша: Если мы где-то бывали с бабушкой, она никогда не говорила «это моя внучка Саша» или «это моя внучка Алиса». Она говорила «это галина дочь». А уж кто знал, кто такая Галя, тому дано было понять, кто мы. Дедушка, кстати, вообще не разрешал нам звать его дедушкой.

Галя: Он это перенял от своей мамы, моей бабушки. Она считала, что слово «бабушка» старит и принижает. А я для себя очень рано поняла, что бабушка – не возрастной ценз…

Саша: Это награда, я считаю, вообще.

Галя: Да. И я – бабушка. Я бабушка целиком и полностью! Вязание, пироги, шапочку надела, нос вытерла…

Саша: А одобрения ее мы так, в общем-то, и не добились. Какими бы любящими, внимательными ни были, как ни пытались услужить, помочь. Единственный период, когда я более-менее ее удовлетворяла, – когда я работала в кино. Художником-гримером. Вот в тот период она со мной разговаривала всерьез. Задавала мне вопросы, получая на них ответы, не всегда была довольна, потому что ей казалось, я должна бесконечно двигаться вверх, вверх, вверх, только вверх: не надо в одном состоянии находиться, надо добиваться, достигать. И даже когда я добилась – не ставя, честно говоря, такой цели перед собой, – каких-то с ее точки зрения достойных высот, всё равно было недостаточно. «Почему ты остаешься на сериалах? Надо идти дальше, в большое

кино». И неважно, в каком положении было тогда кино: надо, ты всё время должна идти вверх. И в момент, когда я решила, что больше хочу быть матерью, что мне это ближе, – всё, она разочаровалась во мне совершенно. Из-за того, что я ушла из кино. «Как ты могла!» И с тех пор что бы я ни делала, как бы себя ни проявляла, – всё, нет, крест. На Алиске крест был поставлен давно. И мы стали ей неинтересны, по большей части. Особенно когда у нас появились дети.

Алиса: Нет, ну, она всё равно, конечно, интересовалась.

Саша: Интересовалась, звонила, спрашивала, как у нас дела, всё знала. Но… Она не то чтобы «ой, я хотела бы с девочками повидаться», нет: «пускай ко мне приедут».

Галя: Да, для мамы это было очень важно – реализация себя как профессионала.

Саша: Ей было не важно, что просто мы у неё есть.

Алиса: На ее взгляд, мы не реализовали себя.

Саша: Ей важно было, чтобы ее друзья, те, кто ее знают, люди ее круга говорили: о, у Голубкиной-то какие внуки! Один сценарист, другая вот это, третья вот это. Нужна была статусность даже в этом. Это обижало, безусловно. У неё были свои, весьма определенные требования. И мы не оправдали ее взглядов на то, как человеку надо жить. И на первом месте у неё всегда, конечно, был Вовочка, никуда от этого не денешься. И мы не то что не пытались… мы не видели смысла конкурировать. Мы никогда не были настолько умны…

Алиса: талантливы…

Саша: …талантливы.

Галя: Да, это на самом деле повелось из глубокого детства. Вовочка был ее первый внук. Они жили вместе – мама жила с ним, его папой Володей и его мамой Наташей Громовой в квартире на Смоленской. То есть этого действительно не перебьешь. Когда мама нас растила с Вовкой, она тоже предпочитала его мне, потому что он сын.

Саша: А Вовочку – нам. Мы девочки – мы ни о чём.

Галя: Да, девочки – ни о чём.

Саша: Как в королевской семье: наследники – мальчики.

Галя: Мальчик в семье был серьезное дело. Надо сказать, когда мы росли с Вовой, мы тоже имели в некоторой степени неравные права.

Володя: Ну, почему? Я не могу так сказать.

Саша: А потому что ты этого не ощущал.

Галя: Сейчас объясню. Мама всегда пыталась тебя больше защитить просто потому, что ты был для моего отца – мы тогда этого не знали…

Володя: Ну, да…

Галя: …ты был для моего отца не родным сыном. А мы этого лет до твоих пятнадцати не знали. Так ведь?

Володя: Но потом нашли документы.

Галя: Да, я помню. Мы не знали, что мой отец Вовку усыновил. Вова до сих пор носит отчество и фамилию моего отца. А я была такой счастливый пузырь, мне всё было хорошо, меня всё устраивало в жизни, я всех любила, я вообще на это внимания не обращала. Вова же больше чувствовал некоторые странности и, может быть, несправедливости. И мама всегда пыталась его защитить. Она мне потом сама говорила, что Вовку больше любила.

Володя: Ну…

Галя: Да, она это лично мне говорила.

Алиса: Соответственно и Вовочку.

Галя: Во-первых, ты был первенец и сын, для нее это было важно. А во-вторых, когда мы с тобой росли, ты был более умным, более образованным, больше подавал надежд. На меня вообще ставок не делалось. (*Смеются.*) Ни мамой, ни ее подругами. Мне до сих пор Наталья Яковлевна Венжер так прямо и говорит: да мы вообще на тебе крест поставили, ты была неть, никто. Они почему-то все страшно удивились, что в результате я под конец маминой жизни стала ее надеждой и опорой. Вот удивительно, правда, откуда? И мама мне очень много раз говорила, что ты, Вовка, был ого-го, такой умный, она тобой хвасталась! Ну, говорила в порядке некоторого раскаяния. Она говорила: «Я понимаю, какие ошибки сделала». А я была отрезанный ломоть, ушла замуж не туда, куда надо. Сережа не одобрялся. Помнишь?

Володя: Да.

Галя: Нам даже запретили встречаться, было дело. Вот. Но я поступила по-своему. А Вова в институте учился. И даже аспирантура у тебя была, да?

Володя: Да. Не защитился только.

Галя: А потом женился на такой умной Громовой и породил такого умного Вовочку. Который пошел по маминым стопам.

Володя: Я вспоминаю какую-нибудь сцену из детства, которая характеризует маму, но, как бывает, когда что-то хочешь вспомнить нарочно, у меня не получается. Почему-то помню вот что. Мы часто ездили к бабушке в Столешников. И шли потом оттуда до метро «Проспект Маркса», которое мама неизменно называла «Моховая». Бабушка нас провожала. На станции они еще долго разговаривали, а мне было делать нечего, и я вставал – там было такое место, между колоннами, и я каждый раз как его вспоминаю, думаю: как я там помещался? Почему-то помню это

очень отчетливо. Это никак никого не характеризует, но я помню.

Галя: А помнишь, был период, ты жил у мамы на Аэропорте? Сколько это продолжалось?

Володя: Год. Но я всё не могу припомнить такого события, которое бы характеризовало ее.

Галя: Тебе было двенадцать лет, когда мы лепили армию. У тебя был друг Миша Годгольд по прозвищу Ван Гог. И вы с ним пытались разыграть Бородинское сражение. Он лепил русскую армию, а мы с тобой французскую. А потом вы устроили сражение, и пластилин с пола мы отскребали месяц. И вот именно тогда ты увлекся униформологией. Мы лепили лошадей, солдат, и ты требовал, чтобы у каждого солдата были все знаки отличия.

Володя: И в результате, окончив школу, я пошел на истфак. Мы были знакомы с семьей очень известных историков, Городецких. Как же его звали…

Галя: Ефим Наумович.

Володя: Да. Он мне сказал: ни о чём не волнуйся, ты всё хорошо знаешь, а я всех предупрежу. И надо было случиться, что злобная бабка, заведовавшая там, была его главным научным врагом с тридцатых годов. И она с чувством влепила мне четверку.

Галя: Это Вовке, который историю знал лучше, чем учитель в школе.

Володя: Взяла да поставила. И я недобирал баллов явно совершенно. И плюнул на это дело. Пошел в институт культуры на библиографа. Потому что уже работал в библиотеке. И так библиотекарем и остался.

Галя: А в аспирантуру ты в Институт истории СССР поступил.

Володя: Но тут началась перестройка. Я успел написать только две главы. «Униформология как вспомогательная историческая дисциплина». Началась перестройка, я придумал выпускать журнал. У нас был полуподпольный кружок при Обществе охраны памятников, мы делали рукописные бюллетени по разным униформологическим темам. Правда, такого слова – униформология – тогда еще не было. И я сказал: давайте будем делать это как периодическое издание. Журнал «Цейхгауз»: история форменной одежды и знаков различия. Слово «униформа» я не люблю, хотя его активно продвигал. Давайте делать журнал. А как? Денег нет. Мама в то время написала сценарий, который пошел в работу, кажется, на узбекской киностудии. И получила гонорар. Который отдала мне. Я не просил. Но она знала о моих делах. Принесла и сказала – вот. Когда будет возможность, отдашь. Благодаря этому журнал и

получился и выходит до сих пор. Потом я маме постепенно возвратил деньги. Таких поступков она совершила много.

Галя: Мама всегда, по любому поводу была готова подставить плечо. Это правда.

Володя: И часто это делала. Но никогда не обставляла это как благодеяние и милость. Что вот, мол, я долго думала, сделала усилие и решила помочь. Это делалось совершенно естественно.

Галя: Что я вспоминаю с радостью, это наши совместные чтения. У нас у каждого была книжка, которую он читал, и была общая книжка, которую читала нам только мама. Мы садились по обе стороны от неё, каждый что-то своё крутил в руках, а мама читала. И это продолжалось до вполне серьезного возраста, когда Вовке было уже лет двенадцать. Мы очень любили эти моменты единения. Потому что нам мамы по большому счету доставалось мало.

Володя: Она всё время была на работе.

Галя: Она была очень социальное животное. А если не на работе, то друзья, товарищи, гости, она в гостях, мы в гостях. А вот нас объединенных, семейных – этого было не много.

Володя: Не много, да.

Галя: Но это не было болезненно, это было нормально. Мы другого не знали.

Володя: Это вполне принималось как естественное. Еще помню, когда мы ездили на дачу, а мы с какого-то момента стали ездить каждые выходные…

Галя: …в Мозжинку, да.

Володя: Все дачи там были расположены по кругу. Нужно было минут сорок, чтобы этот круг обойти. И вот там мы замечательно гуляли с мамой. Она писала диссертацию, отрывалась, шла с нами гулять. И еще шли собака и кошка.

Галя: А на лыжах, помнишь, как нас мама таскала?

Алиса: И нас таскала!

Володя: Да-да, по воскресеньям.

Галя: Мы еще маленькие, мне лет 8, Вовке лет 10, а нас мама чуть не по пятнадцать километрах на этих лыжах…

Саша: С нами то же самое было! Причем Алиска отставала, уставала, а бабушка говорила: «Ну и оставайся здесь» – и шла вперед.

Галя: Шла вперед. И хочешь – не хочешь, ты за ней…

Алиса: Оставаться как-то не очень хотелось.

Галя: Мама в юношеские годы получила по лыжам разряд. И очень хотела нас втянуть в это дело. В результате мы все на лыжах ходить умели. И получали от этого, надо сказать, колоссальное удовольствие.

Во время Московских международных фестивалей был отдельный конкурс фильмов для детей. Мама иногда работала на фестивале. Я была маленькая, когда она меня первый туда взяла. Вот тогда я поняла, что моя мама – человек значительный. Потому что меня вдруг повели мимо всех этих толп… А там иностранцы, а там фильмы, которых никто не видел никогда, а мама: «Это моя дочка…» Я была такая гордая!

Саша: У меня было то же самое, когда она взяла меня на церемонию вручения «Ники». «Нику» тогда выгнали из Дома кино, и вручение проходило в Доме музыки. Я в первый раз прошла тогда по красной ковровой дорожке. Я себя чувствовала звездой, идущей за Оскаром. Меня посадили в первый ряд. Но бабушка была всем недовольна: ей не нравилось, что не в Доме кино.

Галя: А помнишь, Вовка, как мама была в каком-то жюри, надо было перечитать огромное количество сценариев, и мы с тобой ей помогали. Мне было лет 15, тебе лет 17. Мы еще жили на Красносельской.

Володя: Мы читали и писали для нее синопсисы.

Галя: Это было настоящее доверие. Мама нам доверяла. Мне попался сценарий, который мне страшно понравился. По нему потом сняли фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.».

Володя: А позже мама привела меня на студию, и я стал время от времени консультировать по вопросам военной униформы.

Галя: А я не пошла в институт, рано вышла замуж. Хотя был момент, когда мамина антагонистка Кира Парамонова звала меня к себе на курс – я ведь очень хорошо писала когда-то. Потом ушло это умение. Если не тренируешь мускул, он атрофируется. Я не пошла в институт, в тот момент у меня была одна цель: я влюбилась, я хотела замуж за Сережу, и – Вова помнит – меня ничто не могло остановить. У меня была одна цель в жизни: я люблю этого человека, я хочу с ним строить семью, и разбегись все во все стороны. А так как папа бы против, мама была против, даже ты, Вовка, был против… Папа посчитал – не понимаю, почему уж он так нос задирал, – что Сережа из низкой социальной среды. А мама посчитала, что он слишком рано появился в моей жизни, что он нахал, который еще должен заслужить. Мы познакомились с Сережей, когда мне только стукнуло семнадцать. А Вова по другой причине – потому что была Громова, которая была обижена на Сережу. А Вова был в нее влюблен. Все были против, и я пошла против всех. У меня в этот момент в глазах было только одно: люблю этого человека, хочу за него замуж, и пошли все на фиг, и ваши институты, и вообще всё.

И я ушла в эту жизнь. Мне мама помогла с жильём, мы получили квартиру в Камергерском, и дальше я была – согласись, Вов, – очень независима от всех.

Володя: Да, да.

Галя: А потом у меня довольно быстро появилось двое детей. Второго ребенка я родила в двадцать три года. Я очень рано стала мамой. И дальше уже было ни до чего. Бывали, конечно, моменты, когда я думала, эх, что ж я… Но потом я поняла – нет. Нет. То, что мне нужно было работать, – я и сейчас работаю прекрасно, из меня неплохой специалист вышел, да, Вовка?

Володя: Отличный.

Галя: Я занимаюсь компьютерной версткой и полиграфией. Уже двадцать пять лет. Сейчас в моей власти два журнала. Флагман этого дела у нас Вова, конечно. Он верстал еще в «Вентуре»!

Володя: Да, в девяностом году.

Галя: И если я чего-то не знаю, могу обратиться к Вовке – вот он великий специалист.

Вы не понимаете нашей жизни в детстве, ребята. Это было так: мама на работе, мама на работе, мама дома, но говорит по телефону. Часами. Но при этом она ухитрялась за ночь сделать всё, чего не делала днем. Сценарий написать, что-то отредактировать, все наши штаны постирать и погладить. В квартире было чисто, мы всегда накормлены.

Володя: Мама очень вкусно готовила. Очень вкусно. И отлично управлялась со всеми домашними обстоятельствами.

Галя: Никогда нас зазря не ругала. Мы могли приводить друзей домой, а когда стали более взрослыми, мама даже поощряла, чтобы друзья приходили. У нас собирались компании. Мы были заняты сами собой или друг другом, нами не надо было заниматься.

Володя: Но по выходным она занималась в основном нами.

Галя: Хотя при этом была всегда довольно сдержанна. Нельзя сказать, что она любила нас пообнимать, поцеловать. В ней много было сдержанности и такой внутренней самоограниченности. Она была как будто всегда немножко зажатая. Думаю, это от каких-то комплексов бесконечных.

Саша: Мне всегда казалось, она боится показать какую-то свою слабую сторону. Боится, что как только она ее покажет, на неё тут же надавят, на эту сторону. Могут что-то воспринять как слабость. Даже внуки. А слабости быть не должно. Она во всем должна быть сильной. Даже в любви.

Володя: Да, точно. Это так, да.

Галя: Я согласна. Ты правильно подметила.

Саша: Но не было ощущения холода или недостатка любви, тепла. Не было ощущения «ну как же, ты меня не целуешь, не обнимаешь» – как будто надобности не возникало даже у нас. Всего было достаточно.

Галя: Под самый конец у неё стала возникать потребность, она стала тянуться…

Володя: Да, да.

Галя: Для неё стало важно взять за руку… телесный контакт…

Саша: Мимо проходишь, она вдруг за руку хватает и вот так вот прижимает.

Галя: Но это уже под конец, под самый. Она вдруг стала приоткрывать эту свою раковину, в которой просидела, в общем, всю жизнь. Откуда раковина, почему? Я думаю, потому, что она всегда была на вторых ролях. Поздний ребенок у матери, ребенок в неполной семье, у отца всегда были другие приоритеты. А она к нему с большим пиететом относилась. Ей очень хотелось доказать всем вокруг, что она не хуже других. Я думаю, так.

Саша: Она вообще жила по мужской модели поведения.

Галя: Тоже верно.

Володя: Да-да, правильно, верно.

Саша: Так как она хотела играть определенную роль в обществе, она вела абсолютно мужскую жизнь.

Алиса: Тогда по-другому нельзя было.

Саша: И она вела себя как мужчина и в этом плане тоже: ограниченность некоторая в эмоциональном проявлении – это абсолютно мужская модель поведения. Мне кажется, если бы она не избрала для себя именно такую манеру, она бы не добилась того, чего добилась. Потому что она жила во времена, когда, извините, только мужчины добивались ведущих ролей.

Алиса: Во всяком случае, для женщины это было гораздо сложнее. Очень многое происходило в курилках.

Саша: Смотри «Москва слезам не верит». И она избрала для себя эту жесткость мужскую – и дальше всё, из этого вылезти было страшно. Смотришь на ее молодые фотографии: боже, какая же красивая – но тоже всё строго, всё из камня.

Галя: Она была очень красивая, но при этом всегда держала дистанцию. Во всём.

Алиса: Да.

Саша: И если бы она хотя бы на секунду отпустила эти вожжи, даже в семье, натяжение бы ушло. Ей всё время приходилось держать себя в этом тонусе.

Алиса: По-другому она уже не могла.

Саша: Мне кажется, если бы она остановилась в этом беге,

она потом бы так не разогналась. В ней бы начало преобладать вот это женское, и она бы просто увязла. Это как бежать по поверхности воды. Нельзя остановиться: сразу утонешь. Утонешь, и захочется в этом омуте остаться: там тихо, там тепло, там всё хорошо. А надо бежать. Чтобы озеро, не дай бог, тебя не поглотило. Мне кажется, она до самого конца так и неслась, боясь потерять самоконтроль.

Галя: Одно из тяжелых воспоминаний, я думаю, Вова меня поддержит, это при нем случилось, когда мама уже совсем сдавала, и вдруг произошла неприятность у неё дома, она споткнулась и упала, при нас, мы с Вовкой немедленно пришли на помощь, – но, боже мой, как она плакала. Оттого, что в ней проявилось что-то человеческое. Она рыдала оттого, что показала слабость свою. Ты помнишь?

Володя: Да.

Галя: Она говорила: боже, как мне стыдно. Это было рефреном последних ее лет: как мне стыдно. Мне так стыдно. Ей стыдно было быть просто человеком.

Саша: Тотальный самоконтроль – и вообще контроль. Помнишь, был период, я жила в ее квартире, а она жила здесь. Полгода это длилось.

Галя: Да, после операции.

Саша: Она мне звонила почти каждый день и давала указания. Сейчас четверг, ты должна отнести бельё в прачечную. Я говорю: «Мне нечего». – «Неважно. Возьми где-нибудь и отнеси».

Галя: И именно сегодня, не в другой день.

Саша: Завтра ты должна будешь полить цветы. А послезавтра стереть пыль. А послепослезавтра перестелить скатерть. Это были обязательные пункты, и даже если ее там не было, всё должно было происходить помимо неё.

Галя: Именно поэтому у мамы всегда были ежедневники.

Володя: Да. Исписанные вдоль и поперёк.

Алиса: Я вспоминаю: бабушка каждый день делала гимнастику. На даче, я хорошо помню. Но она никогда не разрешала нам на это смотреть. Уходите и закройте дверь. А если мы по утрам еще не проснулись – не разрешала поворачиваться.

Саша: Лежите к стенке.

Алиса: Это было обязательное – но никто не должен был это видеть.

Галя: Есть в этом что-то английское. Английский характер. Она не в той стране родилась.

Саша: И не в то время.

Володя: Да!

Галя: Ей нужно было… По складу характера она английский

граф.

Саша: Но в нас не живет никакой обиды.

Все: Нет, вообще.

Саша: Мы как-то сразу признали, что… Как без красок нет картины, как без слов нет стихов, так без неё нет нашего кино. Мы как-то сразу понимали, что не имеем права эгоистично отнимать ее для себя.

Алиса: Мы с детства росли с этим ощущением.

Саша: С чувством, что мы – дети бога. И нам этого достаточно. Мы с Алисой так чувствовали еще до всяких слов. Вокруг неё была такая энергетика… которая как-то заменяла то, что в нашем понимании могло бы быть любовью бабушки. И эта компенсация очень удовлетворяла, мне кажется, нас всех. Абсолютно. Может быть, бабушка как бабушка не дала бы столько.

Алиса: У нас контрастные были бабушки. Была бабушка-пребабушка, папина мама, и бабушка, к которой мы относились с большим уважением, чуть ли не на «вы», и видели иногда, редко и очень радовались. И нам этого очень даже хватало.

Галя: А плюс ко всему надо отметить, что она всегда была очень честной. В отношении ко всем. Врала она плохо. Если случалось врать – получалось из рук вон.

Саша: Та любовь, которую к ней испытывали люди… Когда ты видишь это паломничество, когда нас знакомили с людьми, которые смотрели ей в рот, спрашивали совета, и ты, Алик, тоже в это число входил, мы с Алисой девочками от тебя балдели, и там была еще девушка, Алиса Хмельницкая…

Алиса: Вот такой нам пакет сладостей купила!

Саша: И вот эти люди, которые обожали бабушку, они нам тоже дарили свою любовь, потому что мы для них были – ого! – внучки Голубкиной.

Алиса: Да еще и прикольные.

Саша: Эти все люди, как части бабушки, додаривали нам любовь. Они все нас по чуть-чуть любили. Такая вот мозаика любви образовалась. И нам ее за глаза хватало. А бабушка сидела и раздавала, как будто… вайфай такой.

Даже сбежать иногда хотелось. Когда ты оказывался в замкнутом пространстве этой любви. Скажем, мы отдыхали в Болшево с Хржановскими, и там было еще много других бабушкиных знакомых, и мы пытались сбежать. Идем в столовую на общий обед и говорим: «Можно, мы не пойдём?» Потому что сейчас нас позовут за стол, сидеть надо ровно и принимать бесчисленных подходящих с этой любовью.

Алиса: Они нам всё время задавали странные, на мой взгляд,

вопросы.

Саша: Да. По их мнению, мы должны были уже по факту рождения быть с ложечкой во рту, с хорошим мозгом в голове и с ходу отвечать на самые сложные вопросы. Мы пытались, конечно.

Алиса: Так же и в Доме кино, когда бабушка приводила нас на ёлку.

Саша: Ее обступали все, от вахтеров до людей из высоких кабинетов. И тут же к нам: «А что вы думаете о том-то и том-то?..» Приходилось выкручиваться.

Алиса: Такая у нас ёлочка была.

Саша: И ощущение, что ты внучка ого-го кого, даже еще толком не понимаешь, кого, оно очень…

Галя: …обязывало.

Саша: Я не про это. Я про достаточность любви. Этого было достаточно. Вот, поверни-ка голову. Алиса внешне очень похожа на бабушку.

Алиса: Мне кажется, я правда чем-то очень на неё похожа.

Саша: А у мамы, особенно когда она еще курила, обнаруживались бабушкины привычки. Она курила, уперев палец в щеку, как бабушка всегда делала, и в какой-то момент мама начала трепать себе ресницы, как это всегда делала бабушка в задумчивости.

Галя: А потом я курить бросила. Но кроме жестов… Это началось вот сейчас, после того как она ушла. Я вдруг почувствовала на себе ответственность. Что теперь, видимо, мне придется быть тем самым человеком, который за всем, блин, следит. Я начала родственников собирать. Надо тому позвонить, надо этому позвонить… Честно скажу: когда мама была жива, я это ненавидела. Я это и сейчас ненавижу! *(Смеются.)* Но я понимаю, что если не я, то кто. Ужас. Но в смысле свойств – нет: мы абсолютно разные.

Саша: Стихи.

Галя: Да. Разве что поэзия. Это единственное, что нас с мамой всегда…

Саша: Извини за грубость – но вот эта ваша с ней абсолютная убежденность, что надо впихнуть в детей стихи…

Галя: Это не убежденность.

Алиса: Это воспитание.

Галя: И не воспитание.

Саша: А мне кажется, воспитание.

Галя: Это другое. Понимаешь, когда ты любишь что-то и живешь этим, это непроизвольно происходит. Точно так же, как непроизвольно я начинаю цитировать стихи. Как бабушка. По любому поводу. Хочет вдруг прочитать стихи.

Володя: А я как раз не очень по этой части.

Галя: Вова – нет. Мама, которая была всегда погружена в поэзию и сама писала очень неплохие стихи, единственному человеку это передала. Мне.

Саша: Да. Потому что нас с Алиской она, к сожалению, ухитрилась от поэзии отвратить.

Галя: Вовка не любит поэзию. И Вовочка терпеть не может поэзию.

Саша: Мы с Алисой тоже.

Галя: И девчонки не любят.

Алиса: Бабушка просто пихала в нас стихи!

Саша: Причем ты ещё сама писала стихи, мам, а у меня вообще ноль. Ни одного в жизни стиха не написала.

Галя: А я первый написала в шесть лет. Вот тогда, кстати, мама мною очень гордилась. Помнишь, Вов, я написала стих, который назывался «О, сервиз, мой сервиз».

Володя: Да-да, как же. Там было «мой сервиз, как мать».

Галя: Точно. Подарили мне кукольный сервиз, и я им восхитилась до невозможности.

Саша: До стиха.

Галя: До стиха. Мы с мамой любили сесть вдвоём и почитать друг другу стихи. Она мне устраивала экзамен: вдруг начинала читать и спрашивала «это чьё?» Попробуй не ответь. И я приходила: «Мама, я хочу тебе почитать». – «Ой, замечательно, а чьё это?» И мы обменивались. Вот в этом я на неё похожа. Но она такое количество стихов помнила! Я столько запомнить просто не в состоянии. У меня память, как решето.

Саша: У неё вообще как-то по-другому работал мозг. И была совершенно невероятная наполненность жизни событиями. Даже если ты приезжала к ней спустя полгода, самое страшное было, что она сейчас тебя посадит за стол и спросит: ну, что у тебя происходит? И ты понимаешь: что бы у тебя ни произошло за полгода, это будет один шаг по сравнению с тем километровым путём, который она за это время проделала. Невозможно было ее догнать.

Галя: Да. Догнать ее нельзя. Она была как спутник на орбите. Без конца, без остановки.

Саша: И даже когда я ездила, там, с киноэкспедициями и работала в кино и каждый день что-то происходило, всё равно этого было недостаточно. Потому что с точки зрения бабушки я должна была работать на четырех проектах одновременно, с шестью режиссерами иметь дело, желательно параллельно шить платья и сажать кусты. «Ты только на одном фильме работаешь? Всего лишь двадцать три часа в сутки? А что читаешь? Почему так

мало?»

Галя: Вот нас с Вовкой, слава богу, по поводу чтения мама не тревожила.

Алиса: Нас тревожила.

Галя: Она нас очень рано научила получать удовольствие от этого процесса. Мама была человеком действия.

Саша: Регалии ей тоже были важны. Но они были показателем достижений. Точкой, на которой нельзя останавливаться.

Галя: Я помню, как она расстраивалась, что Вовочка пошел работать на какой-то сериал, написал сценарий сериала. У неё была личная трагедия. Она говорила: «Это ужасно – он скатился до сериалов». То есть предал большое кино. Я ей говорю: «Мам, а работать, а кормить семью?»

Саша: А главное, что это было в период, в который и я тогда попала, когда кино не снимали. Вообще. Хорошо, что были сериалы. На них можно было заработать, связи создать какие-то, наработать руку. Фильмов не было. Но бабушка не могла этого признать. «А с каким режиссером ты сейчас работаешь?» – С таким-то. – «Почему-то я его не знаю».

Галя: Она в этот момент уже, в общем, отошла от кинопроизводства, только преподавала.

Саша: И не понимала, что вдруг что-то ушло, уплыло куда-то. Потом, вроде, снова возобновилось. Но это новое кино она уже в себя не впустила. Не понимала: «Как это так, когда я уходила – был порядок».

Галя: «Почему без меня всё расстроилось».

Саша: Да-да, она именно так это воспринимала. Не что в принципе вообще, а без неё. Что какие-то люди после ее ухода всё разбазарили.

Галя: Я помню, как она тяжело уходила с Курсов. Уходила, потому что уже не могла читать сценарии: теряла зрение. Даже тексты своих лекций, которые вообще-то знала наизусть, но перед каждой лекцией просматривала заново, теперь прочесть не могла.

Саша: И слух теряла. Говорила мне: «Они задают вопросы, а я не слышу, что они говорят».

Галя: И только благодаря тебе, Алик, она плавала, потому что ты суфлировал. Говорила мне: «Я понимаю, что надо уходить. Но… не понимаю». И вот в тот момент я очень хорошо уяснила, как для неё важно было, чтобы в ней нуждались. Это был краеугольный камень. Я ей говорила: «Мам, ну, а может, ты будешь просто консультировать частным образом – пришел к тебе человек, ты ему посоветовала, объяснила». – «Нет, я до этого опускаться не хочу». – «А что здесь такого?! Учишь ты их двадцать

пять сразу или одного – какая разница?» – «Нет, так нельзя». Понять я этого так и не смогла. Простите.

Саша: Ну, это как, знаешь, быть столпом мироздания и понимать, что без столпа всё рухнет.

Галя: А еще она боялась уйти с Курсов, потому что очень боялась, Алик, тебя подвести.

Володя: Я бы хотел что-нибудь еще прибавить. Рассказать что-то конкретное. Но я не умею так.

Галя: Вся история состоит в том, что, когда мы были маленькие, наша жизнь была ровная и спокойная. Наше окружение – сценаристы, режиссеры, редакторы – воспринималось нами абсолютно естественно: другого не знали. Вот мы в этом живем. У нас хорошие родители, они друг друга не бьют, они не пьют, если и ссорятся – то не при нас, правда?

Володя: Правда. Хотя папа-то выпивал!

Галя: Выпивал, но не был алкоголиком. Всё-таки его автомобиль очень сильно сдерживал. У нас была хорошая, спокойная, ровная, как стол, жизнь. Без особенных коллизий. Ну, конечно, были и они, когда бабушка, мамина мама, умирала, рак у неё был, – но мы тоже как-то все объединились, потом Тося, папина мама, моя другая бабушка, тоже мы вместе держались. Но это проходило, а дальше опять всё ровно. После этого случилась наша взрослая жизнь, и каждый пошел своим путём. А мама осталась, как линкор, пилить вперед. И мы созванивались. Довольно нечасто, может, раз в десять дней, да?

Володя: Что-то такое, да.

Галя: «Ну, ты как?» – «Всё нормально. А у тебя?» – «Всё хорошо». И наши жизни шли параллельно. Не очень сильно пересекаясь. Кроме, конечно, узловых моментов. И в какой-то момент, когда мама стала стареть, она начала нуждаться – прежде всего во мне. Она Вовку отодвинула. Знаешь, почему? Потому что он мужчина, а она не могла позволить показать себя с некрасивой стороны мужчине. А Вовка был один из самых главных мужчин в её жизни. Любимый сын. А с дочерью можно было всё-таки быть более откровенной. Именно поэтому Вова был отодвинут, я была призвана. И мы стали с мамой всё ближе, ближе, ближе. Мы ведь с ней были довольно далеки долгое время. И именно под конец мы с ней очень сблизились, и я многие стороны ее жизни узнала, когда она стала уже о них сама забывать. Вот так это было. Она ведь не открывалась никому. Она мало нам рассказывала о своей жизни, о том, как она встретила свою первую любовь, например, – мы ничего этого не знали. Знали как факт – ну, был вот такой. Она с нами не делилась и никогда не давала эту грань переступить. И когда мы робко

пытались – она делала такой жест, поднимала палец и говорила: «Я тебе не подружка».

Саша: Угу.

Володя: Да. *(Смеётся.)*

Галя: И нужно было тут же отойти. Мы нашу маму как человека глубоко-то не знали. Она не пускала нас.

Алиса: Да-да: «я тебе не подружка».

Галя: Она нас любила, всё было для нас, но при этом мы не должны были мешать работе, не должны были мешать общению с друзьями. Согласись, Вов, это было так.

Володя: Да, пожалуй, так.

Галя: Но при этом никогда не отказывалась нам помочь, если было что-то нужно. Мы росли настолько самостоятельными… Единственный раз меня мама отвела в какой-то кружок, еще до школы – в старый Дом кино рисовать. А тебя единственное, куда отвели, – на фигурное катание. Где ты пробыл два урока и был признан профнепригодным. А дальше мы всё сами. В школу меня первого сентября родители отвели – дальше меня Вовка водил. На все кружки мы сами себя записывали. Но нам никогда не на что было обижаться.

Володя: Я, пожалуй, тоже никогда не воспринимал это как повод для обиды.

Галя: У нас была хорошая, ровная, человеческая жизнь. Нормальное человеческое детство. Без истерик, без захлёбов.

Саша: Потому что не было несправедливости.

Галя: Да-да. Чтобы одного ребенка чморили, а другого наоборот. А у девочек моих для любви было много людей. Я их очень любила, другая бабушка с ними сюсюкалась.

Саша: Действительно, можно озлобиться, когда тебя не любят со всех сторон в семье. А когда здесь очень много любви, здесь очень много любви, а этот человек играет вот такую роль… Она воспитывала нас не свитерами и пирожками. Она по-другому нас любила, не за то, что мы у неё есть, а любила за поступки, за проявления, за слова, за интересы. Она от нас требовала то, чего не требовали другие. Но очень интеллигентно. Без переборов. То есть, если ты, не знаю, напишешь сценарий, бабушка будет в восторге. Но если нет – ее любовь не сделается меньше, она не будет ругать, как-то унижать.

Галя: Унижать – никогда. Никогда. Унижение и мама – абсолютно две несовместные вещи. Она и при нас никогда не унизила никого.

Саша: Самое страшное обзывательство было «дурочка».

Галя: «Дурочка», да!

Саша: И еще второе было: «Зачем ты спрашиваешь очевидные

вещи?» Это она тоже очень не любила. Допустим, прийти к ней домой и спросить, а где лежит то-то? «Зачем ты спрашиваешь очевидные вещи? Можно взять и поискать». И это не обижало – это воспитывало. Она как-то ухитрялась это так делать… Может, если бы мы попытались перенять эту манеру, у нас бы ни фига не получилось.

Галя: Нет. Мы другие. Она – космос. А мы… Разные планеты.

Саша: Я не раз видела интервью детей или внуков известных, монументальных людей. И среди них много обиженных. «Он весь был там. Мы для него были просто тапки в доме». А бабушка была уникальна. Она, ухитряясь не раздавать поцелуи и объятья, обволакивала, как устрица песчинку. Вот она из нас жемчужины создала. Мы попали в ее пространство, втиснулись, щекотали и, вероятно, раздражали в чём-то, но она не пыталась от нас избавиться, как от помехи, а обволакивала своим теплом, умом, интеллектом и тем самым превращала в жемчужины – каждая разного размера и цвета. И все – её. Мне от неё досталась… Как это определить? Я себе обязательно ставлю задачи дня. И не успокоюсь, если не выполню. Пишу себе списки дел и не могу заснуть, если понимаю, что недоделала хотя бы один пункт. Хотя я ленивая просто до умопомрачения. Но эта требовательность к себе, которая переходит в требовательность к окружающим, – мне кажется, это от неё.

Галя: А между прочим, и я ленивая. Вовк, ты ленивый?

Володя: Да!

Алиса: Мы все ленивые.

Галя: И это на самом деле – мама. Потому что она мне всегда говорила: «Я страшно, патологически ленива. Именно поэтому ставлю себе задачу и не разрешаю себе ее не выполнить. Потому что если я не сделаю одно, на следующий день я не сделаю два, потом не сделаю три, а потом скажу „гори оно всё огнём“».

Саша: Вот я такая же.

Галя: А в Алиске я знаю, что есть от мамы. Повышенное желание найти справедливость. Вот это Алиса. И мама точно так же… всюду грудью: «Он тебя обидел? Он неправ. Я пойду разбираться!» Это Алиса.

АЛИСА (*помолчав*): Да.

Саша: А еще у меня от неё это желание всё облагородить, обуютить. Любимое ее выражение: «чтобы было уютно».

Галя: «Уютно», да.

Саша: И аккуратно. Вот это – бабушка. И порядок. Порядок должен быть даже там, где не видно. Если открыть шкаф – там должен быть полный порядок.

Галя: Я и в себе это чувствую. Вот ты едешь в поезде, ты

поселился в купе. Первое, что ты делаешь, – на столик положить салфеточку.

Саша: Я очень это почувствовала, когда мы въехали в тот дом в Княжево. Темный, сырой, пустой внутри, абсолютно заброшенный, покосившийся, и бабушка села посреди этого дома на развaленный какой-то стул – совершенно кинематографическая картина! – там стоял большой шкаф платяной, а в нем была куча какого-то тряпья. Она достала что-то пестрое и начала на руках заметывать, зашивать краешек. Я говорю: «Ты чего?» – «Занавесочку делаю». – «Зачем?» – «Чтоб уютненько было». И первые дни она посвятила тому, чтобы на каждое окошко повесить из разных тканей сделанные занавески. А там была классическая пятистенка – здесь три окна, на кухне, и вот на каждое окошко она повесила занавеску. Это делалось первым пунктом программы. Пол скрипел, проваливался, не на все доски можно наступать, но – занавесочки. И это в меня вошло. Ты не свинья, ты человек, вокруг тебя должно быть аккуратно, уютно и красиво.

Галя: Это вообще было ее правило: женщина должна приносить с собой уют. Даже если ты на одну ночь тут.

Саша: А еще ее правило: как бы плохо себя ни чувствовала, ты, вставая, должна убрать кровать. Застелить постель. Плохо тебе, тошно, собираешься ты в ней валяться… неважно: ты встала и должна аккуратно застелить постель.

Галя: Ну, мне она это не привила.

Саша: А мне – да. Ты знаешь. Я каждый день застилаю.

Галя: Просто у нас с Сережей есть отдельная комната, где мы только спим. Если бы туда кто-то еще заходил, я бы, наверное, тоже застилала.

Володя: А я застилаю.

Галя: А он застилает! Вот молодец!

Саша: Когда я жила у бабушки и ранним утром уезжала на съемки, а возвращалась поздно ночью, чтобы поспать от силы два часа, я застилала эту постель каждое утро. Я могла не позавтракать, но застилала ее. У меня было ощущение, что стены расскажут, если я не застелю.

Галя: Вот ты спрашиваешь, какая она была мама, какая бабушка. А ведь это на самом деле не важно. Важно то, что получилось в результате. А в результате получилось, что мы все выросли людьми, очень любящими друг друга. Правда, Вов?

Володя: Ну, конечно.

Галя: И, в общем, по большом счету, мы хорошие ребята. Можно было бы к чему-то в прошлом придираться: она то не сделала, другое не сделала. Но зачем? Ведь по большому счету

всё пришло к тому, что мы все очень счастливы.

Саша: Я помню, какая у меня возникла мысль в первые дни, когда бабушка умерла. Кто-то грустит, кто-то корит себя за то, что недодал ушедшему. А у меня возникла и не оставляет до сих пор мысль, что я недовзяла. Рядом со мной был настолько уникальный человек, у нее столькому можно было научиться, а я общалась к ней просто как внучка с бабушкой. Хотя с ее стороны не раз были попытки вывести наше общение на другой уровень. Но я… А теперь, когда я, видимо, доросла, меня мучает, что я о стольком не спросила, столького не узнала, столько не выслушала. Я как будто не задала ни одного вопроса. Всё, что я могла дать ей, я дала. В любой момент, когда я была нужна, я была рядом. Потому что на общении нельзя было настаивать. К сожалению. На своем присутствии в ее жизни. Звала – я сразу прибегала. Но я была всё время тем, в качестве кого она меня призывала в этот момент, и я каждый раз боялась сесть и сказать: я хочу тебя спросить… Потому что у меня было ощущение, что я буду задавать не те вопросы. Даже в своих вопросах я боялась показаться глупой. Рядом с ней было очень легко почувствовать себя глупым человеком.

Галя: И это невзирая на такой тренинг, как ваш отец.

Саша: И всё равно: ты рядом с ней недостаточно красноречив, у тебя жалкий словарный запас, ты задаешь не те вопросы, не про то и не так, не можешь оперировать какими-то датами, какими-то фактами. Мне всё казалось: если я задам вопрос, она задаст мне вопрос в ответ – и я не отвечу. И я не спрашивала. Я боялась. И теперь я так жалею. Я упустила возможность научиться тому, чему меня вряд ли кто-то еще научит. Но, может быть… она меня учит изнутри.

Галя: Я тоже жалею, что о многом не спросила. Но это многое связано скорее с историей семьи. Есть такие моменты в истории наших предков, которые нам с Вовкой неизвестны или непонятны. Не узнали, не спросили вовремя. А потом, когда я уже начала спрашивать, мама говорит: «А я не помню».

Саша: А есть свойства, которые она очень хотела в нас вложить, но так и не смогла. Например, уважение к вещам. К мелочам. К семейным реликвиям. Она придавала этому большое значение и могла пользоваться какой-нибудь вещью, только если она в пух и прах не рассыпается, и всегда нас осуждала: «А зачем вы купили новое, у вас же есть хорошее?» – «Ну, мы хотим новое, красивое». – «Но у вас же это есть». И вот этого она не смогла в нас вбить.

Галя: Хотя уже после того, как она ушла, у нас вдруг начались сюсюканья над какими-то вещами: ах, вот это я помню из

детства… Вот Вовка не даст соврать.

Саша: Но эти вещи – они у неё хранились. Мы их все сейчас понемножку разобрали – и как будто бы через нас она продолжает их ценить и любить. В нас не было это вложено. Но мы приняли это как эстафету.

Алиса: Мы ценим вещи, которые она ценила.

Саша: Да. Мы уважаем ее отношение к этим вещам и не можем предать – предать не столько вещи, сколько ее отношение к этим вещам.

Галя: Это именно эстафета. Правда.

Саша: И мы будем дальше хранить, не потому, что мы испытываем к ним какое-то невероятное уважение, а потому, что была она и она эти вещи уважала.

Галя: Вот, наверное, поэтому у меня сейчас и началось: ой, надо будет туда сходить, к этому сходить, ах, боже мой, на мне все эти могилы теперь и все эти кладбища.

Саша: Потому что это надо не тебе, а это надо было ей.

Галя: Да.

Саша: И вот это уважение мы, да, переняли. Потому что это делалось настолько ответственно с ее стороны, настолько четко, обязательно, что невозможно допустить, что может быть как-то иначе. Что можно предать этот порядок. Может, и она это переняла в своё время от старших, но мне казалось, ее установки по отношению к жизни, к себе, к нам – уникальны. Они ею рождены, ею прожиты, и мы уже воспринимали это как ее порядок.

Галя: Мы с Вовкой помним какие-то вещи, которые были завязаны на бабушке, на Эмме. И что-то мама от них переняла, приняла эту эстафету.

Саша: Но вот послушать наших других бабушку с дедушкой – вот они перенимателя были. А она тянула какое-то своё.

Галя: Никогда не уточнялось, от кого это шло. Неважно, какими путями пришло. Просто было понятие: надо. Это надо сделать.

Владимир Громов

Кинодраматург, редактор, преподаватель кинодраматургии, автор сценариев фильмов «Городской пейзаж», «ВМаяковский», телесериала «Версия».

Внук Л. В. Голубкиной.

Рассказать о бабушке… Что я помню… Почему-то вспоминается, как мы долго ловим машину на Плющихе и ни одна не останавливается. Бабушка нервничает. В конце концов, мы пешком доходим до Садового кольца, и там удается найти какое-то такси. Куда мы поехали, сказать не могу, ведь мне тогда было лет шесть-семь. Или рассказать о том, как мы играли в бабушкиной комнате в китайских фарфоровых человечков? Да, у неё всегда на полке среди разных сувениров, привезенных из заграничных командировок, стояли девять фарфоровых старичков в национальных китайских костюмах. Все разные, все необычные. Иногда, когда у бабушки было время, она приглашала меня к себе. Аккуратно ставила старичков на стол и принималась рассказывать какие-то истории, которые происходили с ними. Главного старичка звали Ду Фу, и он постоянно втравлял всю свою компанию в какие-то приключения. Мне всегда было безумно интересно, и я просил о новой сказке со старичками каждый раз, когда видел, что бабушка не занята. Самому брать фарфоровые фигурки строго воспрещалось, но как-то я нарушил запрет и отколол от одного из старичков большой кусок. Бабушка ужасно расстроилась и больше со мной в них не играла. Так они и стоят у неё в шкафу в аэропортовской квартире. Кажется, я лет тридцать их не трогал. Что еще вспомнить… Лето. Я живу с бабушкой на даче у одной из ее подруг. Бабушка меня постоянно воспитывает, говорит, что «посади свинью за стол, а она ноги на стол». Мне эта поговорка кажется безумно смешной, и однажды, ожидая, когда бабушка придет к обеду, я и впрямь закидываю ноги на стол. Мне кажется, она поймет мою шутку и будет веселиться вместе со мной. Бабушки долго нет, становится уже скучно, наконец, она появляется и страшно на меня злится. «Это что такое?! Как так можно?!» – кричит она суровым голосом. Кричала она всегда не сильно, но очень неприятно. Я тогда ужасно расстроился, так расстроился, что до сих пор это помню.

Я не понимаю, как устроена наша память. Она упорно фиксирует не то, что нам нужно, а что-то случайное, иногда бессмысленное. Мне бы хотелось помнить, как я с бабушкой путешествовал, как мы с ней прожили вдвоём целый месяц в

Латвии, в Апшуциемсе. Это был 1986 год. Но я не помню. Не помню ни места, ни наших разговоров, ни того, что она делала. Лишь отдельные картинки, да и то иногда кажется, что я себе их придумал, а на самом деле всё было иначе. Много раз мы ездили в Дома творчества кинематографистов – в Болшево, в Репино. И сейчас я могу в подробностях рассказать о том, как они были устроены, какие там были столовые, кинозалы, как выглядел Финский залив и какой была Клязьма. Но бабушка… Где-то она затерялась.

Иногда я думаю, что наши отношения стали подлинными, когда я повзрослел, поступил на сценарный факультет ВГИКа. Бабушка никогда не говорила, что я там должен учиться. Но вот после школы и неудачной попытки стать историком у меня стали появляться рассказы. Как-то случайно зашел разговор о том, почему бы не сходить во ВГИК. Там как раз были подготовительные курсы. Я безо всякого энтузиазма и любопытства пошел на них и в первые же десять минут в аудитории понял, что оказался на своем месте. Бабушка ничего тогда не сказала, но, конечно, она позвонила кому надо и очень за меня переживала во время поступления. Я тогда жил у неё. Приходил вечером после экзаменов домой, а она мне уже говорила результаты, раньше, чем их вывешивали в холле института: «У тебя оценка восемь за этюд» или: «У тебя четыре за сочинение». Сейчас об этом как-то неловко вспоминать, хотя письменные экзамены сдавались анонимно и вступительные работы у меня были вполне приличные, да и учился я потом хорошо. Но я понимаю, что дело было не в блате и знакомствах. Она просто действительно хотела, чтобы я учился, и хорошо бы на сценарном факультете.

Уже потом она мне рассказала, как и сама туда пошла в моем возрасте. Дело было в 1952 году, и ей выпало поступать в мастерскую Евгения Габриловича. Габрилович был на тот момент одним из главных сценаристов Советского Союза, влиятельным и важным человеком. Бабушке он казался глубоким стариком, хотя ему на тот момент было чуть за пятьдесят. Возможно, он бы не обратил внимание на какую-то девушку, которая собралась стать сценаристкой, но и у бабушки была поддержка. Габрилович знал, что она дочь Владимира Луговского. Не знаю, насколько это помогло, но бабушка поступила. И смотрелась среди своих однокурсников, которые были по большей части вчерашними фронтовиками, зрелыми людьми, уже многое повидавшими, необычно. Но училась хорошо и в отличие от большинства однокурсников осталась в кино навсегда.

Когда мы говорили об этом, она всегда с юмором объясняла,

что мир кино ужасно тесен. В нём все знают друг друга, хотя бы немножко. То, что в этом мире дети и внуки зачастую наследуют профессии родителей, как кожевники и кузнецы в средневековых цехах, мы не обсуждали, но я хорошо помню, как на одном из киномероприятий вскоре после моего поступления она меня представила кому-то и с гордостью сказала: «Это мой внук Володя, вгиковец, первый курс». И я тогда понял, как же она за меня рада.

Да, у нас были очень серьезные, порой рабочие отношения после того, как я вступил в цех. Я давал ей свои сценарии, даже этюды. Мы их разбирали, она всегда их жестко, но тактично критиковала, объясняла массу вещей, говорила, как следует писать сцены, какими должны быть ремарки, каким может быть герой. Или давала советы, которые сейчас кажутся бесценными. Например, говорила: «Если тебе надо разобрать чужой текст, никогда не начинай с критики. Сначала скажи тому, кто написал, что ты там видишь хорошего, даже если ничего хорошего там нет. Надо уважать чужие усилия и чужое творчество. И только с этой позиции можно критиковать». Я работал с ней как с редактором на одном своем фильме, наблюдал, как она смотрит материал и подмечает массу вещей, на которые бы я никогда не обратил внимания. Например, на то, как персонаж в кадре пошел. Или она сразу видела, что одна сцена в чем-то повторяет другую и ее можно вырезать.

Я многому научился, но снова думаю о том, что помню. И понимаю, что все эти работы, разговоры не были главным в наших отношениях. Вернее, не так. Это была часть отношений. Благодаря кино мы могли дружить, общаться на равных, вместе думать, что не так уж плохо для бабушки и внука. И когда ты можешь дружить со своей бабушкой, то узнаёшь много того, о чём никогда бы не узнал. Но все-таки над всем этим стояло доверие, невероятная близость, которая началась с моего рождения. Мы откровенно говорили обо всём, о том, чего она никогда бы никому не сказала.

Например, бабушка со мной говорила о своих походах в церковь. Церковь как-то незаметно вдруг стала важнейшей частью ее жизни. Бабушка была членом КПСС, вполне органично жила внутри советского государства, хотя всегда была против конъюнктуры и никогда не рвала отношений с людьми, считавшимися неблагонадежными и даже отверженными. Но все-таки в бабушкиной жизни во второй половине 80-х годов начался новый период. Сначала были болезни. В 1988 году ей сделали тяжелую операцию на почках. Через год пережила инфаркт. После всего этого согласилась стать директором Высших курсов. И вот

крестилась, стала честно и методично соблюдать церковные правила, хотя назвать ее церковным человеком я бы не смог. Она говорила о священниках, службах, таинствах. Однажды призналась, что сказала священнику на исповеди: «Знаете, я себя не люблю». Я тогда не спросил, почему она так сказала, хотя ведь и так знал.

Я знал, что бабушка была человеком жестким, раздражительным, порой высокомерным. Многое ей не нравилось, многие люди ее выводили из себя. А многого она вовсе не понимала. Большинство фильмов, которые сейчас популярны, она не могла досмотреть до конца. Немалую часть сценариев и студенческих работ читала через силу. Ей был неприятен нынешний мир во всех его проявлениях. Она старалась этого не показывать. Не показывала, как тяготят и утомляют ее люди, как она устала, как ее мучает, что почти все, с кем она могла поговорить об этом, уже умерли или находятся далеко. Она хотела закрыться, не видеть и не слышать того, что ее постоянно раздражало и злило. И странным образом последние десять лет она постепенно стала терять зрение и слух.

При этом она безумно любила студентов и свою мастерскую. Как бы ни было тяжело, как бы она себя ни чувствовала, она шла на занятия, хотя в последние годы ей не помогал даже слуховой аппарат, и студентам приходилось читать свои этюды в микрофон с усилителем. Я знал, что как только она окончательно выйдет на пенсию, то вскоре уйдет. Так и оказалось, хотя уход растянулся на четыре года.

Когда бабушка говорила о том, что не любит себя, я понимал, о чем она. Она знала, что многое сделала не так, от многого закрылась и оставила в своей жизни нерешенным. И мне кажется, что понимаю ее с каждым годом всё больше, сам в себе обнаруживая это высокомерие, раздражительность, злость и желание спрятаться от многих нерешенных вопросов. Наверное, я унаследовал от бабушки гораздо больше, чем профессию…

Память все-таки что-то доносит, хотя и не так, как мне хотелось бы. Я помню привычки, которыми бабушка необыкновенно уютно обустраивала свою жизнь. Много лет я заставал ее за раскладыванием пасьянсов. Она знала их с дюжину и научила им и меня. «Аспид», «Аспид перевернутый», «Могила Наполеона», «Лесенка»… Бабушка раскладывала их везде, где был стол и несколько часов покоя. И будучи еще ребенком, я часами мог завороженно наблюдать за тем, как она это делает, потому что просто перекладывание карт у неё оборачивалось целым таинственным ритуалом, значительным, но при этом приносящим невероятный уют и покой. Или бабушка разгадывала кроссворды.

Она решала их бесчисленное множество, пока глаза позволяли видеть мелкие буквы в журналах. И за этим тоже можно было наблюдать бесконечно. Или книги, которые она читала вслух. У бабушки был прекрасно поставленный голос, она отлично владела интонациями, и каждая книга в ее исполнении приобретала невероятный шарм.

И ведь было много других таких мелочей. Это, что я, пожалуй, помню лучше всего. С бабушкой было уютно. Всегда, даже когда ей было тяжело и плохо. И за этим уютом скрывалось невероятное умение переживать любые тяготы и невзгоды. Кажется, ее любимой детской книгой, которую она мне читала вслух несколько раз, была «Маленькая принцесса» Фрэнсис Бёрнетт, где описывается история английской девочки, оказавшейся запертой на чердаке в страшном пансионе, после того как ее отец разорился и умер. И вот эта девочка не озлобилась ни на кого, но сохранила чувство собственного достоинства и гордость. А потом на ее чердаке чудесным образом стали появляться красивые вещи, игрушки, одежда и другие атрибуты уюта, пока не выяснилось, что ей тайно помогает компаньон покойного отца, в итоге удочеривший ее. В этой довольно наивной, как мне сейчас думается, книге было описано именно то сочетание внешнего и внутреннего мира, в котором бабушка жила. Внутри гордость, снаружи умение даже с помощью одной и нескольких вещей обустроить пространство вокруг себя и благодаря этому пережить, перетерпеть любые невзгоды.

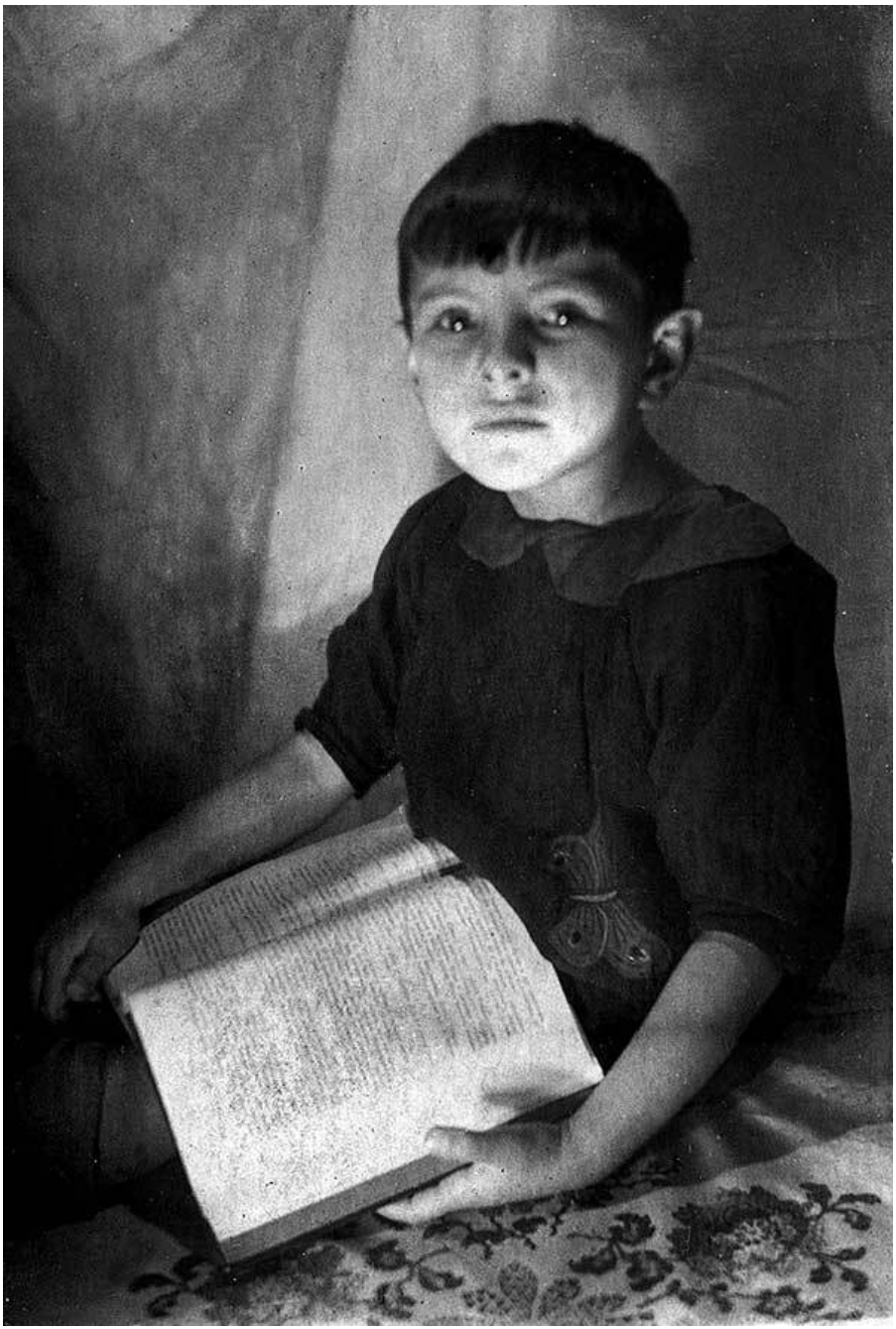
Именно это я почувствовал в ней, еще будучи совсем маленьким. Бабушка была всегда немного закрытая, отдаленная, хотя в то же время родная и теплая. И да, было кино, которое присутствовало не на уровне профессии. Это был образ жизни, чего я, конечно, в детстве не осознавал. Наша квартира наполнялась какими-то людьми, друзьями и знакомыми, умными разговорами и красивыми вещами. Вот приходят немолодые уже Семен Львович и Лилианна Зиновьевна. Кто они такие? Друзья, всего-то пара пожилых людей. Спустя годы я думал о том, что готов отдать немалую часть того, что у меня есть, только бы поговорить с ними – о кино, о сценариях, о литературе и переводах. На мой день рождения появляется огромный, как мне запомнилось, мужчина с кудрявыми волосами и грустными глазами. Дарит мне зеленую машину с большими колесами. Его забавно зовут Валера Залотуха. Потом я пойму, что это за человек. Наташа Рязанцева куда-то везет нас на машине, почему-то всё время резко тормозит и дает газу. Ехать с ней мне безумно страшно. Кто она такая… Еще одна подруга. И десятки, десятки других людей, которые почему-то к нам приходили в дом. Потом

одна из таких гостей, бывавшая у нас еще обычной студенткой, станет моим мастером во ВГИКе.

Все это сейчас кажется призраком прошлого, но ведь из этого и оказалась в итоге соткана моя жизнь.

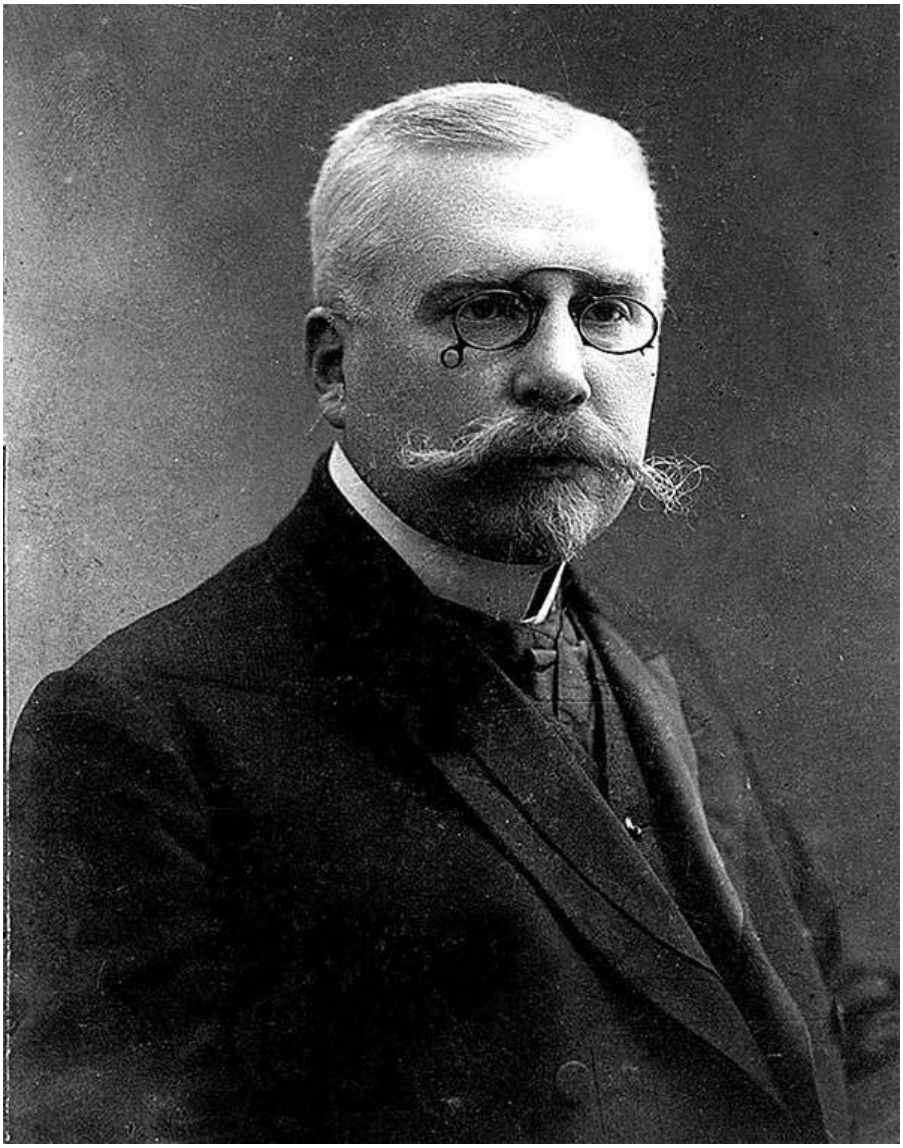
Мне кажется, память – это и есть мы сами. Неважно, что я готов рассказать или не рассказать о своей бабушке. Картины прошлого, ситуации, всё это не так уж существенно. Сейчас, когда она ушла, я иногда на долю секунды чувствую, что она живет во мне. Встречая новых людей, читая книги, смотря фильмы, я невольно спрашиваю себя, как бы она это оценила, что бы сказала. Я этого не знаю, но как будто бы и знаю. Она где-то внутри. Не было бы ее, не было бы меня. Я есть, значит, и она есть.

Фотографии





Откуда взялась в еврейской семье такая русская фамилия – Голубкины? Вроде бы предки деда проживали в знаменитом местечке Любавичи в Белоруссии.



Дед мой, Александр Федорович Луговской, преподаватель и инспектор Первой Московской гимназии, дворянин.



Девичья фамилия бабушки – Успенская. Её отец служил при Синоде.

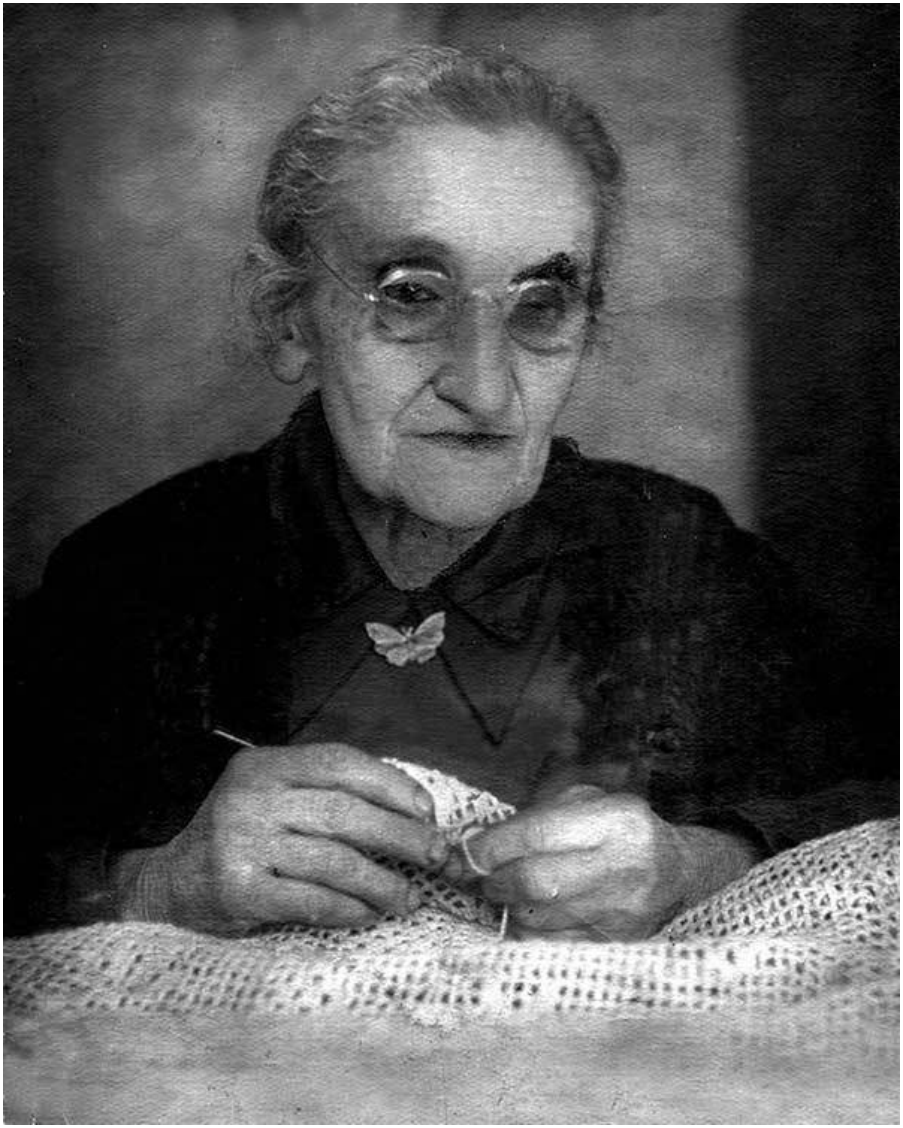


Нина, Таня и Володя Луговские.



Вероятно, деду разрешили жить в городе Белом благодаря его востребованной ремесленной профессии: он был часовщиком и

ювелиром.



Бабушка Муся Мовшевна. Что соединило этих двух столь непохожих людей?



Мама моя, Ирина Соломоновна, по метрике Рися Залмоновна, была из младших детей в семье. Она родилась в 1902 году.

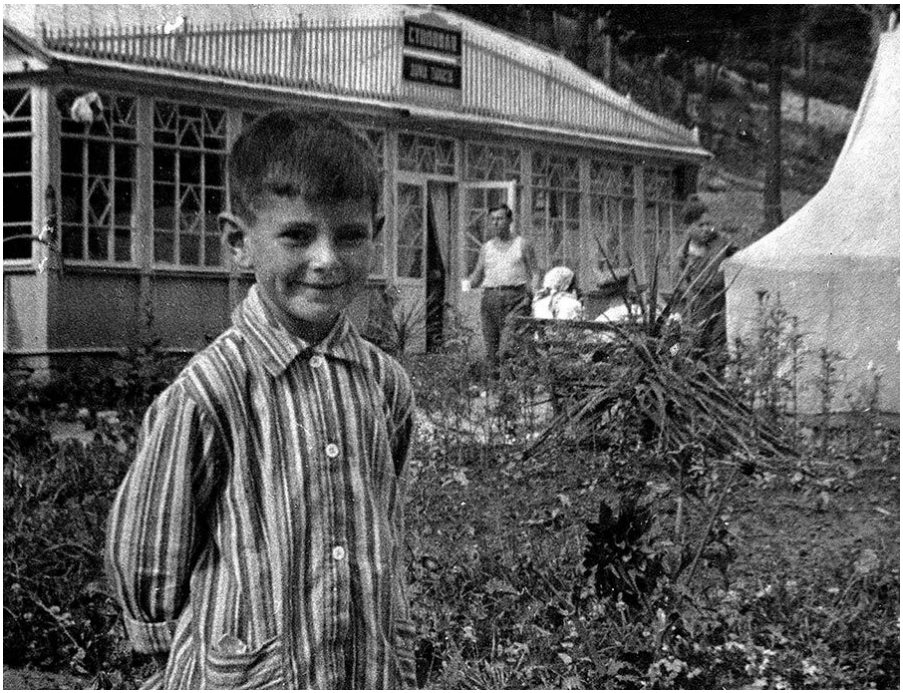


Он входил в комнату и сразу заполнял ее всю своим ростом, статью, раскатами голоса, замечательными рассказами, остроумными репликами. Как же могла моя бедная мама устоять

перед таким блестящим господином!



Моя вера в маму не знала границ. Она была для меня весь мир, надежная защита и покой.



Когда мне исполнилось четыре года, мама стала опять ездить

на туристские базы, на которых она работала.



Первый, кого я помню, – маленький ослик с мягкими губами. Помню его кроткие глаза, подвижные уши, вздрагивающую шкуру, серую, чуть стертую поклажей спину.



Мне было довольно того, что мама рядом. О других возможностях я даже не подозревала.



Навстречу плыл баркас, набитый людьми. И кто-то, перегнувшись, сложил руки рупором и крикнул нам: «Война!»



Отец не добрался до действующей армии. По дороге их эшелон разбомбили, его сильно контузило, и он вернулся в Москву больной, раздавленный, неузнаваемый.



Лёлька, Лев Селезнев, единственный сын тети Эммы, в восемнадцать неполных лет ушедший добровольцем на фронт.

СССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ

Свердловский Районный ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. Москвы

2 ЧАСТЬ

6 "11" 1944 г.

№ 2/0804

г. Москва, Кузнецкий мост, дом 6/3

Телефон: К 5-73-45

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ваш сын — ст. сержант

(муж, сын, брат, полное звание)

Селезнев Лев Сергеевич

(фамилия, имя и отчество)

уроженец г. Москва

(область, район, деревня и село)

в бою за Социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 15 марта 1944 г.

(убит, ранен и умер от ран)

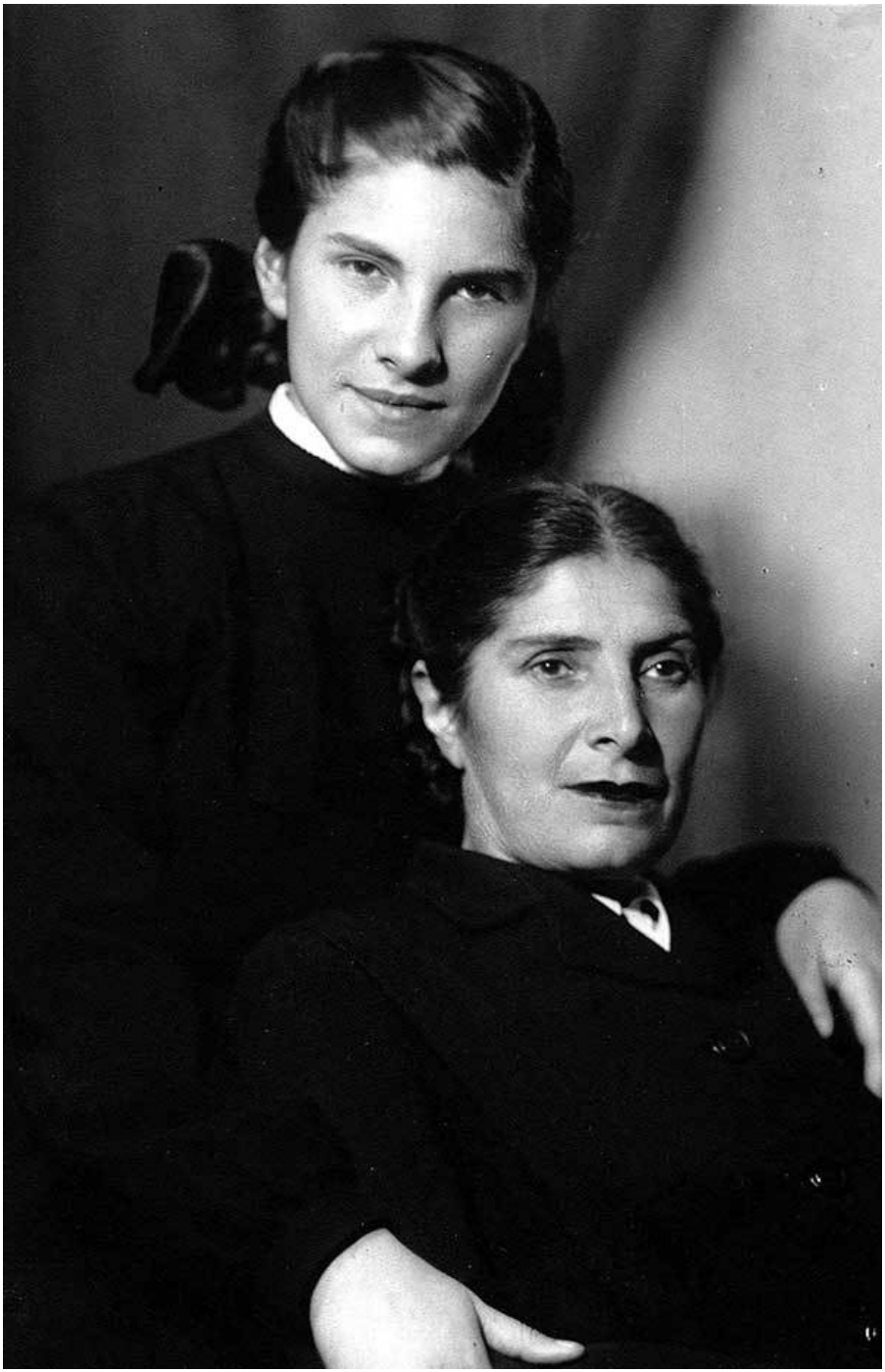
похоронен Ленингр. обл. Псковский р-н, мест. Елизарово вторая ковр. д. 37 бой 1-го кв.

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (Приказ НКО СССР № 130-41)

Свердловский Райвоенком

Начальник 2 части:

Филиал 1-й тип. Воениздата. Зак. № 1797



Мы жили в нежности и согласии. Мама ни в чём не стесняла мою самостоятельность. Она была удивительно тонким и деликатным человеком.



Обучение в те годы было раздельным. Мальчики появлялись у нас только на вечерах, когда я уже училась в старших классах.



Мне забинтовали голову, будто ее разнесло снарядом. Раненый генерал вызывал больше сочувствия, чем не желавшая

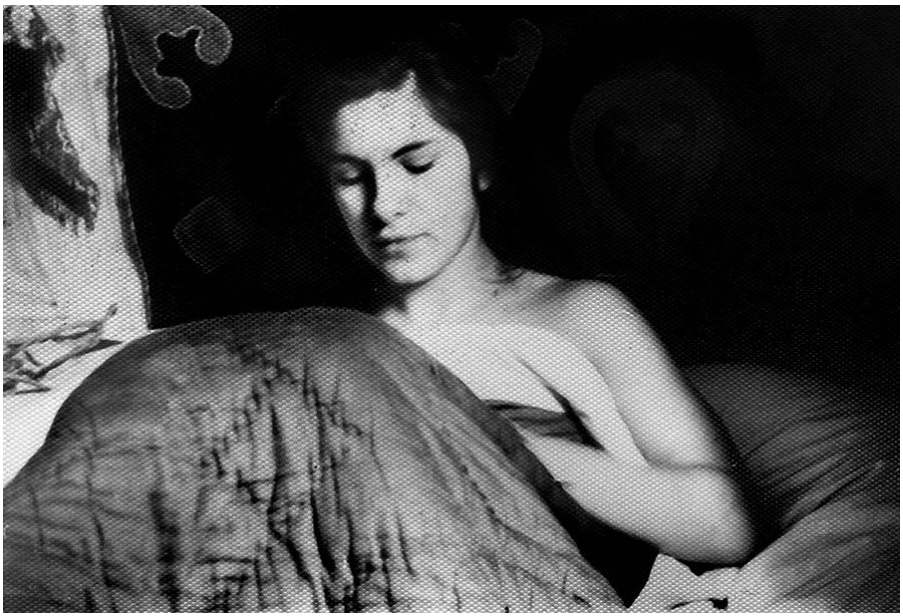
оставить его в покое Волконская.

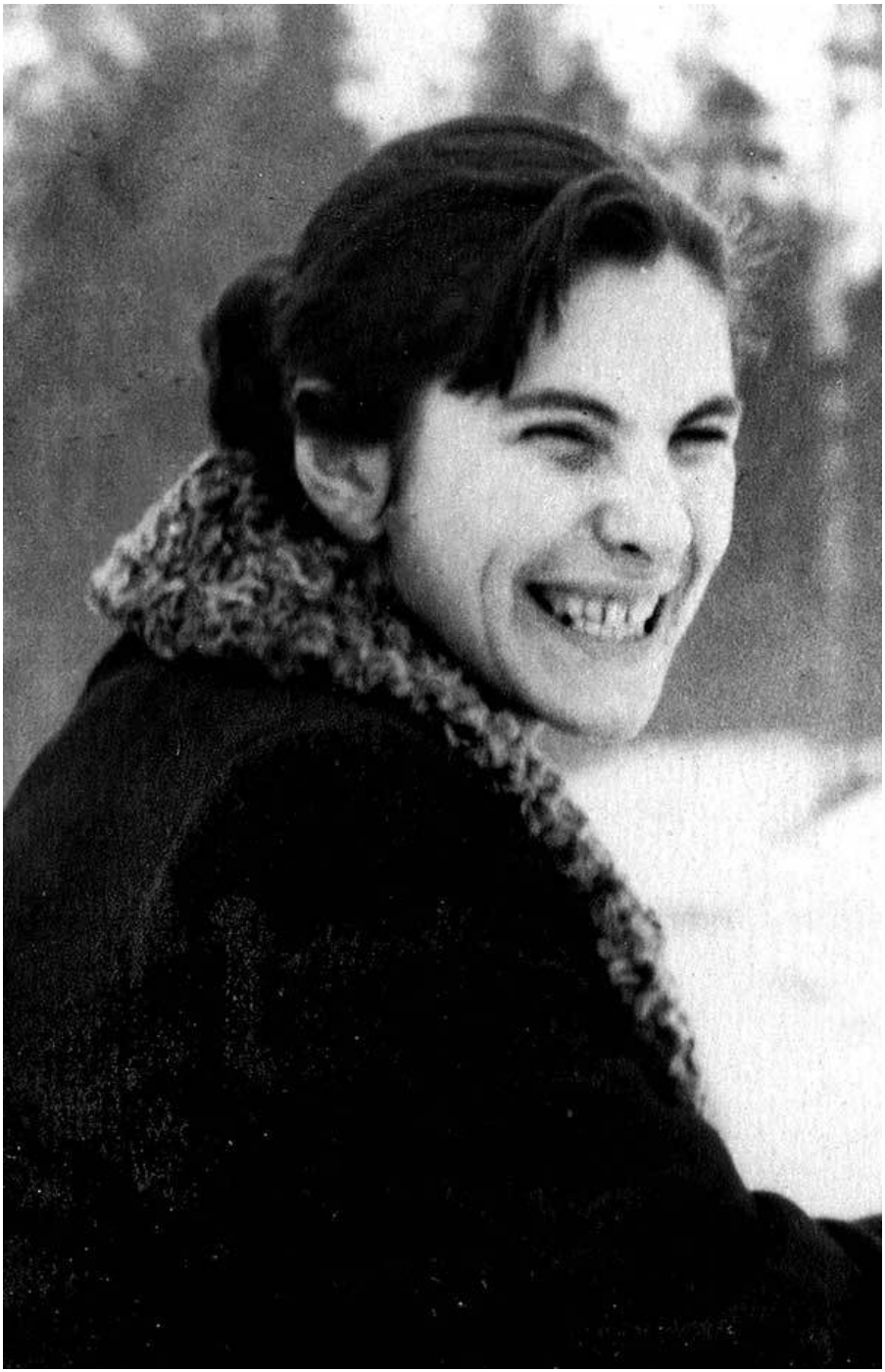


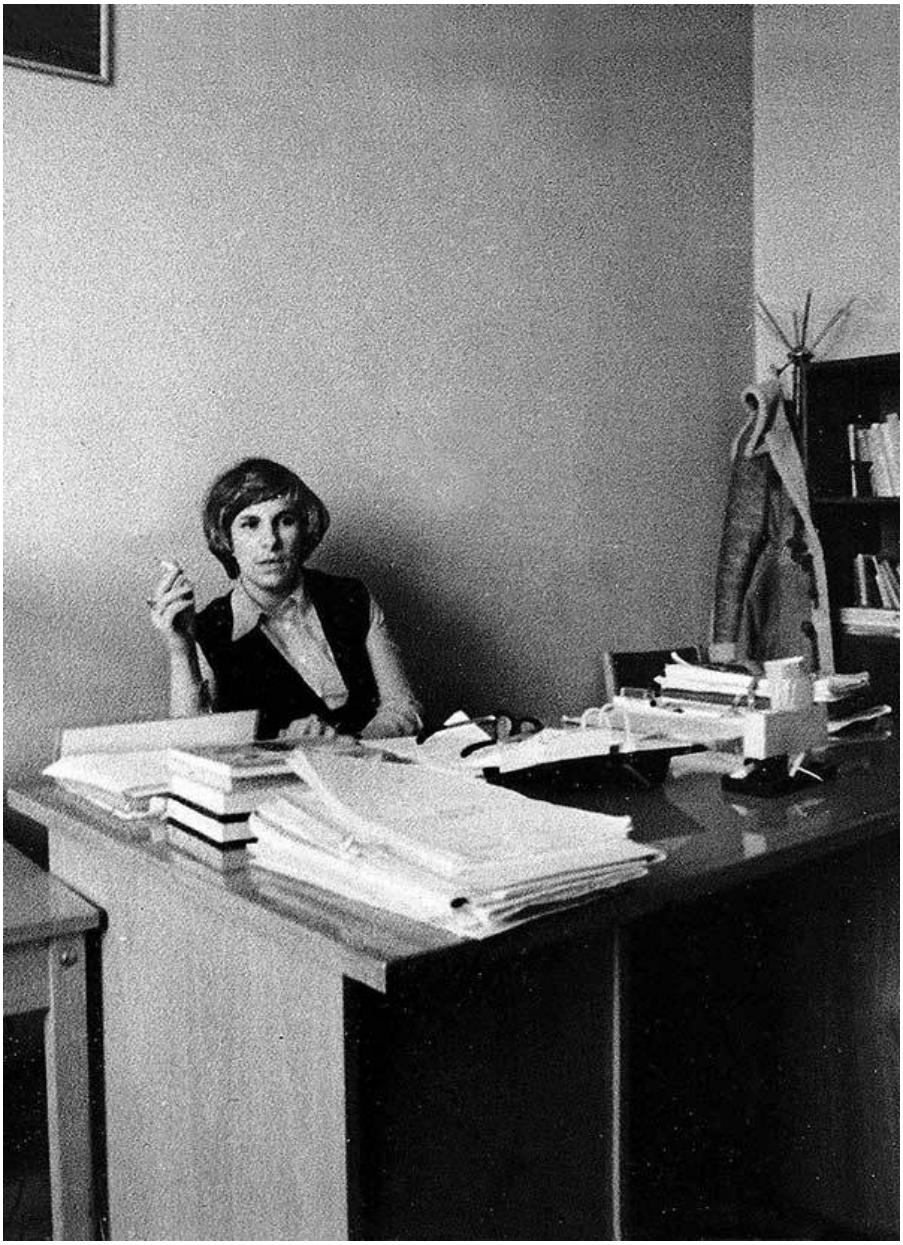
Первые годы в институте вспоминаются как сплошное счастье.

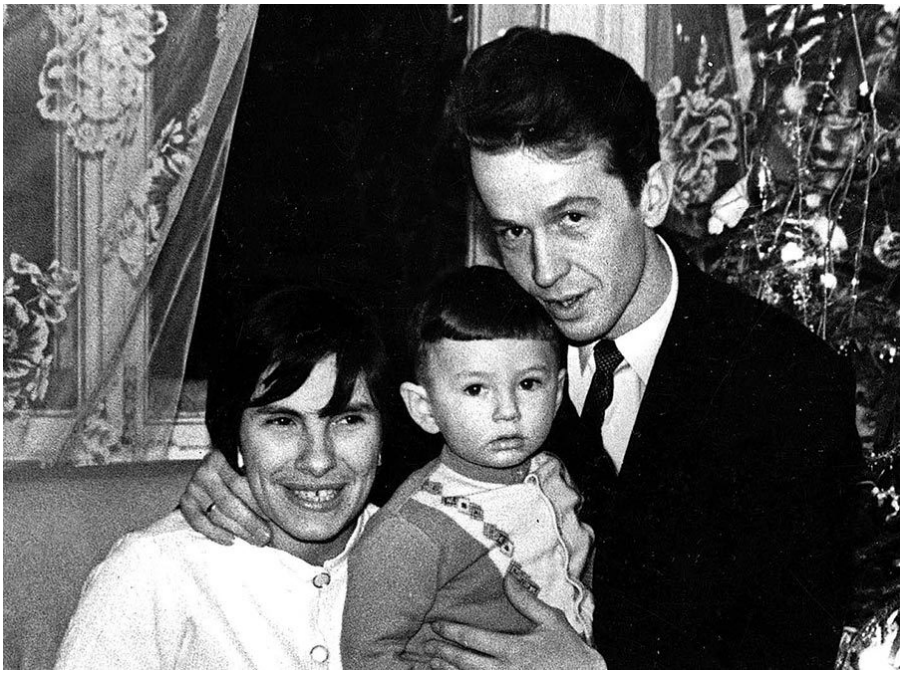








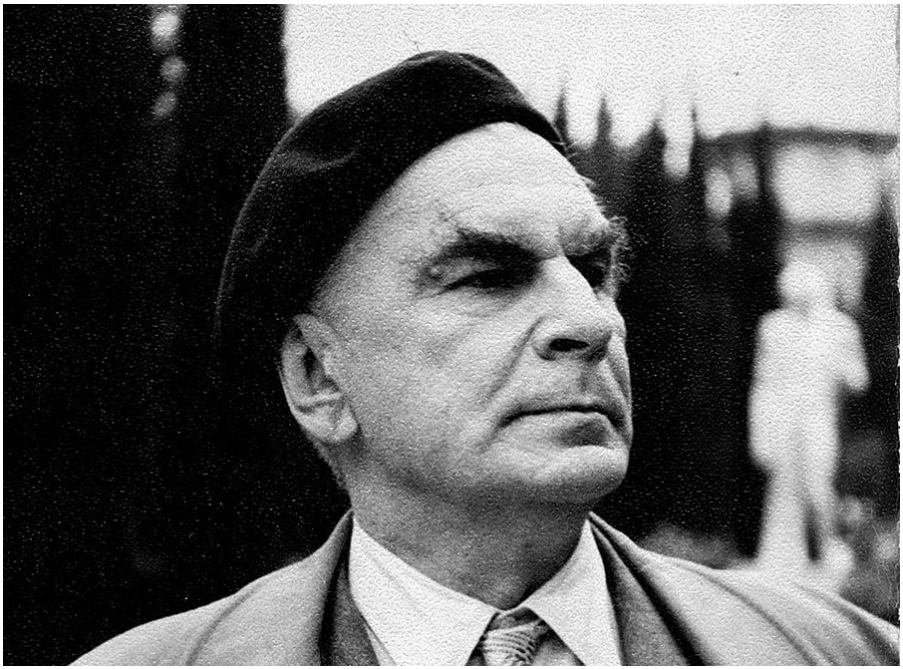




Мне хотелось, чтобы у моих детей был дом, воспоминание о котором согревало бы их долгие годы. Но опыта такого у меня не было.







Любимый, даже обожаемый, единственный. Мой отец.

Эта грусть от отца
Умной дочери досталась –
Сердце тратить без конца,
Лишь бы сердце оставалось –

– Мике в честь
небольшого эпохального
разговора

ВЛ

29/III 56

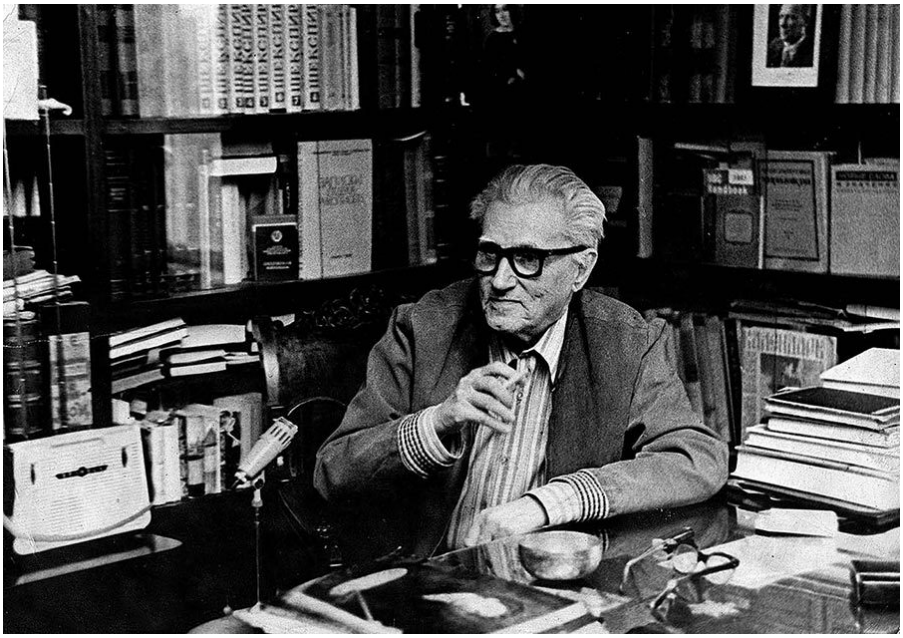


Михаил Давыдович Вольпин – из тех, встреча с которыми меняет и определяет всю дальнейшую жизнь.



Главным человеком, вокруг которого в объединении «Юность» всё жило и творилось, был Александр Григорьевич Хмелик.



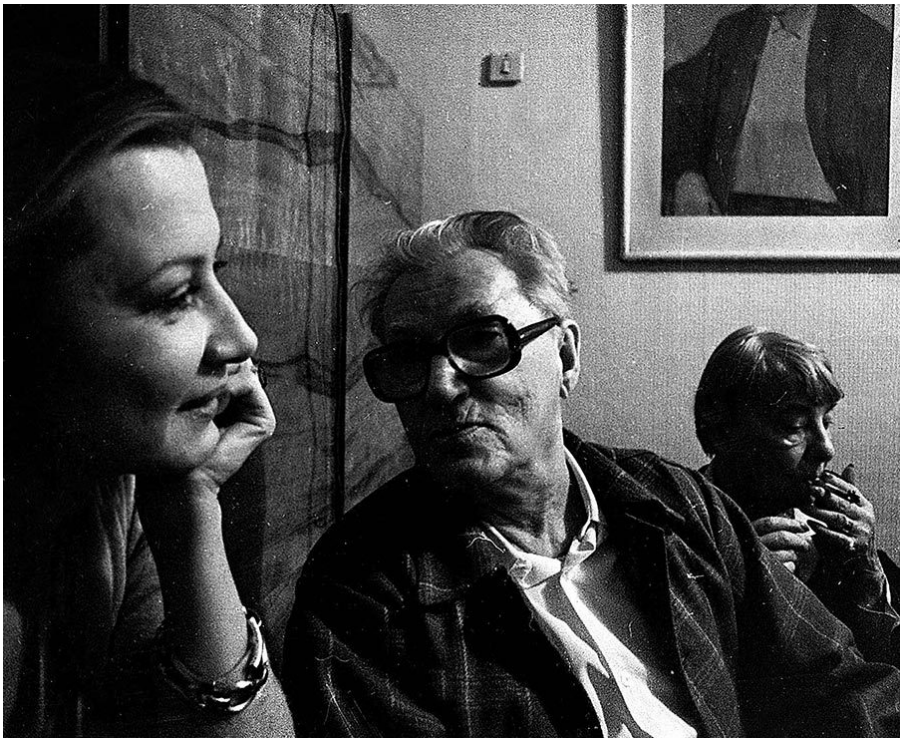


Сергей Александрович Ермолинский и Татьяна Александровна – младшая сестра моего отца – соединили свои жизни уже в очень зрелом возрасте.

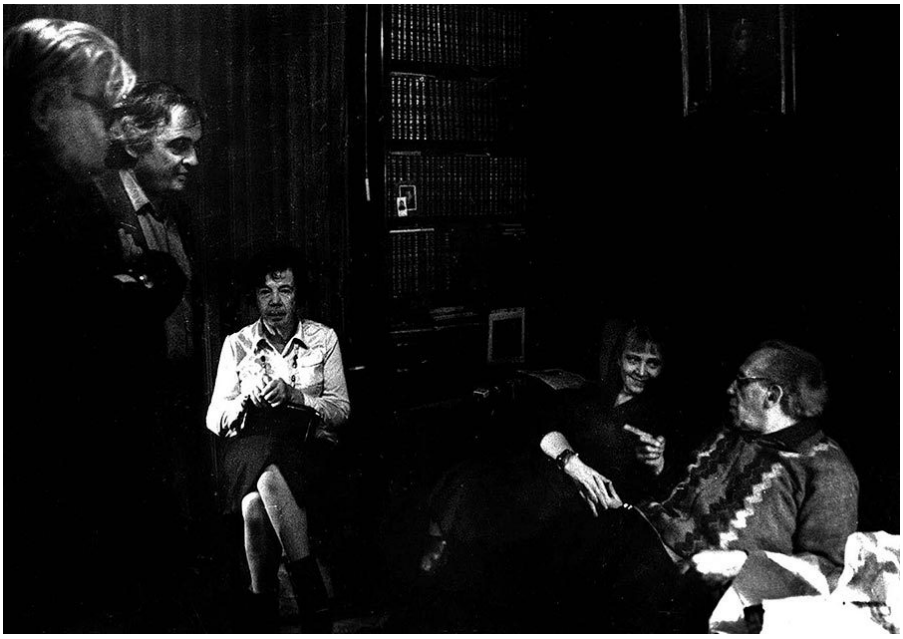




Сергей Юрский, Андрей Хржановский и Мариэтта Чудакова.



Алла Демидова и Ермолинские.



Валентин Берестов, Натан Эйдельман, Наталия Ильина, Наталья Крымова, Даниил Данин.



Дом Ермолинских сформировал мою душу. Сама атмосфера этого дома, в которой жила многовековая русская культура, традиции, которые тут сохранялись, уровень отношений – всё это определило самое главное в понимании жизни и себя в мире.



Сергей Ермолинский, Наталья Крымова, Вениамин Каверин, Сергей Юрский.





Преподаватели: Владимир Меньшов, Павел Финн, Алексей Герман, Паола Волкова, Владимир Хотиненко, Александр Гельман, Светлана Кармалита.



Курсы – одно из лучших мест на свете. Я в этом глубоко убеждена. Были и остаются. Наташа Рязанцева, моя давняя

подруга.





Ежегодные встречи в день смерти Гены Шпаликова. С Андреем Смирновым, Юлием Файтом, Ритой Синдерович, Ириной и Павлом Финнами.

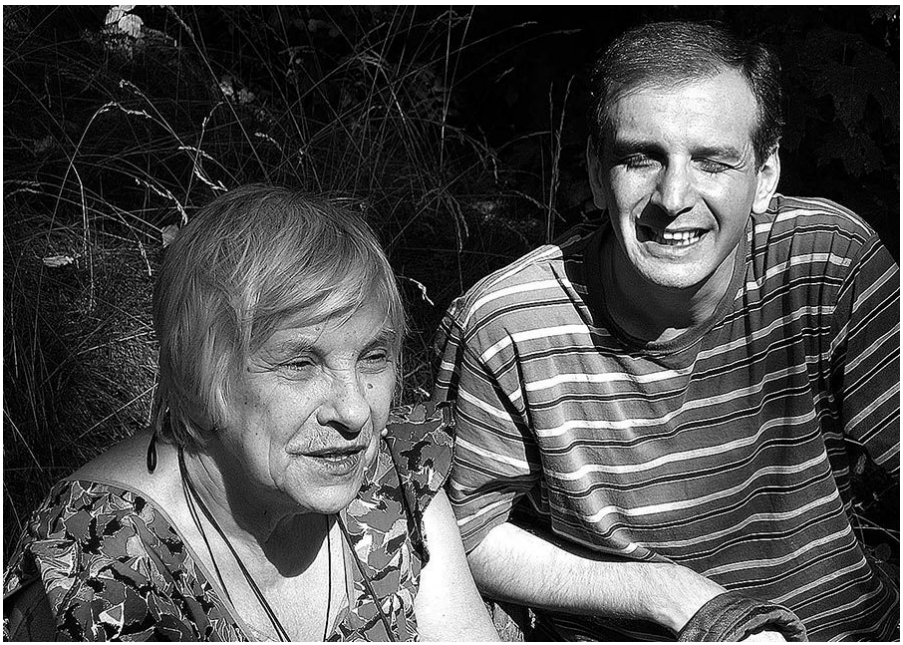


Андрюша и Маша Хржановские.



Я всегда говорила: всё, что я знаю, можно рассказать за три часа. Самое главное начинается потом. Начинается процесс,

отношения, нечто взаимное: ты откликаешься, студенты откликаются, и в этом живом процессе, если повезёт, случается мгновенье обмена, рождения мысли, ради которого только и стоит работать.



Я ушла с поста директора, но осталась на Курсах и вела сценарную мастерскую с Олегом Дорманом, который был одно время нашим с Лунгиным учеником.



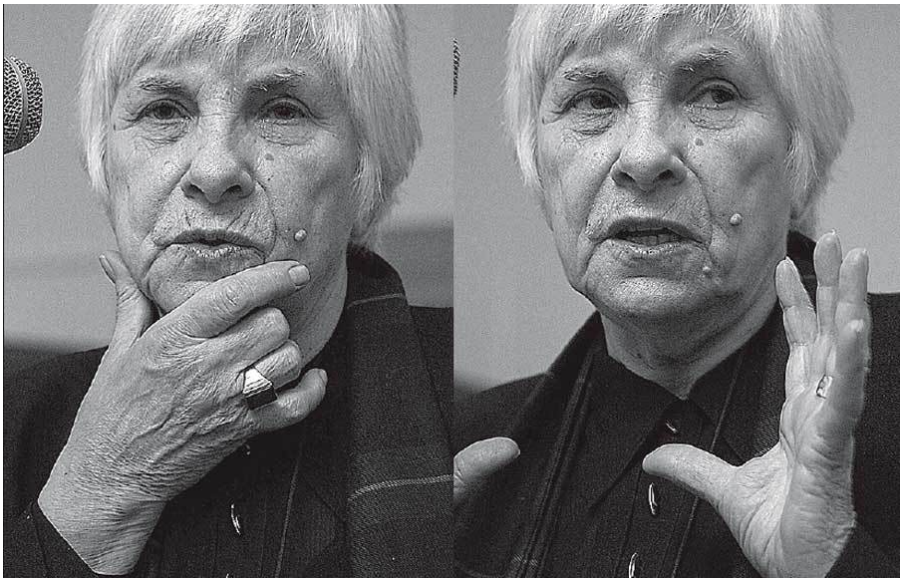


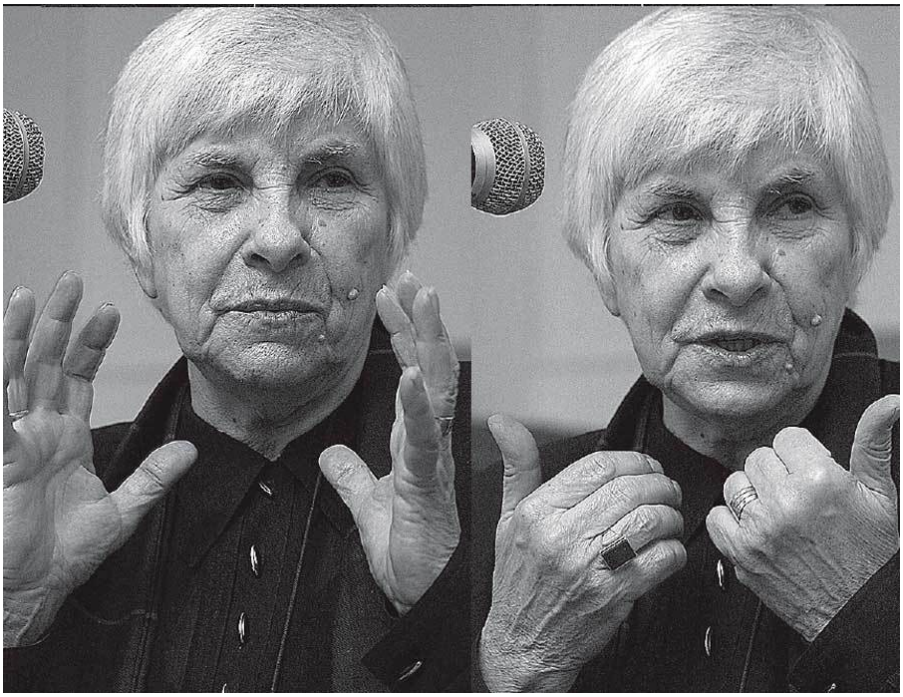


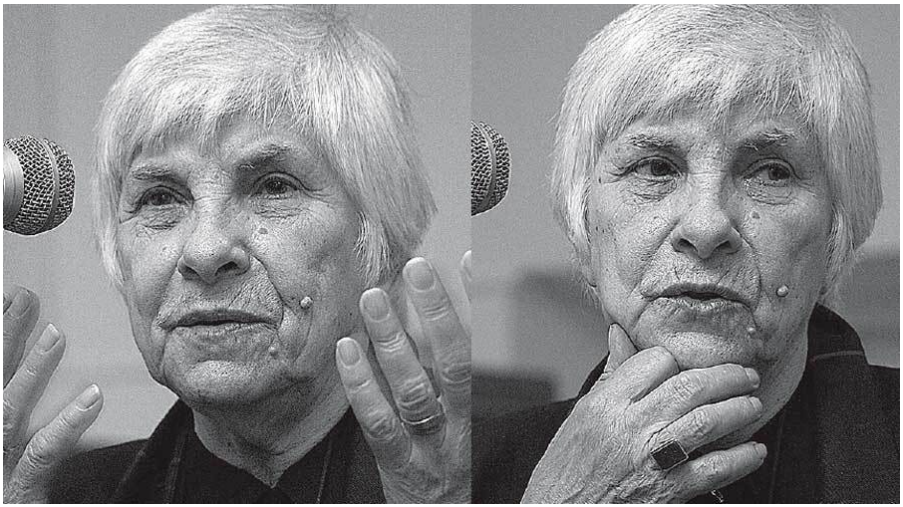
С Володей и Галей.



Столетие Владимира Луговского. Крайние справа – внучки Алиса и Саша, внук Володя.







notes

Примечания

1

Всё это уже описано в книге Татьяны Александровны «Я помню», удивительной повести о детстве. Тетя написала ее на склоне лет, и за одну эту книгу ее приняли в Союз писателей – невероятный случай по тем временам. Книга выдержала несколько изданий и переведена на иностранные языки.

2

Бухарин Н. И. – революционер, советский государственный, политический и партийный деятель. Казнен в 1938 г. как враг народа.

3

Феликс Кандель (р. 1932) – писатель, сценарист, соавтор сценариев мультсериала «Ну, погоди». С 1977 г. в Израиле. Автор книг по истории еврейского народа.